
Лев Копелев
Хранить вечно
КНИГА 2


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга патриарха русской культуры XX века - замечательного писателя, общественного деятеля и правозащитника, литературоведа и германиста Льва Копелева (1912-1997). Участник Великой Отечественной войны, он десять лет был «насельником» ГУЛАГа «за пропаганду буржуазного гуманизма» и якобы сочувствие к врагу. Долгое время лучший друг и прототип одного из центральных персонажей романа Солженицына «В круге первом», - с 1980 года, лишенный советского гражданства, Лев Копелев жил в Германии, где и умер. Предлагаемое читателю повествование является частью автобиографической трилогии. Книга «Хранить вечно» впервые издана за рубежом в 1976 и 1978 гг., а затем в СССР в 1990 г.

- Часть пятая
  - Глава двадцать шестая
  - Глава двадцать седьмая
  - Глава двадцать восьмая
  - Глава двадцать девятая
  - Глава тридцатая
- Часть шестая
  - Глава тридцать первая
  - Глава тридцать вторая
  - Глава тридцать третья
  - Глава тридцать четвертая
- Часть седьмая
  - Глава тридцать пятая
  - Глава тридцать шестая
  - Глава тридцать седьмая
  - Глава тридцать восьмая
  - Глава тридцать девятая
  - Глава сороковая

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

Часть пятая
ГДЕ ВЕЧНО ПЛЯШУТ И ПОЮТ

Глава двадцать шестая
СУХОБЕЗВОДНАЯ УНЖЛАГ

«Где вечно пляшут и поют…» Так бывалые воры говорили о лагерях. После долгих месяцев тюрем, теплушек и столыпинских вагонов лагерь представлялся обетованной землей.

Еще в Бресте стало известно: этап направляют на станцию Сухобезводная Горьковской области в Унжлаг. В бане медсестра, заключенная, щекастая, с перманентом, из «приблатненных» бытовичек, говорила доверительно:

- Это тебе повезло. Старый лагерь. Значит, порядок. Голода не будет. А там еще и посылочки, и ларек… Кто с головой - как на курорте жить может.

Были дни и часы, когда о лагере я мечтал неотступно, почти так же напряженно, как на фронте мечтал о победе, о мире.

В Горьком нас вели с вокзала в тюрьму пешим строем. Теплый сентябрьский день. Ободренный добрыми женщинами на вокзале, их вкуснейшим подаянием, шагая в строю грязных, мятых шинелей, истертых пальто, ватников и всяческой рвани, я шел почти что весело, радуясь воздуху, солнцу, движению.

Вышли к реке: большой мост - Ока. Слева - огромный светлый простор Волги. Я узнавал места, знакомые только по книгам. Шепот рядом и сзади:

- Мимо кремля пойдем… Тут в Горьком тоже кремль зовется…

Тоскливая горечь: вот как довелось увидеть впервые… И все-таки любопытно. И все-таки прекрасна Волга. И хорошо, что иду легко, не разучился. И вроде здоров. И уже скоро - лагерь.

Зеленый откос, зубчатая кирпичная стена. Крутая улица - Ущелье. Полязгивая, постанывая, нас обгоняет трамвай. Где-то совсем близко девичий смех, заливчатый, счастливый. Голоса детей. В окнах домов занавески, вазоны с цветами. Вот она, свобода, близехонько. До воли - четыре шага. Но еще ближе - угрюмый молодой конвоир с автоматом на весу и рыже-черный пес. В нескольких шагах - другой конвоир и другой пес.

С тротуаров глядели вольные люди - большинство безразлично, равнодушно, едва любопытствуя, реже - сочувственно, еще реже - враждебно… Мальчишка, шагавший в шеренге передо мной, метнул письмо - бумажный треугольник - в кучу парней, стоявших на перекрестке. Я заметил, как один из них наступил на письмо.

Конвоиры заорали: «Кто бросил? Кто поднял? Отдавай, твою

мать…» Лейтенант бежал, размахивая пистолетом, к тротуару.

Мальчишку заметили. Потом в тюрьме его уволокли в карцер. Слышны были истошные вопли. Кто-то сказал: «Горьковские вертухаи - волки, умеют калечить».

Но записку не нашли. Парни на тротуаре сгрудились, смеялись.

Конвоиры спешили, погоняли нас вполголоса: «Давай-давай, а то всех на карцерный режим…»

Еще несколько записок выпорхнуло на тротуар. Одну подобрал конвоир. Другие «улетели».

Потом в тюрьме, в «вокзальной» камере, искали бросивших. Но расследование вели без рвения. Конвой уже сдал этап. А тюремные стражники были другого ведомства.

Через две недели мы второй раз также прошли через весь город. Шли из мрачной, грязной тюрьмы. И опять был теплый день, и я старался наглядеться на улицы, на кремль, на Волгу и Оку…

Потом ехали недолго, часа три-четыре. Выгрузились прямо у лесной дороги. Нас было шестьдесят зэков: повели всего три конвоира в затрушенных шинельках. Старший сказал совсем по-домашнему:

- Вот шо… порядок известный - шаг вправо, шаг влево - конвой применяет и таки далее. Пошли не спеша. Пупов не надорвете, тут километра четыре будет… Только не отставать. Дыхайте: воздух лесной. И чтоб порядок.

Передовой конвоир взял винтовку на локоть и поплелся вразвалку по колеям влажной грязи, обходя длинные черные лужи. Недавно был дождь. Сзади кто-то уже острословил: «Это никакая не Сухобезводная, а Мокрополноводная».

В детстве рождается беспокойно-радостное любопытство к новым пространствам, к новым дорогам, селам, к незнакомым улицам, к жилищам, в которые входишь впервые. Кто не изведал магнитное притяжение вокзалов, паровозных гудков, перестука вагонных колес и напряженное ожидание невиданных мест, новых надежд, нечаянных встреч… Это сродни тому, что испытываешь над первой страницей книги, еще не читанной, давно желанной, или в театре, когда вот-вот поднимется занавес. Вероятно, подобные же чувства звали в дорогу всех неуемных бродяг-мореплавателей и землепроходцев, побуждали странствовать Колумба, Дежнева, мальчишек, удиравших в Америку, вдохновляли Джека Лондона, Киплинга и Гумилева.

Во мне эта мальчишеская «охота к перемене мест» никогда не остывала. И теперь, на седьмом десятке, еще то и дело тревожит, будоражит, зовет. И так же, как в юности, приятно бывает снова и

снова представлять себе города и горы, села и реки, виданные хоть недолго, радовавшие первой встречей… Когда мы с женой начинаем вспоминать давние и недавние путешествия, места, где находили кров, иногда бывает грустно. Но это светлая грусть, неотделимая от радости, и она всегда рождает новое любопытство, новые надежды.

В детстве впервые увиденные места окрашены изумительно ярко, свежо, будто промытые дождем и освещенные солнцем. Таким я в пять лет увидел весенний Киев - утренний, сияюще-многоцветный. Менее красочным, менее нарядным открылся мне, тринадцатилетнему, зимний Харьков - мутно-белесый, серый, кирпично-тускло-красный, с негустыми пестрыми пятнами, шумевший и пахнувший совсем по-иному, чем Киев, и все же привлекавший загадочной силой первой встречи, ожиданием невиданного и неведомого… Двадцатилетним я приехал в Москву, и та первая встреча - долгожданная и полная неожиданностей - накрепко вросла ощущением необозримого, неохватного, но приветливого величия. Глаза и уши заполнил разноголосый и разноцветный хаос, громоздящий, перемешивающий краски и очертания, шумы и звоны, улицы, здания, вывески, трамваи, автобусы, клокочущую толчею тротуаров. Тогда и возникла любовь с первого взгляда.

Потом все годы я ревниво наблюдал, как Москва строилась и перестраивалась. Жаль было Садовых, когда живую зелень старых деревьев, кустов, газонов заменял темно-серый, неживой асфальт. Но прекрасны были новые мосты, и не терпелось увидеть, когда, наконец, уберут неказистые дома, закрывавшие вид на Василия Блаженного с Москворецкого моста…

И теперь в угловатой, унылой стереометрии новых улиц, в кубических и скелетных нагромождениях тусклых коробок и прямолинейно исчерченных плоскостей (они только по ночам бывают хороши: густые сетки искристых огней с яркими цветными прожилками) я пытаюсь узнавать живые приметы моей Москвы. Нет, не приметы величия, некогда порфироносного, златоглавого, белокаменного, и не приметы исконного московского радушия, щедро хлебосольного, зычно голосистого, румяного, хмельного, а хотя бы только ошметки затрапезной, буднично суматошной, недосыпавшей, недоедавшей, ворчливой, толкающейся, сердито отругивающейся, но вопреки всему неизбывно душевной и уже через миг - даже самый злой миг - снова доброй Москвы.

Такой она представлялась мне и на фронте, и в тюрьме бессонными ночами и в снах наяву, когда рассказывал о ней вспоминая вслух…

А неостывавшее с детства, с юности любопытство помогало в арестантских странствиях.

Тухель - замок в Померании, Штеттин, Быдгощ, Брест, Орел, Горький, Сухобезводная, леса на Унже. Эти места я впервые увидел из колонны зэков или из грузовика, начиненного арестантами. Было и горестно, и унизительно, но все же старался вглядываться, глазел, озирался, хотел побольше увидеть, приметить, запомнить.

Четвертый - «приемный» или комендантский - лагпункт Унжлага в нескольких километрах от станции с трех сторон обступил густой лес. Сосны стеной уже в нескольких сотнях метров от вышек и проволочных оград. Напротив был поселок охраны, а за ним - поля: картошка, капуста, морковь, свекла. Внутри зоны, поближе к воротам - маленькие домишки канцелярии и большой барак придурков. Дальше - дюжина жилых бараков, кухня, столовая, санчасть, баня, каптерка, мастерские.

Всего в Унжлаге тогда было 27 или 28 лагпунктов, в том числе три больницы, два деревообделочных завода и две швейные фабрики. Внутрилагерная ж.д. ветка тянулась на 150 километров. Общее число заключенных достигало 24-25 тысяч. Их охраняло несколько тысяч конвойных надзирателей, ими распоряжались сотни начальников, с ними работали тысячи две вольнонаемых служащих. Вперемежку с лагпунктами - деревни, совхозы и колхозы и лагеря иного рода - один военнопленных и две «колонны» трудмобилизованных волжских немок.

Лесной край за Волгой, некогда укрывавший старообрядческие скиты, описанный Мельниковым-Печерским («В лесах») и Леоновым («Соть»), был густо начинен разноплеменным, разноязычным, разношерстным населением. На больших прогалинах и просеках теснились прямоугольные серые бараки, огороженные двойными заборами из колючей проволоки, торчали бревенчатые, дощатые сторожевые вышки. Ночами темноту расчерчивали бледно-лиловые лучи прожекторов. По лагерной ветке днем и ночью сновали поезда. Отсюда катили платформы, груженные бревнами, досками, вагоны, забитые штабелями винтовочных и автоматных лож, простой и стильной мебелью, разнообразными столярными поделками и деревянными игрушками, тюками ватников, бушлатов, стеганых телогреек, штанов, войлочных бахил, рабочих роб из чертовой кожи, комбинезонов, халатов…

А сюда шел главным образом порожняк, реже - платформы и вагоны со станками и ежедневно везли арестантов в столыпинских вагонах и в «краснушках». С 4-го «комендантского» лагпункта их развозила по всем другим «кукушка» -

внутрилагерный поезд.

Начальник комендантского лагпункта старший лейтенант Нечволодов носил гимнастерку с зелеными полевыми погонами, двумя золочеными нашивками за тяжелое ранение и трехрядным набором орденских ленточек. Он был невысок, ладно скроен и пригож. Редкая улыбка едва-едва оживляла глаза, а губы кривила скорее брезгливо. Вне зоны он обычно гарцевал на тонконогой каурой кобыле. Когда спешивался, чтобы пройти к картофельным буртам или на делянки лесоповала, она брела за ним либо спокойно ждала.

Ходил он, помахивая стеком, трофейным, с замысловатой бронзовой ручкой, когда сердился, яростно хлестал себя по сапогам, надраенным до блеска, но словно бы нарочно заляпанным грязью.

Встретив наш этап, он спросил: «Фронтовики есть? Такие, что в плену не были?» Нас оказалось двое. Капитана, осужденного за убийство любовницы, он тут же назначил начальником карцера - его предшественника накануне сместили за пьянку с бесконвойными и жестокую драку. А меня на следующий день - бригадиром новосозданной бригады по уборке картошки.

Мы вышли за зону с пасмурным рассветом. Дождь серенький, редкий сеялся лениво, еле-еле и затихал то на полчаса, то на час, не позволяя уходить из черной, липкой грязи.

Нашим непосредственным начальством был старший агроном лагпункта, заключенный. В первых же словах я различил милую слуху «надднипрянску говирку», с детства знакомую - так говорили почти все агрономы, товарищи и приятели отца, и сам он, когда толковал с ними в поле о делах, или ходил на охоту, сидел за картами или за выпивкой.

Агроном был озабочен, чтобы картошка не сгнила под дождем, чтобы на другом участке успели убрать капусту и буряки. К сантиментам он, видимо, и раньше не был склонен, а восемь лет лагеря менее всего могли приучить к чувствительности. Но узнав, что мы земляки и что я - сын агронома, стал разговорчивей и приветливей, подробней и снисходительнее объяснял, что и как нам делать.

- Хто послабще, нехай собирають в бороздах, что там осталось, в мешки… Только глядите, чтоб сырую не ели… А то поносом ляжуть. Других, хто слабые, давайте на переборку. От такую мелкую, мокрую - сюды, такую - до отдельной кучи, это свиням пойдет и вообще скотине, а такую - вот, видите, больше и почище, сначала на весы, пометьте вес, до тех ящиков - то на кухню, людям уже теперь есть. А вот такую, крупную и посуше, надо тоже на весы в хранилище, от туда, бригадир примет… Это

на зиму в харчи, а частично мы на посев отберем. Носить назначайте, кто поздоровше, покрепче. И меняйте, а то носилки тяжелуваты да еще и намокли. Поделить на звенья, так, чтоб четыре з носилками, двое носять, двое отбирають и накладають, потом меняются через три-четыре, а то и пять носок. Через одну хуже, надо ж привыкнуть, приладиться. И к такой четверке столько-то слабых, чтоб только разбирали по кучкам.

Утоптанная площадка в конце поля шагах в ста от хранилища была основным рабочим местом. По окружности - кучи мокрой грязной картошки, звенья я разделил секторами…

Весы стояли на дороге к хранилищам, вблизи от ящиков для кухни.

В моей бригаде оказался Петя-Володя. Он стал бесстыдно угодлив; то и дело орал на кого-нибудь:

- Эй, ты, сучье падло, слушай, что бригадир говорит… Наш бригадир - отец родной. Ты, майор, сам не должон работать. Ты командир-организатор. Ты обеспечь расстановку, кому копать, кому носить, и главное, не пускай слабины. А то эти поносники ни тебе, ни себе пайки не заработают. Эй, вы, в рот долбаные, слушайте бригадира, как Бога. Он сам руки пачкать не будет, у него кореши есть. Кто станет сачковать, так мы полжизни отнимем.

Первые два дня, несмотря на дождь, все работали старательно, даже азартно. Радовались, что на воздухе и что работа на себя - ведь сами же будем есть эту картошку. И ели. Пекли тут же. Часовые зоны оцепления приказывали раскладывать костры для них. Прикрикнув раз-другой, они не мешали нам раскладывать костры и для себя. И во всех кострах пекли картошку, ели и часовые и работяги. Я следил только, чтобы мои бригадники не сбивались у костра в кучи, чтобы не спешили набрасываться все сразу, чтоб не жевали полусырую, постанывая от ожогов. И чтобы носилки не валялись на земле.

Я вел сдаточный учет на длинных дощечках-бирках; карандашные записи расплывались. Приемного контрольного учета по сути не было. Бригадир овощехранилища, старик, зэка с 1937 года, объяснил:

- Вы только не очень прибавляйте и показывайте свои записи мне. Чтоб если спросят, у нас не слишком расходилось, а перевешивать не будем.

Весовщик, нагловатый молодой парень в кубанке, поучал:

- Ты бригадир, значит, не упирайся рогами - взял досточку и чиркай, на хрена ты за носилками тянешься? Твое главное дело, чтоб бригада выполнила-перевыполнила на какой небольшой про цент… Большой не натягивай, а то сразу будет видно - туфта. Я

на тебя дуть не стану. И бригадир на хранилище приличный мужик. Но если слишком большой процент, так не поверят ни бухгалтер, ни начальник. И тогда тебя по жопе, а бригаде хрен сосать… Ты действуй с умом, и все сытые будете. Я ж имею понятие - люди с этапа, доходяги. А сам не лезь вкалывать. Раз ты бригадир, значит, должон, во-первых, иметь авторитет, а во-вторых, головой работать. И вообще помни: день кантовки - месяц жизни.

Агроном, бригадир хранилища и весовщик согласно объяснили, еще и какой нужен подход к начальнику.

- Не показывай, что дрейфишь, а то сразу сочтет - жулик, туфтила или враг народа. Всегда смотри ему в глаза и говори вежливо, но твердо - кто жопу лижет, он тоже не любит. С ним надо с опаской, он в голову контуженный, вроде псих, кто его знает, чего сделает, если психанет, но так он не вредный, даже вроде справедливый, особенно уважает вояк, кто с фронта… Но и к другим без дела не пригребывается. Только оттягивать любит… По-моряцки, во все завертки. И по злобе и так, для смеху.

Начальник действительно матерился многословно, изощренно и не по-блатному, а как старый матрос - в гробовые доски, через надгробные рыдания, сквозь три палубы и черные котлы, в кровавые глазки и святые причастия, в Бога, Приснодеву Богородицу, всех святых угодников…

В поле начальник верхом был виден издалека, и часовые предупреждали:

- Эй, вы, работяги-доходяги, ударники не бей лежачего, начальник едет. Шевели руками, не зубами.

Подойдя, он оглядывал нас, облепленных мокрой грязью, зябко сутулившихся над грудами картошки, простуженно сопящих, таскавших тяжелые носилки, и несколько минут замысловато матерился. Мы слушали, кто испуганно, кто заинтересованно и, убеждаясь, что брань не угрожающая, даже восхищенно.

Он спрашивал:

- Бригадир, докладывай, сколько эти поносники - мать их так перетак - наработали?

Отвечая, я деловито заглядывал в дощечки и старался, чтоб получалось по-воински лихо и четко.

- Высшего сорта в хранилище сдано столько-то носилок, общим весом столько-то килограмм, значит, в итоге столько-то центнеров; второго сорта - столько-то; третий сорт определяю по объему отсортированного - не меньше, чем столько-то.

Он кривил губы, сдвигая мятую папиросу из одного угла рта в другой.

- Уже научился - туда-сюда перетуда - туфту закладывать?

- Данные вполне точные, можно проверить.

Он отвечал немыслимо взвинченным фейерверком цветистого мата; можно было только понять, что на проверку ушло бы не меньше сил и времени, чем на уборку. Именно потому он и поручил работу офицеру-фронтовику, что надеется, а то ведь тут шобла, доходяги, темная шпана - всех их в кровавые глазки, через ухи насквозь и т.д. и т.п.

На следующий день после работы на совещании бригадиров и техсостава он материл всех, то витиевато, то по-простецки, и чаще всего не лично, «безадресно», материл и разнося, укоряя, и ободряя, похваливая; почти ни одной фразы не произносил без похабной брани. Иные загибы вызывали восторженный хохот, другие воспринимались, как обычная речь.

Неожиданно в двери задымленной канцелярии, где шло совещание, просунулся худой глазастый мальчонка лет семи-восьми, в офицерской фуражке, сползавшей на оттопыренные уши. Он выкрикивал звонким голоском:

- П-а-ап… А п-а-ап… Мамка зовет кушать… П-а-ап! А паап!

Начальник поглядел на него, ухмыльнулся ласково и, не меняя тона - он кончил распекать кого-то из бригадиров, - сказал:

- А ты, сынок, скажи ей, дуре-курве, чтоб не пригребывалась, пусть лучше сама жрет свой долбаный ужин. Папка работает. Должна сама понимать, если у нее голова, а не жопа с ушами… Мать ее в святые праздники, через райские врата, сквозь кулацкий саботаж с духовым оркестром по самое донышко…

Сидевшие и стоявшие у стен бушлатники густо дымили: всхлестнулось несколько угодливых хохотков. Они только сгустили чадное молчание.

Мальчик тянул на той же ноте:

- Папка, не ругайся, мамка зовет, мы без тебя кушать не будем.

А начальник отвечал так же ласково:

- Иди, иди, сынок, скажи ей… Так переэтак сквозь все кастрюли-чашки-блюдечки - хрен с ней, скоро приду.

После совещания уже за дверью зав. мастерской, высокий, в очках, в «вольном» полупальто, прикуривая на ветру цигарку от моей трубки, сказал:

- Здорово я начинаю исправляться. - И объяснил: его осудили недавно в Горьком за хулиганство на год. Молодой холостой инженер, с получки выпил, малость перебрал и пошел с приятелем в кино. - Там какой-то мордастый в шляпе лез в кассу без очереди. Ну я и завелся. Не дрался, ни-ни, я себя помнил, а приятель был почти вовсе трезвый, держал крепко. Ну только

пустил матерком, не так чтоб густо, но в полный голос. А мордатый оказался районным прокурором. Меня тут же загребли в милицию. И через неделю за нарушение порядка, за оскорбление личности, за непечатные выражения в общественном месте - тяп-ляп повенчали: год исправительных лагерей. Вот теперь исправляюсь.

Глава двадцать седьмая
ПО «ОСИ»

Первые дни лагерь казался блаженным краем. Вокруг лес, прозрачный воздух - густой настой хвои, грибов, моха, смолистых бревен… В зоне разрешалось до отбоя ходить по всему двору, в ларьке можно было купить махорку, мыло, хлеб. Я продал шинель и сразу же съел почти килограмм. А потом на эти деньги мы с Кириллом в течение недели ежедневно съедали по полкило сверх пайки. Нам объявили, что можно писать домой, получать письма, бандероли, посылки. Был клуб, газеты… Были женщины. Старожилы объяснили, что лагерные «браки», правда, преследуются, но кто смел, да хитер…

В эти первые дни я словно из могилы выбрался, так благодушествовал, что не мог ни злиться, ни тосковать. Старался не замечать конвоиров, которые орали, грозили автоматами. Ведь кроме них были и обыкновенные солдаты, такие, кто мог сочувственно ухмыльнуться, спросить «где воевал?»

Но очень скоро блаженная одурь прошла. Стали раскрываться будни лагеря - тусклые, голодные, страшные именно обыденностью, бессмысленностью и безвыходностью рабского существования. Все вокруг было враждебно. В лесу огромные сосны туго сопротивлялись пиле, топору и надсадно болящим мышцам. На дорогах сама земля - вязкая грязь, издеваясь, хватала за ноги и за лопаты, заползала в едва отрытую канавку, тяготила дощатые носилки, тянула на отрыв руки, выламывала позвоночник… Все, все было враждебным и внутри во мне - мысли, хвори, воспоминания.

Иным удавалось получить работу полегче, стать придурком, в бухгалтерии, в бане, в столовой, в санчасти. Но тот, кто думал не только о себе, не только о завтрашнем корме, кто не продал совести куму, т.е. оперуполномоченному, не становился наседкой-стукачом, не довольствовался тем, что сам благополучно кантуется, тот, кто способен был еще думать о других людях рядом и вдали, кто пристально глядел вокруг, тот должен был свято верить в высшие силы - в Бога или в коммунизм, в вечную Россию или в вечную Польшу, не то он сошел бы с ума, повесился бы, бросился на проволоку либо просто «задумался и поплыл», как говорили блатные, то есть умер от безнадежной тоски, от медленно убивающего отчаяния. Я твердо верил в грядущий коммунизм и в вечную Россию.

Моя картофельная бригада просуществовала всего несколько

дней. Уже на следующие сутки начались поносы. В последний день на работу вышла едва половина бригады, но работали одновременно не больше трети из тех, кто добрел до поля; остальные либо сидели, печально кряхтя «орлами», либо возились у костров; больные продолжали есть еще исступленней.

Когда бригаду расформировали, меня послали на лесоповал в звено Ивана, одного из «волков», которые ехали с нами из Бреста. Он в тюрьме и в этапе был робким, неуклюжим и только застенчиво улыбался, когда блатные отнимали у него сухари и вещи, даже не пытался возражать. Но в лесу он преобразился. Глядел уверенно и весело. Обойдя разок-другой вокруг сосны, щурясь, осматривал ее сверху донизу, оглядывался вокруг и, пошептав, словно колдун, сильно хлопал ладонью по стволу.

- Ось тут… звидсиля рубаем.

Топор он держал будто вовсе без усилий за самый кончик топорища и несколькими ударами вырубал щербину в треть ствола. Потом командовал:

- Давай кий.

Одну или две жерди он упирал в ствол недорубленной сосны. Шел еще к одной, примеривался взглядом, также надрубал.

Иногда, почесав за ухом, лихо выкрикивал:

- Ну, поциляемо ще в одну… Хай дывляться москали, як у нас на Полисси роблять…

И подрубал третью сосну на одной линии с первыми двумя.

Пилы он сам точил и направлял, бережно и серьезно, прикусив верхнюю губу, ни на миг не отводя в сторону сосредоточенный взгляд. Пильщиков отбирал придирчиво. Меня забраковал.

- Ни, не годытся. Вы, пане, неривно тягнете, то закрутко, то задлуго. Так ще можно дрова пиляти, мертве дерево, а живе - ни… Бо тоди воно может упасты не туды.

Поэтому мне он поручал обрубать сучья или вдвоем с кем-нибудь распиливать сваленные стволы - «тебе, себе, начальнику».

Он внимательно следил за пильщиками, нажимал то на одну, то на другую жердь, зычно покрикивал:

- Гээй, там не ходить! Валымо! Ува-а-га - сюды не ходить!

Опережая и провожая треск пошатнувшейся, падающей сосны, он пронзительно и звонко орал: «Г-ээй, го-го-го!», и, словно направляемый криком и толчками, огромный ствол падал с раскатистым трескучим грохотом, с грозово свистящим шумом, падал, сваливая еще одну, а то и третью сосну. Земля вздрагивала от тяжелых ударов, гудела гитарно. Иван оглядывался, с гордой хмельной улыбкой:

- Ось, як полищуки валят.

Будучи бригадиром, я не успел пройти настоящей «комиссовки» в санчасти.

Измученный поносом и густеющими нарывами, я приходил к фельдшеру Коле, долговязому, белокурому, скучающему «красюку». Он давал салол с белладонной, с танальбином, мазал чирьи цинковой мазью и утешал:

- Это у всех так поначалу. Главное - питание! Загоняй барахло, ничего не жалей, ешь сколько достанешь. Хрен с ней, с диетой. Нажимай на витамины, на жиры. Пей хвойный навар. А то у тебя уже признаки цинги. А диета тут какая? Тут же не санаторий! Ну хлеб суши, и не глотай, как чайка, а жуй. Тут у нас колиты-гастриты как насморк. Главная угроза - дистрофия, сосаловка. Значит, первое дело - питание.

Заведовала санчастью молодая женщина-врач, заключенная Нина Т-зе. Под белой косынкой черные густые брови, большие темно-синие глаза и очень светлое лицо, бледное, но не болезненное, а прохладно-светлое, сильное, крепко вырубленное; твердый, неулыбчивый, красивый большой рот. Она казалась мне величественной красавицей. Уже на первых разводах мы приметили, как она уверенно распоряжалась, выводила из строя больных, истощенных и, будто не слыша, не замечая замысловатой брани начальника, спокойно возражала:

- Таких пускать на работу не положено. Я действую по инструкции.

Мы с Кириллом прозвали ее царицей Тамарой. И я ни за что не хотел показываться ей, жаловаться, говорить о поносе, о нарывах, которые особенно досаждали на срамных местах. Но фельдшер вскоре убедился, что сам не может управиться, и наступил мучительно постыдный миг. Перед гордой красавицей я горбился в уродливой наготе, дрябло тощий, грязный - в этот день мы копали канавы на залитой дождем дороге, - весь в гнойниках, с которых сползали зловонные повязки и наклейки. Веки стали свинцово-тяжелыми, трудно - казалось, невозможно - посмотреть на нее. Но она глядела спокойно, без тени отвращения и негромко приказывала:

- Подними руки! Повернись! Нагнись!… Сердито зашептала фельдшеру.

- Ты видишь впадины? Полное истощение. Почему не отметил в карточке? Ну и что, что бригадир? Вчера бригадир, а сегодня работяга. В карточке должно быть точно - ЛТЗ - легкий труд в зоне… Давай стрептоцидную мазь и Вишневского. Туда можно ихтиол. Но сначала промой борной. Клей аккуратно… Ну и фельдшер у меня. Морда красивая, душа добрая, и голова как будто ничего, а руки - обе левые. Ладно, ладно, не обижайся,

красна девица… А ты кто по специальности? Ах, вот как… А где вы работали до войны? На какую тему писали диссертацию? На фронте были? Звание? В плену не были?… Да вы не жмитесь, нечего стесняться, я и не такое видела. Одевайтесь. Я военврач третьего ранга. С первых дней на фронте. А в плен попала на Изюм-Барвенковском, когда Тимошенко две армии погубил, тысяч сто, не меньше. Я была ранена, но удачно, в мякоть бедра навылет, даже не хромаю. И в лагере врачом работала. В Днепропетровске, потом возле Киева. Мы там побег устроили, к партизанам ушли, вскоре с армией соединились, но мне досталось все как положено. Один «б» и десять лет. Сперва от обиды повеситься хотела, но теперь вроде привыкла: врачи везде нужны. Вот филологу в лагере труднее. Да еще в таком состоянии. К тебе сейчас любая болезнь легко прилипнет. Минимальное сопротивление организма. Ладно, подлечим, а для начала устроим придурком. Не хмурься, не хмурься, майор, такое уж слово - это блатные придумали для тех, кто не работает физически. Вот и мы с лепилой Колей - тоже придурки. Сейчас даю освобождение на три дня. Коля, запиши в карточку: температура 38 - запомни, сегодня было 38! Идите в барак, отдыхайте. Начальнику столовой я скажу, вы к нему только обращайтесь «товарищ капитан» - да-да, товарищ, он тоже зэка, бытовой из моряков, убил кого-то. Но и здесь фасон давит. «Капитан». Скажешь ему: доктор Нина велела кормить из фонда санчасти.

В этот вечер я сидел в столовой за особой перегородкой «для рекордистов», ел порошковый омлет, тушеную картошку, куски жирной селедки. За перегородкой толпились доходяги в грязно-серых бушлатах, смотрели неотрывно, одни потухшими, пустыми глазами, у других хищно проблескивала злая, жадная зависть. Дневальные, такие же доходяги, отгоняли их бранью и пинками. Я старался не глядеть в ту сторону, не слушать.

Великолепная, давно не виданная пища! Когда увидел, почуял запах, даже дыхание перехватило от блаженной радости. Но глотать было трудно и с отвычки, и от боли в горле, в скулах, и от хриплых вздохов за спиной.

- Дай миску помыть, слышь, дядя… браток… папаша… Дай хоть понюхать…

На второй день ко мне в барак пришел фельдшер и с ним невысокий, чернявый в армейском ватнике, суконном берете, с забинтованным горлом. Он говорил сиплым шепотом:

- Я Збых - помначлагпункта по быту. Не удивляйтесь… то должность для арестанта, для зэка… Я сам есть врач… Ну если направду, так почти врач, не скончил медицинский факультет

Виленского университета, учился на четвертом курсе, на психиатра… А тут война, пошел до войска, потом в партызанце был… Армия Крайова, слышали? Мы до Вильна пришли разом с Армией Червонной, така згода была, такое условие, согласие. Вместе немцев били. Но потом нас разоружили, забрали до лягрув, а меня арестовали за разговоры, сказали - «антисовецка агитация». Дали пьять лет как социально опасному. А тут зделали помпобытом. Я должен командувать в зоне над всеми дворниками, дневальными, баней, майстерскими, на кухне пробы брать з доктуром или сам один. Начальник мной недоволен, что я не умею командовать, как надо. А надо это, значит, лаяться, тут называют «оттягивать», «на горло брать» или даже бить… А я так не умею и не хочу уметь. Я есть медик, не полицай. Я поеду на больницу, буду лечить горло, у меня така ангина, могу навек без голосу остаться, буду там работать, как врач. Начальник не пускал, пока нет замены. Так уж вы, коллега, прошу очень, примите мой пост… Зделайте любезность.

Фельдшер поддержал:

- Ты ж офицер, фронтовик, свой, советский, ты сумеешь и приказать и оттянуть, когда нужно. Тебя на горло не возьмут. А на этой работе и здоровье поправишь, и хорошим людям поможешь.

Два дня Збых передавал дела, водил меня по своему хозяйству. Доктор Нина сказала, что будет помогать. Моим непосредственным начальником числился некий капитан «зам. нач. по адм. хоз. части», но он был не то болен, не то в запое. А комендант-заключенный сказал, что верит доктору Нине. Оперуполномоченный уехал в отпуск. И мое назначение произвел сам начальник лагпункта. Он говорил со мной в санчасти.

- Доктор вас рекомендует с хорошей стороны. Поэтому временно утверждаю. Вообще-то не положено. Во-первых, вы - 58-я. Этот пан без статьи осужден, по буквам - СОЭ - социально-опасный элемент, оно, конечно, одна херня, в Бога, Богородицу, белопанскую Польшу, папу римского и всю мировую буржуазию, крест-накрест… Но ты по статье антисоветчик. Это уже минус, туды его в качель, каруселью… И, во-вторых, ты следственный, срока еще не имеешь. Могут хоть завтра выдернуть. Правда, такое редко бывает. Срока теперь лепят по почте, долбают - будь здоров, и в хвост и в гриву, и в рот и в уши, спереди и сзади насквозь до пупа… Могут, конечно, вам тоже дать буквы вместо статьи, тогда это плюс будет. Но только пока ты майор, ты ведь не осужденный, значит пока еще «майор, содержащийся под стражей». Очень уж ты доходной, глаза, как у кролика, красные, ветром шатает. Вот доктор Нина, я вас послушал, отпустил того

пана безголосого. Но если этот ляжет в санчасть, я тебя с твоим лепилой самих погоню шоблой командовать, так их перетак и через этак…

Доктор Нина его успокоила. В первые дни я пытался работать вопреки всем хворям, добился разрешения назначить еще двух дворников к прежним трем, убедил начальника, что осенью… больше грязи; сколотил ремонтную бригаду из плотников, штукатуров и маляров, чтобы ремонтировать санчасть, предбанник и сапожную мастерскую. Бригадиром маляров назначил Кирилла Костюхина, забрал его с лесоповала, еще нескольких знакомых из этапа пристроил к нему и в мастерские.

…Рыжий, тощий, сутулый старик в рваном бушлате подошел, когда Збых водил меня по лагерю.

- Простите, пан доктор, но вы разрешили обратиться к вам после излечения. Сегодня я выбыл из стационара. А мой бригадир, крайне грубый и негуманный - типичный кулак - уже велел мне совершенно категорически завтра выходить на развод, на повал. Но я еще абсолютно слаб, ce qu'on appelle[1]доходяга. В лесу я несомненно погибну. Вы были так любезны, что вселили в меня надежду. Может быть, дневальным или дворником.

Збых досадливо отмахнулся.

- Я уже ничего не могу. Вот новый товарищ, новый помпобыт.

Проситель оказался бароном Унгерном: выпускник пажеского корпуса, он служил в протокольном отделе сперва министерства, а потом и наркомата иностранных дел, был осужден в 1938 году на десять лет («ПШ» - подозрение в шпионаже). Я назначил его дворником. Вечером он перебрался в наш барак обслуги и сразу же начал рассказывать о себе, о своих родственниках, о сложном характере Чичерина, о неприязни между Литвиновым и Чичериным. Он говорил стариковским высоким голосом, многословно, подробно, вставляя французские и английские слова. Втроем с ним и Кириллом мы пили кипяток с сушеной малиной - его пай - и нашим сахаром. Он пил из консервной банки, обернутой тряпкой, и держал ее, оттопыривая тонкий, длинный мизинец. Свысока поглядывал на других обитателей барака.

- Я слышу: здесь большинство западные украинцы, знаю: бандеровцы или баптисты. Ces sont les gens tres simples, tres primitives, presque barbares…[2] Очень странный говор. Уже не украинский, еще не польский. Один из них говорил мне: «Мы посэрэдыне между Польшей и Россией»… Но, я полагаю, скорее уж entre l'Afrique et l'Asie, ou entre l'Homme et un singe…[3]

Встречая меня во дворе, он салютовал метлой и уже издалека кричал, демонстрируя служебное рвение и образованность

доходяг… И многословно-красноречиво жаловался, что ночью не добегают до уборной.

- Все это время я вынужден очищать и тропинки и дощатые мостки, все, так сказать, ближние и дальние подступы… Voila les Alpes du merde!…[4]

Молодая быстроглазая девица с белобрысой челкой над чернейшими прорисованными бровями перехватила меня в тамбуре барака, прижалась к плечу упругим бюстом, улыбнулась, лизнув губы тонким красным кончиком языка.

- Слышь, помбыт, назначь меня дневальной в контору, полы мыть, убирать. Там Сонька была, она счас на больничку поедет в декрет, мамкой будет. А я дохожу на повале. Назначь дневальной. Я тебе в жисть не забуду. Я здоровая, чистенькая, ей-богу… Хотишь сейчас подженимся, тут я одну заначку знаю за прачечной, подружка пустит. Не хотишь? Брезгаешь? Или не маячит? Ну это ничтяк. После тюрьмы все мужики доходные. А ты на такой должности, что скоро подкормишься. В лагере надо иметь жену, чтоб за тобой смотрела, повкусней что сготовила, чинила, стирала, прибирала, чтоб за тебя на лапу взяла где надо, ну и подмахнула, когда схотишь.

Опять толчок грудью в плечо и улыбка с быстрым кончиком языка. А мне было тошно и от нее, и от собственного растерянного бессилия.

- Так назначь дневальной. А за мной спасибо не пропадет, не пожалеешь…

В мои обязанности входили проверка на вшивость и поголовный охват баней. Каждый зэка должен был не реже одного раза в десять дней пройти через баню, сменить или хотя бы прожарить белье. Если в бараке обнаруживались вши, назначалась внеочередная санобработка, т.е. прожарка и баня. Но работяги могли баниться только после работы. Поэтому за несколько часов - от возвращения бригад в зону до отбоя - приходилось пропускать не меньше двух бараков. Большинство радовались бане, но немало было и таких, кто хотел только есть и спать, кто боялся простуд - перехода из парной жары в холодную слякоть, в нетопленый барак. А голодны были все, и в эти же часы был ужин. Дневальные, бригадиры, банщик, его помощник и пуще всех я хрипли от криков, зазывая, убеждая, угрожая, упрашивая…

Так как наш лагпункт был пропускным, то постоянно убывали и прибывали новые зэка, большие и малые этапы. Это вносило в банный график непроглядную путаницу и неразрешимые противоречия.

Начальник, помощники начальника по режиму и по КВЧ, доктор Нина, банщик - плюгавый, настырный паренек, комендант,

дежурные надзиратели то и дело напоминали, спрашивали, кричали о бане. Бригадиры «брали на горло», орали, требуя либо первой очереди, чтоб до ужина, либо последней, чтоб успеть поужинать; унылые доходяги скулили о хворях, норовили залезть под нары, чтобы избежать принудительного мытья; сварливые скандалили; кто посмирнее, нудно жаловался на нехватку мыла, шаек, мочалы, в прожарке что-то сожгли, испортили…

Баня становилась для меня воплощением непролазного кошмара.

В один из первых дней я с трудом прогнал через санобработку многочисленную и распущенную бригаду, наорался и налаялся до хрипоты, наслушался дикой брани, проклятий, упреков; пришлось даже несколько раз помахать кулаками, чтобы отбиться от психанувшего хулигана и чтобы выгнать из барака упрямых филонов, долбивших: «А я еще не грязный… и вошей у меня нет… А я к лагерю приговоренный, а не к твоей бане…» После этого полагалось пропустить женский барак.

Когда я вошел туда, в нескольких местах между вагонками шумели визгливые свары. Группа женщин собиралась на этап, возникали споры из-за освобождаемых мест; одна из уезжающих искала пропавшую юбку, другая - платок. Обвиняли кто дневальную, кто подозрительных соседок. В дальнем углу визг нарастал, ссора, видимо, переходила в драку.

Я крикнул, сколько хватило сил и так, чтоб звучало повеселее:

- Эй, девочки, дамочки, кончай шуметь, собирайтесь в баню, красавицы. Мыло, губка и вода наши лучшие друзья.

И в ответ сразу с нескольких сторон обрушился шквал такой брани, такой изощренно-мерзостно-похабной и грязной, какой я никогда раньше не слыхивал… С верхней койки свесилась взлохмаченная серо-рыжая голова: исступленно блестящие глаза, широко раскрытый рот - не рот, пасть с мелкими, злыми, как у пилы, зубами. Прокуренный голос на одной надсадно сверлящей ноте поносил меня и похабно, и ненавидяще, и притом как-то непосредственно лично, будто эта ведьма непонятного возраста уже давным давно видит во мне своего злейшего врага…

В проходе между вагонками толстогубая девка, задрав юбку, повернулась и, тряся голыми ягодицами, восклицала хрипло:

- Вот тебе баня, падло, хреносос, придурок в рот, в душу и т.д., вот тебе баня…!

Старуха в сбившемся платке выла:

- Убивают… какая баня, когда убива-аю-ют… Спасите…

Две молодые девчонки в цветастых кофтах и ватных штанах хохотали с визгами, выкрикивая немыслимую матерщину, они

ругали какую-то не видимую мне собеседницу, а заодно и меня. У печки рыдала в голос пожилая баба в платке и темном бушлате, причитая с явно искусственным, кликушеским надрывом. Это была дневальная. Рядом с ней худощавая блондинка в городском опрятном платье, показавшаяся было миловидной и даже интеллигентной, внезапно замахнулась на меня кочергой и заорала с неподражаемой блатной интонацией:

- Катись ты туда-то и перетуда-то, раздолбай московский, фрей рогатый, пока тебе не то, не это, не так и не переэтак…

Пытаясь что-то говорить, убеждать, я не слышал собственного голоса и выбежал из барака - из ора, визга, злобно воющего сквернословия, уже не только оглушавшего, но, казалось, душившего, бившего и по ушам, и в нос нестерпимым зловонием. Выбежал в полном отчаянии. Ведь не мог же я отвечать им бранью - все-таки женщины, не мог ударить. Я поплелея в баню, не зная, что делать, лучше немедленная отставка, лесоповал, карцер, только не этот вопящий ад… Банщик сочувственно и презрительно хмыкнул:

- Эх ты, олень, а ну, пойдем, я тебе покажу, как с ними надо.

Он взял большую палку, другую сунул мне. Войдя в барак, где продолжался галдеж, он громко застучал палкой столу и закричал:

- Эй, вы, шалашовки, гумозницы, курвы и т.д. - а ну, собирайся в баню, пока ребра целы! Пулей вылетай!…

На него тоже орали. Но уже не так зло, даже с ухмылками. Отругивались.

Я стал ему вторить, пытался зубоскалить, так как не мог себя заставить «оттягивать» матерно. Женщины в конце концов пошли. Но в тот вечер я твердо решил, что не останусь пом-побыта, буду срочно искать замену.

Октябрь наступил дождливый, холодный. Вечерами я трясся от озноба. Головные боли не утихали даже после утроенных порций пирамидона. Соседи по нарам жаловались, что я ночью кричу, ругаюсь, разговариваю по-немецки. По утрам трудно было заставить себя встать. И наконец наступило такое утро, когда боль, сверлившая во лбу и скулах, почти ослепила. Шатаясь, цепляясь за стены, я ощупью дошел до уборной, но уже не мог добраться до столовой, чтобы позавтракать, и с помощью дневального - болтливого, мокроносого старика, поплелся в санчасть. Измерили температуру - больше 39. Нина осмотрела, выслушала и нахмурилась:

- Болезней у тебя целый набор, вагон и маленькая тележка. Пеллагра, гайморит, кишечник вконец испорчен и ко всему еще сильная простуда. Теперь уж ты отделаешься от помпо-бытства. Я

могла бы тебя положить к нам в стационар. Но это можно только на малое время, а потом либо опять на старое место, либо похуже… Поэтому я пущу тебя по ОСИ… Завтра как раз уходит этап в больницу, там хорошие старые врачи, там питание лучше и режим легче. Там действует ОСИ - Общество Спасения Интеллигенции. Это один москвич-инженер так назвал наших лагерных медиков. Шутка, конечно, ты не вздумай повторять, а то какой-нибудь гад-наседка подхватит, могут сразу дело намотать. Шутка шуткой, но мы же понимаем друг друга… Я врач - обязана всех лечить и лечу на совесть. Как с начальником цапаюсь, ты сам видел. У меня от его словесности в ушах гадко, каждый раз прочистить, промыть хочется, будто на самом деле грязь… Но я ему не уступаю и не уступлю ни одного доходяги. Завтра отправлю в больницу тридцать четыре, с тобой будет тридцать пять человек. С другой стороны, я же не Бог, не солнышко ясное, не могу всем одинаково светить. Для всех делаю то, что положено, что обязана, а для некоторых - побольше, сверх нормы, как говорят, «через не могу». Одно дело бандит, ворюга, полицай - руки в крови по локоть, или какой-нибудь барыга, хапуга, спекулянт, который на чужом голоде жировал, другое дело - такие, как Збых, как мой Коля, как ты. Когда я сразу вижу - хороший человек, честный, интеллигентный, и вообще ценный для Родины, для общества или для науки и тому подобное. И не одна я так думаю, а еще другие товарищи - есть и врачи, и некоторые толковые придурки, и даже кое-кто из начальства. Вот про всех нас тот шутник и сказал - ОСИ.

Два дня я лежал в бараке. Еду из столовой мне приносил дневальный - бестолковый, хлопотливый старик. Во время оккупации он работал помощником бургомистра в Брянской области. Жильцы нашего барака, ссорясь, называли его полицаем. Передо мной он унизительно заискивал и даже пытался величать гражданином майором. В тот вечер он взялся посушить мои сапоги. Наутро один оказался «пригоревшим», головка ссохлась, надеть было невозможно. Я чуть не заплакал от отчаяния, через несколько часов должен собираться этап в больницу - как, откуда раздобыть обувь? Обессиленный настолько, что не мог даже отлупить как следует хныкавшего от страха дневального, я надавал ему тычков и пригрозил убить, если срочно не найдет, что обуть. Он плакал, клялся, божился, убежал трусцой и вскоре вернулся, шумно торжествующий - принес пару стеганых бахил с калошами, старых, но, в общем, целых и мне по ноге. Весь день он лопотал, рассказывая каждому входящему, каким чудом раздобыл их у сапожников, как торговался - отдал весь свой табак и хлеб и еще что-то. К вечеру он уже чувствовал себя моим благодетелем и

даже выклянчил табаку.

Этап на больницу строился у вахты уже затемно. Шел дождь со снегом. Я кутался в бушлат, полученный взамен проданной шинели, обмотал горло полотенцем. Фельдшер Коля принес мне шапку - засаленный матерчатый треух - и на прощание забинтовал голову, наложив побольше ваты на лоб и скулы, чтоб грело. Весь мой багаж умещался в маленьком холщовом мешке: четверть буханки хлеба, пара луковиц, деревянная ложка и тряпье - остатки армейского белья, изодранного и «пережаренного», которые я сохранял для «носовых платков» и портянок.

У самой вахты конвоиры и надзиратели начали проверять выбывающих.

Начальственный хриплый тенор распоряжался:

- Сдать имущество лагпункта. Белье казенное можно только, если своего нет. И чтоб не больше одной пары, той, что на тебе. Одеяла, простыни - все сдать… Ботинки только те, что носишь, если своих нет… Проверить все чемоданы и сидоры. Кто на себя лишнее надел - снимай сразу…

Начался обыск под дождем и снегом. Чемоданы, сундучки, мешки вытряхивали прямо в грязь, конвоиры перебирали вещи, выхватывали то, что им казалось подходящим. Обыскиваемые кто кричал, кто жалобно упрашивал…

- Что вы делаете? Здесь же больные…

- Раз-го-оры! Работать - больные, а жрать - здоровые…

- Так это ж моя одежа з дому… гражданин начальник, что ж это такое… Это ж моя одежа… пинжак… штаны жена прислала з дому.

- Молчи, падло! Ты ж в больницу едешь, там оденут.

- Деревянный бушлат ему, а не пиджак.

- Ой, ой, что ж вы делаете? Ой, Боже мой, последнее забирают.

- Це ж мое власне… не маете права… Я жалиться буду, це моя сорочка. Бона ж гаптована, таких тут немае.

Выкрики. - Стоны. - Скулящие жалобы. - Плач. - Конвоиры орут, матерят. - Арестанты ругаются вполголоса.

- Грабят сволочи, ни стыда, ни совести. Прав нет, а кому скажешь? Издеваются над больными.

Истерически завопила женщина: «Не дам… Это мое…» Один из конвоиров деловито сказал другому:

- Ты прохаря найди. Тут прохаря должны быть хромовые.

Через ряд передо мной стоял высокий старик, закутанный, замотанный платком поверх шапки и пальто. Он, видимо, не слышал или не понял распоряжений. Двое конвоиров выхватили у него рюкзак и начали разматывать платок. Он испуганно

забормотал:

- За что? За что? Я же ничего. Тогда и я стал кричать:

- Где начальник лагеря? Требую начальника лагеря. Это произвол, беззаконие, издевательство над больными. Над советскими законами. Где начальник лагеря? Это не обыск, а грабеж.

Сзади кто-то испуганно:

- Не надо… не заводись… Они ж убить могут… Какие тут законы?… Не надо…

Подскочил коренастый, в шапке, сбившейся набекрень, с автоматом поперек груди. В слепящем свете фонарей вахты - маленькие, злобно блестящие глаза, оскаленные зубы, очень белые, ровные - юношеские.

- А ну, заткнись… твою мать… Сейчас же заткнись. Я тебе покажу законы, падло, не доживешь до больницы.

Начальственный тенор приближался от вахты.

- Кто там права качает? Кто оскорбляет конвой? В больницу собрался и на горло берет. Так мы тут на месте подлечить можем… Этот? Здоровый лоб, а намотал бинтов. Это ты начальника зовешь?

Молчу, стараюсь удержать дрожь озноба и страха. Сразу же испугался, ужаснуло, что оставят, изобьют, погонят назад в бараки и не попаду в больницу, благодатную, светлую, полную добрых врачей.

- Молчишь, сука? У, враг народа. Вот так и молчи. Рога еще не обломали. А ты заметь эту морду забинтованную. Глаз не спускай.

И я мгновенно, сквозь боли, сквозь жар вспомнил рассказы о конвоирах, которые в пути заставляли зэков часами лежать в снегу, разуваться на морозе, сами сталкивали с дороги и стреляли в упор - «попытка к бегству».

Меня вовсе не обыскивали, сразу видно было, что взять нечего, у стоявшего рядом только ощупали тощий мешок.

Тот же хрипловатый тенорок завел обычное:

- Шаг вправо, шаг влево… Всем взяться за руки, крепко. Не отставать.

Вышли за зону. Впереди и сзади - конвоиры с большими яркими фонарями. Теперь конвой спешил: «Давай шире шаг, поезд ждать не будет». Собаки лаяли, должно быть, из-за спешки.

Под ногами клочья снега, жидкая, скользкая, вязкая грязь, лужи в колеях и выбоинах. Набрал в калоши: чувствую холодную мокреть бахил. Пытаюсь смотреть под ноги, но это бесполезно. Справа и слева на локтях висят сопящие, кряхтящие, постанывающие. Идем сцепившись. Сзади подталкивают:

- Давай, давай… не растягивайся… вашу мать.

В темноте, разжиженной фонарями, в задыхающейся, спотыкающейся спешке не понять, много ли прошли. Впереди кто-то споткнулся, упал. Толчея… Крикливая брань конвоиров. Они возненавидели ограбленных ими арестантов. Начальник кричит:

- Кто будет мешать движению… конвой применяет оружие. Беспощадно. Не растягивайся, не сторонись. Шагай прямо! Не сахарные, мать вашу…

Идем прямо по лужам. Внезапно вступаю в глубокую, липкую, тягуче жидкую грязь. Спотыкаюсь. Почти падаю на одно колено. Рывком выпрямляюсь. С двух сторон тянут, сзади напирают. Чувствую, калоша осталась в грязи. Пытаюсь нагнуться.

- Минутку, товарищи, там калоша… у меня жар…

Но со стороны, почти рядом, тот же голос, что у вахты - оскаленного белозубого.

- Кто там ложится? Опять ты, падло! Законы шукаешь?

Клацанье затвора. Панические рывки сцепленных со мной. Хотят оторваться, чтоб не задела пуля?… Ужас - немой, холодный!… Выстрелит? Убьет?… Сколько прошло - секунда, полсекунды?… Орет: «Шире шаг!» Не стреляет. Злой матерный крик звучит благостной надеждой. Кажется, будто даже потеплело. На шее, на спине, на животе - струйками теплый пот. Рвусь вперед. Зажимаю локти идущих рядом. Ноги все равно намокли.

- Шире шаг!

…Вышли на открытое место. Цепочка фонарей расплывается оранжевыми пятнами в серо-белесой, тускло поблескивающей мути дождя и снега. Идем по откосу. Поезд. Несколько теплушек. Оттуда крики:

- Давай, давай, скорее!

Сбиваемся в кучу у едва приоткрытой двери теплушки. Конвоиры орут, собаки рычат. Помогаю забраться стонущему старику. Потом женщине. Свистит паровоз. Меня отталкивает кто-то панически-торопливый, стонущий, он с трудом взбирается, дрыгая ногами. Я хватаюсь за железный паз, по которому движется дверь. Пытаюсь подтянуться. Уперся локтем, а ноги бессильно болтаются. Сзади хохочут конвоиры. У самых глаз - грязные подошвы. Над ними красноватая теплая полутьма. Вагон вздрагивает. - У меня нет сил. - Ужас. - Поезд тронется - свалюсь под колеса… Или останусь один - пристрелят. Кажется, закричал или застонал: помогите! Кто-то сверху рванул за шиворот. Бушлат поддается, а я вишу. Сзади, снизу толкнули больно, грубо, но спасительно - взобрался, вполз. Ползу по грязным мокрым доскам. Сердце колотится у глотки. Все тело обдает

влагой, то жаркой, то холодной.

Но поезд стоял… Кажется, еще долго стоял. Поездные конвоиры пересчитывали нас. В теплушке сидели на мешках, узлах, ящиках и лежали вповалку арестанты. Посередине - печка из железной бочки, мутно-красный свет от раскаленных дверец. Пытаюсь подобраться ближе к печке. Ругают, отпихивают. Униженно прошу: «У меня жар, потерял калошу. Дайте посушить бахилы». Разуваюсь, пол сырой, холодный, вытаскиваю из мешка все тряпье. Кто-то добрый дарит большие куски оберточной бумаги. Из угла вагона передали горсть соломы, дотискиваюсь к каким-то мешкам или тюкам. Не вижу лиц, не запомнил. Кто-то протянул кружку с кипятком. Пахнет рыбными консервами. Печка благостно обжигает, греет. Голоса вокруг, как сквозь толстую вату. А на мне и правда вата - на скуле, на лбу, на шее, в ушах.

Наконец толчок, застучали колеса - мгновение счастья сильнее всех болей: едем в больницу… Едва помню, как выгружали. Ночью из теплушки в темноту, глубоко вниз, как в пропасть. Но уже не страшно, видны огни больницы. Там всех завели в баню. Мы спали в тесном предбаннике на деревянном полу - чистом, теплом, у ласковой горячей стены.

Утром всех повели по корпусам. Меня вел высокий, длиннолицый, смуглый санитар. Он говорил с незнакомым акцентом. И вдруг запел в четверть голоса «под нос»: «Alles was aus Hamburg kommt muss gestemplet sein…» Старый шлягер 20-х годов. Иоганн, австриец из Семиградья, был комсомольцем, в 1940 г. убежал в Бессарабию навстречу Красной Армии, осужден ОСО по «подозрению в шпионаже» на пять лет. Срок отбыл, но «пересиживал». Он вел меня по деревянным мосткам, по свежему хрусткому снегу, я шатался, оступался, он подхватывал сзади под мышки длинными сильными руками.

Ларинголог дядя Боря, маленький, круглолицый, с седыми усиками, осмотрел очень внимательно. Я передал ему привет от доктора Нины. Он кивнул, улыбнулся, стал расспрашивать: кто, откуда.

- А вы в Москве такого критика Мотылеву знали?

- Тамару Лазаревну? Конечно!

- Это моя племянница.

Дядя Боря был осужден за двойное «преступление», - за филателию и за «разглашение клеветы на органы».

В двадцатые годы он ездил на международные конгрессы филателистов. В 1937 году он получил приглашение на очередной конгресс, работал тогда врачом в Ярославле. Посоветовался с начальством, как поступить. Его арестовали. Следователи жестоко избивали старика, не понимавшего, что он

должен признаваться в том, чего не делал и не думал. Ему сломали два ребра, палец, вырвали ноготь…

Однако смена слоев аппарата НКВД замедлила следствие, а в 1939 г. после отставки Ежова «новая метла» вымела дядю Борю на свободу; он поверил, что все, произошедшее с ним, было чудовищным недоразумением. Но год спустя его арестовали опять, уже за то, что он рассказывал лечившим его коллегам, как именно были поломаны ребра и палец. Без особых новых допросов - обошлось несколькими затрещинами - его осудило ОСО на 8 лет, причем великодушно засчитали срок первого следствия. Дядя Боря и в лагере продолжал собирать марки, но уже только советские и старые российские.

Обо всем этом я узнал позже. А в тот первый день я в блаженной полудреме сидел в белой теплой приемной на топчане, застланном чистейшей простыней. После короткого опроса он поглядел на термометр.

- Ого, почти 40. Иоганн, кладите его сразу на койку, все барахло сдайте в прожарку и помойте его здесь, не тащите в баню, чтобы не простудить…

От грозной цифры 40, от доброго озабоченного взгляда из-под толстых очков, от белой чистоты и тепла и роскоши - палата была небольшой, светлой, койка пружинная с матрасом рядом с печкой - и оттого, что все люди вокруг казались приветливыми, отпустило, спало напряжение, недавний смертельный ужас расплывался, таял.

Когда я очнулся, то увидел на табуретке у койки шесть больших кусков хлеба: три черных и три давно уже не виданных белых. То были больничные пайки за три дня, «пеллагрозные». Санитар Ничипор, баптист из Полесья, называл их белогрозные. Пока я был еще в сознании, острее, чем боли, донимал голод. И вот сколько хлеба не съел. Бессильная стыдная жалость к себе. И легкая, тепловатая радость - все-таки живу…

Постепенно я креп, ел жадно и ненасытно. Больничный паек составляли 500 грамм хлеба, черного и белого, на завтрак чечевица или овсянка, на обед постная баланда из картошки, брюквы, моркови и кусок селедки. На ужин опять овсянка или чечевица. Как дополнительное лечебное питание против пеллагры нам выдавали дрожжи, выращенные на осиновых опилках, горчицу, которую мазали на хлеб и на дрожжи. Пили кружками хвойный настой. Вскоре я получил из дому посылку и деньги. Поручал санитаркам покупать картошку, молоко, махорку. Присылали еще и газеты и книги, а главное - письма, письма от родных, от друзей. Все ободряли, уверяли - теперь скоро, совсем уже скоро, дело вот-вот рассмотрят, все выяснится, произошло

«дикое недоразумение».

Больницы Унжлага славились замечательными врачами, хорошим оборудованием, и они же были пристанищами искусства. О начальнике лагеря, полковнике П., рассказывали, что он завзятый меценат - приказывает специально отбирать в тюрьмах артистов, музыкантов, художников и очень гордится тем, что его унжлаговская художественная самодеятельность считается чуть ли не лучшей по всему ГУЛАГу. Ведущих артистов постоянно содержали в больнице, числили их выздоравливающими или санитарами, там и питание было получше, и работы поменьше.

Николай Николаевич В. - бас, народный артист из Минска в годы оккупации пел в концертах для немцев, даже гастролировал в Берлине; он был осужден на десять лет. В больнице он состоял в должности санитара, но занимался только театром, ему разрешили доставить из дому рояль, который установили на «сцене» в столовой. Он руководил всей художественной самодеятельностью лагеря.

Высокий, статный, седые волнистые кудри, светлые глаза в красноватых веках, вяло-измятое, но все еще красивое, крупно вылепленное лицо самоуверенного любимца публики. Он рассказывал, что хотя и вынужден был петь для немцев - а то ведь и повесить могли бы, я ведь раньше в партии состоял и депутатом был Верховного Совета Белоруссии, - но пел патриотически.

- Я, можно сказать, по-своему партизаном был, я им, бывало, Стеньку Разина - они обязательно требовали «Стэнка Разин, муттер Вольга» - так ревану и по-дьяконски, и по-мефистофельски, так кулаками взмахну, чтоб знали фрицы, что такое русская удаль… Они прямо головы в плечи втягивали.

Дневальными числились два заслуженных артиста, тоже певцы. Начальник лагеря особенно любил оперу и оперетту. Баритон Анатолий Г. из Харькова попал в агитбригаду прямо из камеры смертников, где просидел два месяца, осужденный на расстрел как участник бендеровской боевой группы. Молодой, чернобровый, кареглазый, ухватки первого парня на деревне. Умный, насмешливый, жестковатый, даже злой, он почти не зависел от осанистого, велеречивого, но безвольного и трусоватого худрука. О своем деле Анатолий говорил немногословно: «Намотали по дурочке; план выполняли по очистке ближних тылов от элементов. Ну и нашли подходящих сопляков-засранцев, те им в таком напризнавались, что старший следователь, наверное, орден Ленина заимел, а зато нас - полдюжина вышку получили, вот и я с ними. Все такие же казаки: два лабуха из оркестра, скрипач и трубач, один учитель с жинкой

и одна студентка - сумасшедшая девка. Нет, вправду психованная, она с немецким офицером женихалась, а потом и каялась, и на себя накапала, и на всех, кого знала и не знала…»

Тенор Коля Ш. - москвич, был и первым любовником драматической труппы. Его арестовали еще до войны за анекдоты, получил пять лет, разменял последний год, он уже был бесконвойным и очень боялся, что оставят «пересидчиком». Все, кто пересиживал после окончания срока, немедленно лишались бесконвойного пропуска. А у Коли в поселке были подружки, говорили, что в него влюбилась дочь начальника лагеря - студентка; отец отправил ее в Москву, не дождавшись окончания каникул, а Коле пригрозил, что намотает новый срок.

Он был очень пригож, «соловей Унжлага», избалован женщинами и откровенно самовлюблен. Он капризничал, томно хандрил и смертельно трусил, пугаясь начальства, блатных, заразы…

Московская балерина Сонечка, худенькая, умненькая, влюбчивая - Ш. жаловался, что она его преследует, - сидела уже почти семь лет, - из десяти, - как ЧСР (член семьи репрессированного). Ее мужа, командира корпуса, расстреляли в 1937-м. В Кеми она работала на лесоповале, потом заболела, стала подругой врача-заключенного, он ее сделал медсестрой, а в Унжлаге она «вернулась на сцену». Она была балетмейстером и сама выступала в концертах, с народными танцами. Когда ей разрешили исполнить соло «Умирающего лебедя» Сен-Санса, она плакала от счастья, репетировала по ночам, а после концерта слегла на неделю - нервное истощение. В больнице она работала сестрой в бараке мамок.

- Знаете, физически это нетрудно, у нас почти все здоровые девки, да если кто заболеет, рядом другие корпуса… Но морально такой ужас… Это невозможно себе представить.

Но я понял ее в тот вечер, когда «центральная труппа» показывала спектакль «Власть тьмы» на маленькой сцене в столовой больницы. В этой столовой кормились только обслуга, немногочисленные работяги и мамки, и она была куда меньше, чем столовые рабочих лагпунктов, где в каждую из двух-трех смен усаживалось по нескольку сотен едоков.

В зрительном зале преобладали женщины. Меня пригласил Коля Ш., игравший Никиту. Он очень хотел «показаться» профессиональному критику-москвичу. Я еще только начал ходить по корпусу, но перед его натиском не устоял бы, наверное, и паралитик. Тайком от докторов я пошел на спектакль, в чужих штанах, чужом бушлате и с забинтованной головой - для тепла и для маскировки. Сперва я блаженно радовался всему.

Неимоверная давка, толчея, брань, чадный дым самосада; зрители сидели на скамьях, на полу, на столах, сдвинутых к стенам. Но вот и здесь, и этих злосчастных людей влечет искусство…

Занавес из какой-то пестрой дерюги с аляповатыми картонными аппликациями тронул неожиданным сходством с театрами 20-х годов, с самодеятельными «синими блузами». На сцене, в крохотном тесном пространстве, были вполне пристойные декорации, состряпанные из нескольких фанерных щитов и холстин. И самая большая радость - живое толстовское слово.

Вот только публика… Рядом со мной усталые работяги передавали из рукава в рукав махорочные бычки. Хриплый шепот:

- Сказано вам, здесь не курят.

- Ладно, ладно, потяну в последний раз… Но они слушали внимательно. А несколько мамок все время лопотали - молодые, горластые, у всех платки до бровей, повязаны, словно по единой форме. Они состязались в «остротах», комментируя происходившее на сцене.

- Эх, ты, лярва дура, он же тебя поматросил и забросил… Шо ты его фалуешь… бей меж рог и порядок будет… Ну и чего психовать, теперь в декрет пойдешь, пайку прибавят…

На них шикали:

- Эй вы, шалашовки, потише, не мешайте слушать.

Но они либо не обращали внимания, либо огрызались.

- А ты смотри туда, на сцену, раздолбай! Поверни голову, а то мы тебе ее отвинтим, вставим в задницу и скажем: так было.

За каждой такой шуткой взвизги, хохот. Диалог Никиты и Марины то и дело прерывали сипловатые блядские голоса:

- Да не скули ты, оторва… Врет он… а она, дура, верит… Так ее, засерай мозги!…

Снова и снова дикое гоготанье. Такое же, как тогда в банный день в женском бараке.

Еле досидев до антракта, я поплелся в корпус. Не осталось и следа недавней короткой радости.

Я уже не понимал, хорошо ли играли. Живое слово, звучавшее со сцены, было заглушено, захаркано. Молодые женщины, матери, гогоча издевались над страданиями, над молодой женщиной, которая ждала ребенка, издевались над собой, над своими страшными судьбами.

На следующий день я рассказал Коле, как сперва было умилялся, а потом ужаснулся от гнусного хохота и сомлел от духоты.

Он сочувственно кивал, нервно оглаживая опрятную телогрейку, кокетливо обшитую полосами клеенки.

- Да, да, я вас понимаю: как интеллигентному человеку это мучительно, это невыносимо, но мое спасение на сцене, в игре… Когда я на сцене, я слышу только партнеров и еще только внутренний голос моего образа, моего героя. Вы понимаете? Иногда в паузах я замечал, что в зале хихикают… Раньше это, вероятно, задело бы. Но ведь здесь кто - скоты, шобла, чернь, Да, да, именно чернь. И все же надо играть, я не могу не играть.

И вы заметили, что я выкладываюсь весь, я вживаюсь в роль, в моего героя и радуюсь или страдаю уже не с ним, а в нем… и вы заметили, ведь никакого искусственного наигрыша, никакого педалирования, а все только изнутри, всеми потрохами. И это даже скотов пронимает. Жаль, что вы не досидели вчера. Нам устроили форменную овацию…

Много позднее я узнал о кощунственном, карнавальном, смеховом вытеснении душевной боли. Но тогда я испытал только испуг и омерзение.

Кроме центральной агитбригады действовали еще несколько местных кружков самодеятельности на лагпунктах и, разумеется, в больнице. К весне я окреп. Жил в корпусе в палате выздоравливающих, долечивал хвори, временами обострявшиеся от каждой простуды, но уже постоянно работал в лаптеплетной мастерской. Правда, я так и не научился заканчивать лапоть, выплетать аккуратный носок, но все же кое-как управлялся с кочедыком - единственный инструмент лаптеплета, - и пятки получались ладные, и большая часть головки, я даже внес рационализаторское предложение: мы разделили труд - неквалифицированные лаптеплеты, таких нас было четверо, пятеро - делали заготовки, на половину, на две трети целого лаптя, а наш главный мастер, сухощавый старичок волжанин, сидевший еще с «Ягодиных» времен, быстро завершал. И тогда получалось, что он легко выполнял дневной урок на 150- 180 процентов, мы кое-как дотягивали до 100 процентов, и у него еще оставалось время и сырье для индивидуальных заказов. Он плел остроносые, аккуратные лапотки с «каблучками» и крашеными рантиками для женщин зэка и для жен вольнонаемных. В конце зимы меня зачислили на курсы медсестер и мед-братьев. Действовало ОСИ, но мне еще очень помогли сомнительные, однако для местных медиков необычайные знания латыни. Нас обучали распознавать дистрофию, пеллагру, дизентерию, цингу, аппендицит, воспаление легких, накладывать жгут, делать повязки, фиксировать дощечками сломанные руки и ноги, ставить клизмы, делать подкожные и внутримышечные уколы (до внутривенных я так и не дозрел), разбираться в основных медикаментах: что давать от «живота», «от головы», «от сердца»,

чем мазать обычные раны, ссадины, чирьи, а чем не обычные - цинготные, пеллагрозные…

Тогда же я начал подвизаться в самодеятельности - участвовал в подготовке большого майского концерта. В одноактном водевиле я играл влюбленного ревнивого студента, подруга которого нянчилась с младенцем-племянником, а он заподозрил и т.д. и т.п. Но главным делом было сочинение рифмованных текстов для хоровой декламации и частушек, имевших наибольший успех. «Меня милый фаловал, про любовь мне толковал, А я сидела - слушала, четыре пайки скушала». Или: «Если хочешь быть здоров, не просись у докторов. Придурись у поваров - будешь весел и здоров».

Однако частушки исполнялись всего один раз, их запретил начальник КВЧ за «идеологически вредные настроения и подражание блатным песням».

Концерт состоялся в первую годовщину победы. Хор заключенных пел торжественные, ликующие военные песни, народные, любовные, веселые и нежные, и печальные, озорные. С этой сцены, давно знакомые, они звучали трагически многозначно. «Дорогая моя столица, золотая моя Москва…», «Жди меня, и я вернусь…», «Повий витер на Украину, де покинув я дивчину…», «Давай закурим, товарищ, по одной…», «В каждой строчке только точки…»

Еще до концерта было происшествие, о котором долго потом судачили в лагере. После торжественного собрания, происходившего в клубе за зоной в присутствии самого начальника лагеря, выдавались премии «рекордистам» - лучшим рабочим лесоповала, деревообделочных и швейных фабрик, инженерам, техникам и некоторым врачам. Начальник благодушествовал, он тоже получил из Москвы премию и благодарность за перевыполнение планов. Он произнес речь, в которой наставлял врачей: «Лечить надо не так порошком, как пирожком… Кормить надо так, чтобы вовсе не было доходных, а только справные работяги».

Вызвали на сцену вольнонаемного бригадира лесорубов, осетина Ассана. Он отсидел несколько лет за бандитизм, был освобожден досрочно за немыслимые рекорды - выполнял по три-четыре нормы в день без «чернухи». Оркестр из двух гитар и нескольких балалаек, домбр и мандолин наяривал туш; Ассану вручили карманные часы с цепочкой. Но еще не отзвенела последняя нота бодрого туша, как он широкой лапой отодвинул награждавшего офицера, подошел вплотную к столу, накрытому кумачом - а он в старом, темном бушлате, сутулый, небритый, из густой бурой щетины торчал большой ястребиный нос, - положил

часы перед начальником и заговорил, все более разгорячаясь.

- Забери часы, гражданин-товарищ полковник. Забери. Спасибо. Красивый слово - премия. Но часы у меня уже есть. Три часы есть - нет четыре. На руку два часы, в кармане один часы, на стенке один часы и еще будильник - тоже часы. И еще два часы я сам бабам подарил. Не хочу, не надо.

- Правильно, Ассан. Головотяпы тебя премировали, я с них стружку сниму, это уж не беспокойся. А ты говори, чего хочешь? Чего тебе нужно? Одежка у тебя не праздничная. Получишь костюм, драповое пальто.

- Не надо кустюма, начальник. Не надо пальто. На хрен пальто. У меня все есть. Три кустюма есть, два пальто есть, может больше. Я тебя прошу другая премия, настоящая премия. Законвоируй меня обратно. Хочу назад в зону.

- Ты чего мелешь, чудак? Ты ж свободный гражданин. Ты давай по-рабочему, критикуй, вноси свои предложения, пожелания. Объясни, какие именно трудности. Мы поможем.

- Хочу в зону, понимаешь? Хочу жить, как человек. Когда я был зека, я в лесу давал рекорды, а приходил в зону, имел чистую кабинку, имел хорошее питание. Горячий обед, приварок, хлеб от пуза. Всегда сытый был. Хотел - выпить имел. В кабинке чистая постель - простыня, подушка - первый срок. Бабы имел красивые, чистые - сколько хотел. Не шалашовки какие, а молодые, городские девочки имел, хорошие, самостоятельные женщины. Хотел вольное барахло - купил. Знакомый урка пулял, хоть самый заграничный пинжак. Гроши имел - не считал… А теперь што? Кушать хочешь - карточки надо. Готовить некому. Обедать иди в столовка - стой очередь. Обед совсем говно. В зоне такой обед только последний доходяга хавать будет. Зарплата получать - стой очередь; а там заем берут, налог берут. Что осталось - хрен сосать. Бабы на воле тут - вовсе плохие бабы, только бляди без совести. Одна была - хорошие вещи забрала в чемодан, уехала к маме в Сибирь. Друга пришла, смеется - там никакой мамы, одно мошенство. Теперь я на мешках сплю. Не подушка - бушлат. В зоне у меня ни одна вошь не была, каждую неделю белье менял. А теперь я вшивый стал, вот смотри, пожалуйста… Возьми обратно в зону, начальник, я на совесть работать буду, я пять норм давать буду. Забери, пожалуйста, по-хорошему. А то я психану, убью кого-нибудь, большой срок получу, в другой лагерь повезут.

Просьбу Ассана не выполнили, во всяком случае за те месяцы, пока я еще оставался в Унжлаге. Говорили о нем по-разному, кто со злостью: «Вот быдло, сам на цепь просится», а кто и сочувственно: «Ну а что делать бедняге в чужом краю одному? На что ему его куцая свобода? Только пропадать…»

У нас в корпусе лежал мастер леса, заключенный с 1937 года. Образованный экономист. Слушая разговоры об этом «молении о зоне», он объяснил нам, что жизнь вольных работяг в леспромхозах, находившихся в тех же районах, что и лагерь, как правило, хуже, чем у заключенных и чем у военнопленных, и у трудмобилизованных женщин - то были немки с Поволжья, - работавших в тех же лесах. Но зато и себестоимость леса в лагере самая высокая.

- Ведь в леспромхозе расходы какие? На производство, на зарплату, ну и там кое-какое обеспечение. А в лагере, когда в лес идет сто работяг, то в зоне хорошо, если столько же обслуги, придурков. А больных, инвалидов еще больше. К тому же расходы на охрану, на разное начальство, на вольнонаемных. Зэка зарплаты не получает, но сколько на него тратится? Чтобы его кормить, одевать, обувать, охранять, лечить, перевозить? Это ведь больше любой зарплаты набегает. Конечно, самому работяге врядь ли четвертая-пятая часть достается от того, что положено. Ведь по дороге столько липких рук. Все прилипает - и харчи, и барахло, и деньги. Но на стоимость кубометра все это ложится. А тут еще и знаменитая чернуха и туфта - на бумаге полторы нормы, а на делянке хорошо, если половина. Никакие вольные на такое очковтирательство не осмелятся. В общем, деловой лес тут стоит столько, что дешевле было бы из Канады возить.

Это был, кажется, первый конкретный урок практической экономики, основанной на «социалистическом» рабском труде. Запомнился он прочно; однако тогда еще не повлиял на общее мировоззрение.

Глава двадцать восьмая
НАСЕДКИ-СТУКАЧИ

Когда в больнице ко мне внезапно пришел Петя-Володя, я сперва струхнул: конечно же, он и здесь будет стучать, а может быть, и специально из-за меня перебрался с лагпункта.

Но он глядел неподдельно тоскливо, был очень истощен.

- Дохожу, браток, видишь, десны черные, зубы шатаются, ноги в пятнах. У немцев не дошел, а у себя на родине скоро в деревянный бушлат…

Глаза уже не таращились нагло, словно уменьшились, потускневшие, ввалившиеся. Длинные грязные пальцы дрожали.

Я дал ему хлеба и оставшуюся от посылки крупу «геркулес». Он благодарил многословно, порывисто, но без подобострастия, искренне, даже всплакнул.

- Ты же знаешь… Я сам знаю… Я понимаю, как ты про меня думал… но ты сейчас поверь, я с тобой, как с братом… Ты пойми, я тоже человек… Меня жизнь как калечила… Разве я так жил, как хотел… Я ведь тоже имею понятие. Я ж хочу, чтобы жить по-человечески, по-советски, по-честному. Я тебе навсегда благодарен. Ты поверь…

А я прерывал его такой же косноязычной невнятицей:

- Ладно, ладно… Ты главное - держись, не теряй лицо. И, как говорится, не делай другому того, чего себе не хочешь… Кто старое помянет… Думай про завтра, не про вчера… Никогда не поздно стать человеком, пока живой.

Скоро меня отправили в другую больницу. Больше мы не виделись.

В тюрьмах боялись наседок, о них перешептывались. В лагере о стукачах говорили вслух. Называли их тоже наседками, но еще и подкумками, просто гадами или суками. Хотя это определение было шире, так называли всех бывших воров, которые ссучились, т.е. стали придурками, самоохранниками.

Эти нижайшие слуги великого государства, такие же бесправные, как и все заключенные, такие же униженные и нередко так же бессмысленно неправедно или непомерно жестоко осужденные, в то же самое время были действующими винтиками жестокой карательной машины, которая кромсала и их жизни. Они служили ей за жалкие подачки, служили за страх - о совести говорить не приходилось, - хотя их служба нередко бывала опасной. В лагере топор, лопата, кирпич становились орудиями неотвратимой мести.

Мне было занятно выспрашивать стукачей; я хотел уразуметь, что именно довело их «до жизни такой». Это было настойчивое и недоброе любопытство, родственное тому, которое в детстве побуждало увлеченно читать описания пыток и казней и эротических сцен, а на фронте и в тюрьмах заставляло подолгу разговаривать именно с теми, кто казался особенно жестоким, бесчеловечным. Такое любопытство питают разные источники, разные корни, должно быть, самые глубинные, которые можно проследить только по теории Фрейда. Но ближе всего к поверхности, видимо, то, еще в мальчишестве забрезжившее романтическое влечение к необычайным людям и необычайным злодеяниям. Однако сказывался еще и неизменный завет Короленко: «Ищите человеческое в каждом человеке».

Маленький, тощий, серолицый, в длинной до пят шинели и синей кепочке. Сапоги на толстой подошве, на высоких каблуках.

Был на фронте младшим лейтенантом - связистом. Попал в плен в августе 1941 года еще у Смоленска. Голодал, доходил. Пошел к власовцам. Дезертировал во Франции: был у французских партизан, участвовал в нескольких нападениях на немецкие тылы. Считал, что искупил плен. Поехал домой с чистой совестью. Прошел первый фильтрационный лагерь. Восстановили звание. Пустили домой.

- На вокзале в Москве подошел какой-то в макинтоше. «Здорово! Ты в Нойхаммере в шталаге был? - Ну был… - В каком блоке? Помнишь конопатого?…», то да се. А тут еще двое, гражданские польта, но с-под них сапоги хромовые. «Пройдемте на минуту…» Вокзальное отделение. Проверка документов. Этого в макинтоше больше и не видать. А меня сразу в Бутырку. Трое суток в боксе. Потом - распишитесь, ордер на арест, статья 58 пункт 1б - измена родине. Следствие как положено, туда-сюда: того знал? Этого знал? Почему не застрелился, а в плен пошел? Кто научил изменять родине? С каким заданием пролез в партизаны? С каким заданием прибыл на родину? С каким и от кого - от американцев или от французов? Признавайся… твою бога мать! Признаешься - жив будешь, не признаешься - полжизни отнимем, сгниешь в тюрьме. Туда, сюда… в морду… по ребрам… в кандей с морозом, в кандей с водой… Подписал измену, а шпионаж не подписываю. Хоть убивайте, а я родину люблю; за родину, за Сталина жизнь отдам… Плюнули. Закруглили… В трибунал… Ну там, конечно, вежливо, на вы, чин-чинарем. Признаете себя виновным? Я обратно за родину, за Сталина. Туда-сюда, десять минут разговору. Меня уводят за дверь, через пять минут вертают… Уже мой приговор готовый и на машинке напечатанный. Не слыхал, правда, как стукали. 10 лет и пять по

рогам. Вопросов нет?

Так вот я тебе скажу как фронтовик фронтовику. И в лагере жить можно. Кто, конечно, лопоухий, станет права качать, рогами упираться, тому и рога обломают, и дадут такой жизни, что сам умирать схочет… Тут свои законы, а правильней сказать - кто имеет голову, тот имеет законы. Тебе скажут про меня, что я наседка, что меня кум назначил банщиком, и ты будешь думать, что я гад, сука продажная… Но ты не верь и слушай, что я тебе скажу как фронтовик фронтовику…

Правильно, я имею связь с опером, его тут кумом называют. Имею, как я - патриот, был комсомольцем. Пусть я теперь заключенный, но я о себе все равно понимаю как о патриоте. А он кто есть? Уполномоченный оперчекистского управления, вот кто, а здесь в лагере врагов народа полно. Есть, конечно, и такие, как мы с тобой… Но сам знаешь: война ведь, бдительность нужна! Когда такую сеть заведут, так гребут и виноватых и невиноватых, если не туда попали. Потом еще разберутся кто - кто… Но ведь я людей понимаю… Я образование имею, перед войной кончил техникум связи… А еще больше жизнь научила. Был и в Крыму, и Рыму, и в Германии и Франции. Парле, ву, камрад? Тре бьен… донне муа пан зван, силь ву пле… Альман бош кошон, рюс тре бьен… Вив ля Франс… Вив ля Рюс… Вот видишь? Ага, и ты можешь? Я тебя сразу угадал, что ты за человек, и к тебе со всей душой, как фронтовик к фронтовику… А всех этих полицаев, бендеровцев, настоящих изменников, шпиенов, диверсантов, троцкистов, власовцев - ну всех врагов народа я ненавижу, как самих немцев; так бы и душил их всех гадов!… А на тебя я стучать не буду, ведь сам понимаю. Ну, конечно, если кум спросит, что и как, скажу туда-сюда, свой человек, патриот родины, выдержанный, моральный, все как положено, чин-чинарем. А если вижу, кто гад, падло, вражина и еще права качает, тому хана, он у меня кровью срать будет, на штрафном подохнет…

У тебя тут кто кореши есть? Один только? Как звать? Костюхин. Он где, маляром в зоне? А что за мужик? Свой?… Партийный был? В плен попал раненый?… И подался в шпиенскую школу, чтобы к своим перейти? И ты ему веришь?… Ага, он в кадете сидел? В Штутхофе? Знаю, слыхал, Это вроде Бухенвальда… смертный кадет? И он еще не сужденный, как ты? Ну что ж, разберутся… Говоришь, он патриот, свой… Могет быть. Но я тебе как фронтовик фронтовику скажу: ты здесь ушами не хлопай, никому не верь. Один кореш - ладно. А кто к тебе еще будет клеиться, не верь, приди ко мне, я тебе за каждого скажу, чем кто дышит… Вот повар - моряк, говорит, что капитан, но я

знаю - свистит, он в мичмана еще не вышел. Этот за убийство и грабеж. Он всех нас, кто по 58-й, ненавидит. Вот он - стукач, наседка и гад… Его остерегайся… Хлеборезка Клавдия, она с Москвы, артистка, у нее 10-й пункт за анекдоты. Баба интересная и самостоятельная, живет с комендантом. Она тоже ходит к оперу. Она интеллигентка, хитрая. Ты стерегись ее, ты тоже москвич. Начнете туда-сюда… Если она сама не стукнет, так ее муж - он ревнивый. Что стукнут? А что схочет. Он такого придумает, что тебе и не снилось. Он комендант из зэка, старый лагерник еще с довойны; семь восьмых… Не знаешь, что это такое? Эх ты, олень-олень, тебе еще учиться надо. Семь восьмых - значит указ от 7 августа, хищение государственной собственности. Вышка или червонец - меньше не положено, а он был начальник всех вагонов-ресторанов, не помню, на какой дороге. Туда-сюда насобирал миллион; дачи свои имел и в Крыму и в Сочах; свой вагон, своя машина, три жены в разных городах… Это, брат, мужик такой, что мы с тобой только в кино видали. Его стерегись… его сам кум уважает, потому его знает начальник всего оперчекистского управления лагеря… Понимаешь, какие пироги… Ну есть еще кой-кто и в бухгалтерии, и с дневальных, потом художник Алексей из Ленинграда, хлебные карточки рисовал. Вышку имел, так он очень сильно испуганный. Он в блокаде еще опух. На следствии ему приложили. Потом три месяца в смертной камере сидел. Каждую ночь ждал… Ну он тогда напугался так, на всю жизнь, и теперь что ему кум скажет, то и подпишет. Он так не вредный, но с перепугу себя самого заложит.

Вот видишь, я тебе все объяснил… Как фронтовик фронтовику… Ты меня держись, не проиграешь. Бери, закуривай, это табачак классный, тут один баптист-западник продает, рубль стакан. Они, баптисты, сами не курят, а табак им шлют посылками специально на продажу… Вот, скажи, где буржуазные души…

Схочешь вне очереди побаниться, приходи, я тебе и белье подберу первого срока, и мыло дам с походом, как фронтовик фронтовику. У меня и газетка есть, из КВЧ беру, я ж не в бараке живу, а в кабинке при бане. Заходи, чифирком угощу.

Он говорит, говорит, почти беспрерывно. Спрашивая, нетерпеливо слушает, спешит перебить и опять говорит сам… Глаза маленькие, серенькие, остренькие, смотрят пристально, пытливо и просяще, все время ловят встречный взгляд…

Зачем ему такая откровенность? Что это, особый хитрый прием? Грубоватая провокация?

А может быть, ему просто хочется хоть кому-нибудь

открыться, может быть, ему приятно помогать, покровительствовать без недоброго расчета? Либо думает: все-таки майор, москвич, пока не осужденный, вдруг выпустят - и там, на воле будет влиятельный приятель?

И с явным удовольствием повторяет: «Как фронтовик фронтовику».

Розовый, круглолицый, лысеющий с висков; тонкие усики над пухлым ртом; опрятный бушлат на вате, перешитый из шинели, стеганые бахилы в сверкающих калошах… Приветлив, но держится самоуверенно. Говор певучий, южный… Поблескивают золотые зубы.

- Или я не вижу, с кем говору? Рыбак рыбака видит здалека. Вы москвич? Но простите, на личность или кавказский, или с наших… Ах, фун киевер йидн… У меня двоюродная сестра замужем в Киеве… У нее муж бухгалтер в большом тресте…

Я тоже был на фронте. Третий украинский при штабе стрелкового корпуса… Может, слышали, генерал-лейтенант Сиволапов, геройский генерал, чтоб я столько лет жил, сколько у него орденов и медалей… Работал, конечно, по специальности. Я мастер высшего класса. До войны в отеле «Интурист» работал, так верите, жил так, чтоб мои дети и внуки так жили, как я жил. Своя дачка, может, слышали, на Большом Фонтане, на двенадцатом. Жена имела и манто, и шляпки, и жили, как говорится, так, что икра пусть будет черной, но чтоб хлеб, таки-да белый.

Вы Одессу знаете? Когда были? В 34-м… Ой, так вы ее не узнаете… Красавица была и еще красивее стала… Правда, конечно, разрушили немцы и эти мамалыжники… Но Одесса, это же город на весь мир… Как говорится, Одесса - мама, а Бухарест - помойная яма…

Чего я здесь? Ой, лучше вам не спрашивать, а мне не споминать. Как говорится, знал бы где упасть, так постелил бы мягкое, а я говорю, так и не падал бы совсем… Ну были в Румынии. Там же такая спекуляция - кошмар, там все эти бояры и домны и домнишары, чтоб они посдыхали, все продают, все покупают, хуже, чем при нэпе… У моего генерала адъютант, капитан Алеша, красивый такой из себя, блондин, с Куйбышева, или с Кирова, или с Молотова, не помню, с какого вождя, он завел себе одну домнишару, боярскую бабу, потом другую, третью, и ему, конечно, нужно что-то иметь и в кармане, и на столе, и не знаю, где еще. А мне он говорит: нужно сделать для генерала. «Ты ж, одессит, Мишка!» Это, может, слышали, песня такая, а зовут меня вообще Сема - Семен Израилевич. Ну, сходи до тех румын… Имеем трофеи, берем леи. Я и ходил. Чтоб я так жил, если я имел от этого что-нибудь, кроме цоресов… Но Алеша говорит: нужно

для генерала, и за это тебя демобилизуем досрочно. И я ходил от него до румынов, от румынов до него… И таки взял меня комендантский патруль у румын, в ихнем шалмане. Взял, но я был чистый, как стеклышко, при мне, как говорится, ничего трефного, только трое часиков… И румыны все, дай Бог им здоровья, говорят: мы его не знаем, видим в первый раз, чего хотел, не понимаем, думаем, хотел что-то купить… А я говорю: хотел купить себе часы… Почему трое часиков? Очень просто: для себя, для жены и для друга. Спросите, говорю, у капитана Алеши, он же знает, кто я такой. Они делают обыск у меня на квартире и находят нажитого, как у всех. Может, раньше немножко больше было, так я, слава Богу, случайно уже отослал домой… Но Алеша этот, чтоб он сдох, как собака, пришел до меня в КПЗ, говорит: «Сема, держись, и ничего тебе не будет, генерал за тебя знает, он, как отец, и благодарность имеет за твою работу, а ты имеешь заслуги, ты же раненый - это меня на Буге еще угодило с миномета - и награжденный, так что ни о чем не беспокойся и не путай никого, и тебе ничего не будет».

Что же вы думаете, я верю этому босяку за его голубые глазки - насрать бы в эти глазки - и держусь за свои часики… Мне приводят на очную ставку одну румынскую сволочь, которая колется и говорит, что я продавал ему трофейную кожу и имел с него золото, а я смотрю на него обратно же голубыми глазами и говорю: никогда не видел, ничего не знаю, врет румынский фашист. Следователь мне потом прямо нахально передает привет от капитана, и я держусь, и в трибунал меня не тянут… Но вдруг - здрасьте, я ваша тетя! - новый следователь в очках, мотает новое дело - сношение с иностранцами, подозрение в измене родине. Я, как говорится, горю синим огнем, не сплю, теряю за неделю, наверно, десять кил. От моего Алеши, чтоб он сдох, ни слова, ни полслова, Потом опять же вдруг - заканчивают следствие и уже говорят: за самовольную отлучку и сношение с иностранцами без измены родине. Никакого трибунала. Пускают по ОСО, везут сюда в лагерь и здесь я расписываюсь - получите срок и можете говорить спасибо: пять лет без статьи, а только буквы: СОЭ - социально опасный элемент. Кто опасный? Кто элемент? Я же при советской власти вырос, я от нее только жизнь имел и какую жизнь, чтоб мои дети и внуки такую имели! Я кровь проливал и я социально опасный.

Ну здесь, в лагере, я живу приличнее других. Имею специальность и голову имею. Брою все начальство и стригу так, как их в Москве не постригут, и женам ихним перманент и холодную завивку, и все это, имейте в виду, за спасибо, хорошо, если кто закурить даст…

Но я, между прочим, от них не нуждаюсь, умею жить, как говорится, организм просит свое… Я же должен каждый этап встречать, всех стричь, мужикам еще и головы и бороды, а бабам только под мышками и на передке. Так я их вижу, как говорится, в полной натуре, и ведь я же не голодный, не доходяга, организм, как говорится, в порядке, на все сто… Ну я и пригляжу себе ту, другую… Не нахальничаю, не обещаю сорок бочек, но что говорю, то даю. На тебе, цыпочка, хлеба, кашки от пуза, если куришь - табачку, одеколончиком брызгайся, пудру имею, конфетки есть… Кушай, сколько хочешь, и с собой дам, я не скупой, особенно, если красивенькая. И мне удовольствие, и ей не вредно… Я мужчина чистый, вежливый, аккуратный. У меня знаете какие бывали? Жена Тухачевского! Правда, чтоб не врать, у нас тут в лагере есть аж четыре жены Тухачевского. Кто знает, которая настоящая? Но та, что у мине была, дамочка экстра-класс. И секретарша Косарева была, царь-баба, и такая партейная! Была даже одна настоящая графиня с Польши…

Так что пусть говорят: транзитник-транзитчик. Я не обижаюсь. Мне ихняя самостоятельность до лампочки… У них тот называется самостоятельный, кто имеет одну постоянную лагерную жену. Ну и что? Все время трусись, кто стукнет или надзор сам закнацает, и заметут в кандей - в трюм[5], значит, - а потом на другой лагпункт. Опять, значит, разлука, опять мучайся… А пока не замели, так она с тебя все жилы тянет, а ты на нее вкалывай; или с другим крутит, а ты хоть подохни с ревности, но сказать не можешь - опять погоришь. Нет, уже лучше транзитом. И организму сладко, и душе легко… Как говорится, сегодня здесь, а завтра там, не скучай ни ты, ни я…

И почти не меняя интонации.

- Ой, у вас тут книжки… Сразу видно культурность. Я тоже любитель читать, обожаю нашу советскую литературу - Горький, Куприн, Эренбург. Это же, как говорится, классика… И газеты вы з дому получаете?… Ну что вы скажете за этого Черчиля? Читали, какую речу загнул? Ой, не говорите, что это старый враг. Он же был наш союзник, кореш и все-таки, как говорится, он имеет копф на голове… Так вы думаете, что нам не надо бояться? Такие вы уверенные?… Говорите прямо так, как в газете пишут, сразу видно культурность…

И опять так же без перемены интонации.

- А вы молоко где покупаете? В хлеборезке? А что скажете за разные цены? Вы по какой, по первой цене берете или по второй?

Это был вопрос не менее важный, чем о Черчилле. Лагерная хлеборезка служила по совместительству и торговой точкой. Заключенные могли купить молоко, картошку, морковь, табак,

которые сдавали на комиссию колхозники или семейные охранники, имевшие свои хозяйства. Жена местного «кума» имела корову и тоже продавала молоко заключенным через хлеборезку. Но всегда по более высокой цене: по 10 рублей литр, когда у других было по 8, и по 12, когда у других по 10. Установился такой порядок: пока не продано ее молоко, не продают более дешевого. Хлеборез ходил к более «богатым» заключенным и просил выручить. Нас было несколько таких лагерных «богачей», получавших деньги от родных, и мы по очереди выручали…

Семен глядел неотвратимо ласково.

- Ну вам хорошо, что вы имеете эти два рубля и можете покупать по первой цене, а что другие люди говорят?

Коротко и непечатно характеризую отношение к лагерной трепне.

- Ой, вы, как говорится, еще имеете гордость… Чтоб вы были так здоровы. Может, дадите почитать хорошую книжечку за любовь или за геройство? А это московские папиросы? Спасибочки… И от конфетки не откажусь. Правильно живете, сразу видно, есть копф на голове.

Он заходил в корпус, где я работал медбратом; любопытствовал, нельзя ли разжиться спиртиком, ампулой морфия, кофеинчиком… Ни спирта, ни лекарств я ему не давал, глядя изумленно: разве можно такое без рецепта, у меня и ключа от аптеки нет, но каждый раз угощал папиросами, конфетами и на все вопросы о Черчилле, об атомной бомбе, о плохой жизни в колхозах отвечал цитатами из газет.

Он слушал, хитро щурился, улыбался еще слаже.

- Ой, у вас-таки, как говорится, есть копф на голове. Что значит культура.

Один раз пришел таинственный.

- Имею говорить - между нами. Как узнал вас с наилучшей стороны. Я, знаете ли, брою все начальство и опера тоже брою. Он, конечно, фонька, но не вредный, простой, справедливый для хорошего человека… Я ему как-то говорил за вас, какой вы культурный и политически подкованный… Так вот он просит - но это между нами, сами понимаете, - чтобы вы написали для него доклад за международное положение на сегодняшний день. Вот бумага… Тетрадочка, чтоб как раз на тетрадочку и чтоб разборчивым почерком. Ну, такой доклад, знаете, для партейной школы. И еще к нему вопросики, штук десять, чтоб, значит, школяры знали, чего надо спрашивать; ну, еще ответы, конечно… Все вместе на тетрадочку и разборчиво.

Доклад я написал. Семен неделю спустя так же таинственно говорил:

- Они довольны; даже сказали «очень хорошо». И вот что я для вас имею: я случайно узнал - обратно же строго между нами, - кто-то стукнул. - Знаете, тут всякие люди есть… что вы с этой санитаркой-немочкой, как говорится, имеете интимность. Так вот, я как друг имею сообщить: сегодня ночью будьте бдительные, я чисто случайно узнал. Надзор и начальник по режиму будут делать экстрапроверку по корпусам… Я надеюсь, что вы, как культурный человек, никому, что это я вам за такое сказал.

Потом он еще раза два заказывал мне доклады о международном положении и несколько раз предупреждал о ночных проверках.

Моя подруга Эдит, отбывшая уже к тому времени восемь лет из десяти - она была женой секретаря райкома немецкого района на Одесщине, - говорила: «Этот Семен-транзит-чик из хитрых стукачей… Он стучит не на всех подряд, а думает, выбирает. Он хочет и вашим, и нашим. Ты с ним не ссорься, но и не пускай в корешки. Путь будет kein Feind, kein Freund, а просто Bekannter. [6]Нам нужно, чтоб он был за нас, а не против».

Так мы и поступали.

Глава двадцать девятая
В «БОЛЬНИЧКЕ»…

Лагерная больница. Корпус «уха-горла-носа и глазной» - длинный бревенчатый барак на высокой подклети. Широкий желто-серый коридор, по обе стороны белыми полосами застекленные двери и мутно-белесые прямоугольные пятна с черными квадратами внизу - печи.

В большой двухоконной палате «Ухо-горло-носовая мужская» 14 коек, между ними тумбочки. Я лежу справа вторым от стены. Рядом со мной у теплой коридорной стенки старик Ян. Он сидит на постели, поджав ноги, шьет. Изредка поглядывает светло-голубыми ясными глазами, по-детски, по-щенячьи чистыми и добрыми: не нужен ли кому? Он почти совсем не слышит.

Густые волосы, соль с перцем, не стрижены. Ему это можно - старый лагерник, с тридцать седьмого года; к тому же инвалид, законный житель больницы и отличный портной, обшивает все начальство. Он - чех. Еще в ту войну был военнопленным в Житомире. Женился и остался там. Осужден на 10 лет: «шпионаж». Барабанные перепонки повредили ему на следствии. Потом не раз простуживался на лесоповале. Оба уха аккуратно заткнуты ватой. Он умеет читать по губам.

- Только ты по малоу говорь, по малоу, не спешно, я буду розуметь.

С другой стороны Сережа Романов - гнойное воспаление среднего уха. Он москвич, сын рабочего, из школы ушел на фронт, был рядовым в разведроте. Летом 42-го года двое солдат постарше показали ему немецкую листовку с пропуском, может пойдем? Что ни будет, все лучше, чем подохнуть, все равно каюк, накрылась наша армия… Он не согласился, но ответил не сразу, думал. Он знал, что армия частью в окружении, частью панически отступает. Те двое тоже не ушли. Но говорили не только с ним. Узнали об этих разговорах в особом отделе. Арестовали Сережу уже в конце войны и дали ему 10 лет по статье 58 п. 1б - «военная измена родине», но через 17-ю, то есть «неосуществленное намерение».

Он и в лагере оставался еще совсем мальчишкой, лупоглазый, неровно стриженная, шишковатая голова. Мы с ним «вместе кушали» - основа арестантской дружбы.

Когда темнело - в палате не было лампочек, а в коридорах светились еле-еле, и оттуда гоняли санитары, чтоб не лазали в женские палаты, не забирались в дежурку и на кухню, - я «тискал

романы». Наибольший спрос был обычно на «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», Шерлок Холмса, либо на рассказы «из жизни», особенно из жизни воров и легавых. Сережа был главным заказчиком и самым благодарным слушателем. Он называл себя моим адъютантом, повиновался беспрекословно, был трогательно заботлив. Днем следил, чтобы мне не мешали читать и писать. Когда у нас с санитаркой Эдит начался роман, он не раз стоял «на зексе», но никогда ни о чем не спрашивал, никаких подмигивающих шуточек…

Мои рассуждения на общие философские, политические и моральные темы он выслушивал вежливо, даже задавал вопросы. При этом был похож на школьника, который не хочет обидеть или огорчить учителя и добросовестно старается изображать заинтересованность, подавляя зевоту и недоверие: треплет, мол, то, что положено, но правда ли это - неизвестно, да и, пожалуй, не важно.

Были в палате еще несколько сравнительно постоянных жильцов, составлявших нашу бражку.

Старик «иногородний» с Кубани, которого все звали Пасечник, желтоусый, желтоплешивый, говорливый добряк, крестьянин и мастер на все руки.

- Я и слесарил, и столярил, и печи клал, и на молотарках машинистом работал, и в кузнях, и на мельнице, и где хочешь… Но самое любимое мое дело - пчела… Ох, какой же вона разумный, хороший, солодкий зверь, тая пчела…

Он часами рассказывал о пчелах, об их нравах, повадках, поразительном уме. Когда я его расспрашивал, он недоверчиво улыбался…

- Ой, не поверю, чтоб такой образованный человек не знал этого… Про пчел хорошие книжки писаны и журналы есть…

Пасечник мыкался по лагерям уже давно, «ще с довойны», и явно не хотел вспоминать, как его «оформили». На именных поверках на вопрос: «Статья? срок?» отвечал: «Каэрде[7], десять».

Пан Леон был скорняком из Западной Белоруссии. Говорить он мог только о том, как и кто богател у них «ув мястечку», какие строили там дома, что росло в садах у его соседей и как хорошо готовит его жена судака по-киевски и «щуку - пардон, но так у нас называют - по-жидовски». Он любил повторять «мы, як интеллигенции люди», охотно слушал романы и был в палате единственным, кто спрашивал меня, что пишут в газетах, но при этом сам помалкивал. Он так же, как и я, был еще не осужден и числился за ОСО.

Вася, круглолицый, круглоглазый хлопец из деревни на Киевщине, в первые дни разругался со мной. Мы даже чуть не

подрались из-за какой-то чепухи, то ли из-за места у печки, то ли из-за внеочередного открывания форточки. Тогда он показался жестоко озлобленным, угрюмым, скалился по-волчьи. Потом ему сделали операцию (гайморит): он очень мучился, не мог поднять голову, тихонько хныкал, как ребенок Мы со старым портным были уже ходячие: мы сменяли ему пузырь со льдом, помогали ходить в уборную; я выпросил у дежурной сестры пирамидон. После этого он подружился с нами без слов, без объяснений, но явственно и надежно. Вечерами в темноте мы с ним и с Пасечником иногда тихо пели: «Стоит гора высокая», «Хмеля», «Ой на гори!»… Петь можно было только тихо, чтобы не услышал надзор, и только в те вечера, когда дежурная сестра и дежурный санитар были «свои» и не слишком боялись надзора.

Вася рассказал мне свою тайну: имя и фамилия у него были не настоящие, придуманные. В плену он назвался Василий Гончаренко.

- А на правде зовут меня совсем не так. Отец - голова колгоспу[8], мать в сельраде[9]. Братья и сестры партейные. Сам был комсомольцем, сам все знаю.

В плену он жестоко голодал, потом работал в мастерских, стал «хиви», служил в обозе, после освобождения попал в фильтрационный лагерь, а оттуда в тюрьму.

- Колы буду живой и выйду на волю, може, и пиду до дому, а може, и нет…

Рассуждал он просто: родители давно считают его погибшим и горе уже отгоревали; братья и сестры имеют своих детей и, наверное, вовсе о нем забыли. Если отец и мать узнали бы, что он жив, конечно, обрадовались бы, но ненадолго. Потому что ведь осужден как изменник родины. А числиться родителями изменника - это значит набраться столько лиха, что любая радость обернется еще худшим горем.

Двое баптистов из-под Ровно. Пожилой дядя Нечипор был уже совсем здоров и работал истопником. Молоденький Иосип, самый тихий в нашей палате, худой, бледный, часами лежал, уставившись в потолок. У него гнойное воспаление среднего уха. После операции он поправлялся медленно и терпеливо, лишь изредка поскуливал. Сестры хвалили его за безропотность во время перевязок. Всем, кто с ним заговаривал, он улыбался ласково, растерянно и глуповато. На вопросы отвечал коротко: так… не… не вим… так Господь хоче… За все благодарил: спаси вас Бог.

Нечипор, вежливый, разговорчивый, общительный, любил рассказывать о чудесах веры: как молитва исцелила смертельно больного, вернула бежавшего мужа, как евангельское слово

превратило вора и хулигана в добропорядочного хозяина. По вечерам Нечипор иногда сидел на койке Иосипа либо уводил его в коридор, чтобы не слушать наших «светских» разговоров и песен. Иногда они вдвоем пели тихо, но с явственной гундосой интонацией фисгармонии:

Всэ для пиршества готово,
И Христос тебя зовет,
Шо же ты не сытишь зова,
Шо же дух твой робкий ждет.

Каждые две недели я получал посылки и, разумеется, угощал корешей и соседей по палате. Сережа тоже получал посылки и тоже делился. Перепадало от нас и Нечипору, и особенно Иосипу, который был так истощен, что едва ходил.

Но вот и Нечипор получил большой мешок. В нем сухари, крупы, самодельные сыры, сало и табак-самосад (на продажу, сам он, разумеется, не курил). Он тоже устроил угощение. На кухне корпуса - это была, собственно, не кухня, а раздаточная, но там на плите подогревали пищу, доставляемую из основной кухни - он сварил кулеш, заправил салом, разлил по мискам и сам разнес. В нашу палату он принес четыре миски: Яну-портному, пану Леону, Сереже и мне.

Мы ели не шибко жирное варево, и я заметил, что у Иосипа миски нет. Он глядел на нас печально, кротко смущенный тем, что не в силах отвести голодный взгляд. Мы с Сережей поделились с ним и пошли на кухню, где Нечипор угощал санитарок.

- Дядьку Нечипор, спасибо за кулеш. Только, что это вы Иосипа забыли? Вы ж его братом зовете. И он голоднее нас.

В светло-серых, прозрачных глазах ни искры смущенния. На миг мелькнула сердитая тень. Но говорил, как всегда, приветливо и убежденно.

- Вы меня угощали и я вас угощу. Як сказано - дайте и вам дастся, воздайте добром за добро… Брата Иосипа я люблю душевно, як брата, як сына… но я всех людей люблю, а на всех у меня угощения не хватит.

- Так ведь Иосип же голодный, ему нужнее, чем всем. Мы посылки получаем, а он на одной пайке. Он же тонкий, звонкий и прозрачный.

- То його крестная мука. Испытание! Кого Господь любит, того и испытуе. Он смиренно терпить, и это його заслуга перед Господом…

Нечипор смотрел все так же светло и говорил все также

спокойно, убежденно, ласково. Только в легком дрожании голоса слышится подавленное раздражение.

Сережка не выдержал. Покраснел и яростно заорал:

- Ууу, кулак, святая барыга… - и с особым смаком пустил в Христа Господа Бога вашу мать.

Нечипор молча отвернулся и ушел.

С тех пор он держался от нас подальше, избегал смотреть. Если же случалось встретиться в начале дня, здоровался тихим, печальным голосом. Он прощал врагов.

Больные в нашем корпусе, как и в других, делились на лежачих, ходячих и работяг.

У лежачих и ходячих были только белье и лапти. Работяги щеголяли в штанах, в бушлатах, в бахилах, сапогах ЧТЗ[10].

Белье у мужчин и женщин было одинаковое - желто-серые сорочки и кальсоны с тесемками. Жирные черные прямоугольные штампы «ГУЛАГ МВД СССР УНЖЛАГ больница №3» мелькали в самых неожиданных местах. Некоторые из женщин и стыдливых мужчин окутывали бедра одеялом или простыней. Женщины подворачивали кальсоны до колен, иные ухитрялись носить свои простынные юбки с известным шиком.

«Ношение простынь, хождение и стояние в коридоре» было, разумеется, запрещено. Но запрет соблюдали только днем, когда в корпусе работали врачи, постоянно заходили охранники и вольные пациенты. После вечерней поверки все, кто мог двигаться, сбивались к печкам.

Зима 46-го года была долгой и лютой. В палатах на длинных окнах густо побеленные рамы изнутри поросли многослойными белесыми наростами льда, инея. Морозная ледяная стылость сползала с подоконников, вовсю дышала из жестоко больших, беспощадно белых окон, сочилась из щелей в полу. Жиденькие, байковые, почти дерюжные одеяла не грели. Так же, как тощие матрасы, набитые слежавшимися стружками.

Наш рай - у горячей известки печных спин и боков; душное тепло прело в углу, где сбивались кучей на сдвинутых койках полтора-два десятка завернутых в одеяла тощих тел, кряхтящих, стонущих, кашляющих, чадящих самосадом. Даже сквозь самый густой и едкий табачный дым пробивались запахи йодоформа, гнойных бинтов, ихтиола и то терпкое зловоние, которое издает арестантское белье, множество раз прожаренное в вошебойках, но стиранное редко, всегда наспех и хранящее во всех швах устойчивую память о кислом, грязном поте и многих поколениях гнид.

То и дело взрывались короткие перебранки:

- Подбери мослы, падло, твой рот долбать…

- Тебе одному холодно, сука…

- А ну, отскочь на полхрена, поносник, дай хоть пяткой тепло пощупать.

Работяг в нашей палате сперва было только четверо: Ян-портной, дядя Нечипор, Гришка-малолетка и Степа-санитар.

Гришка, мальчик из Черновиц, работал на кухне. Говорили, что бендеровец. Сам он на все вопросы отвечал: «То не знаю».

На именных поверках называл только фамилию и срок: «Осимь лет».

- Стаття? Статтю забув… В Черновцах судылы. Там богато статей. Судья знав, а я забув…

Надзиратели даже не злились на него. «Вот идиет…» Им приятно было сознавать свое очевидное духовное превосходство.

- Запомни, дура, у тебя 54-я, эта на Украине значит 58, пункты два, шесть, восемь, одиннадцать. Вот, всю контрреволюцию собрал, и шпион и террорист.

Смеялись и надзиратели, и заключенные. Гришка равнодушно смотрел в пол.

- Запомнишь?

- Ага.

Однако на следующей именной поверке, такие бывали обычно не чаще раза в месяц, все опять повторялось.

Гришка жил, чтобы есть. Он думал и говорил только о еде. Голод выглодал у него все мысли и чувства, какие были раньше. Он спал мало. Уходил еще до утренней поверки и приходил после отбоя. На кухне работал непрерывно, почти исступленно. Чистил и мыл посуду, мыл полы, таскал дрова, помои, воду, топил. И все время жевал. Жевал все, что давали, и все, что мог урвать - и сырое, и гнилое, и просто очистки.

Повара и те из кухонных работяг, которые уже подкормились, считались лагерными буржуями; иные завели себе жен и запасались вантажами, то есть одеждой, вещами: их выменивали у новоприбывающих доходяг за кусок хлеба, хвост селедки и котелок прокисшей каши. Для поваров ненасытный Гришка служил иногда цирковым аттракционом.

- Ну как, хохля, съешь полведра каши?

- Зьйим.

Повара заключали пари с банщиком, с санитаром или даже с надзирателями, которые «свойские». Гришке ставили полведра жидкой чечевичной каши. Он ел. Сопел, потел, но съедал все. И уходил сонный, блаженно и зловонно отрыгивая.

- А я и ще можу.

При этом он оставался таким же щуплым, синевато-бледным, тонкоруким и тонконогим, только живот к вечеру был вздутый,

тугой.

Степа-санитар был так же, как Ян, Нечипор и Гришка работягой на больничном. К концу зимы стали работать пан Леон, Вася и я. Пан Леон числился в ремонтной бригаде бригадиром, но главным образом скорняжил для начальства, обрабатывал шкурки зайцев, белок и лис. Вася и я сначала работали по уборке двора, на заготовке дров («малый лесоповал»), потом Вася перешел в хозяйственную бригаду, а я в лаптеплетную мастерскую. По вечерам я зубрил учебники для медсестер и к лету стал медбратом.

Нас лечили врачи-заключенные.

Нашим корпусом заведовал ларинголог дядя Боря - Борис Вениаминович Либензон. Он и главный хирург больницы Николай Папеевич Тельянц были старожилами, с 1939 года в этом лагере.

Николая Папеевича, бывшего таджикского уполнаркомздрава, осудили вместе со всем правительством республики. Он был армянином из Горного Карабаха, очень гордился своим древним, храбрым и мудрым народом, хорошо знал историю Армении. Он никогда не рассказывал «о деле», но зато любил поговорить о философии, истории, литературе и писал короткие живые рассказы о любопытных случаях из своей практики. Оба они были отличными врачами.

Начальник больницы - молодая женщина-хирург, закончила институт перед войной. Она побывала на фронте, стала капитаном медслужбы. В лагере, в мундире МВД, она еще сохранила кое-что от решительности и независимости врача-фронтовика, так же держалась и ее заместительница, тоже пришедшая из армии. С врачами-заключенными они обращались, как с коллегами. Папеевича даже побаивались. Он был требователен и вспыльчив, а в гневе резок, несдержан.

Самыми близкими моими приятелями стали глазник Мария Ивановна и ее лагерный муж Вова, хирург по военному опыту и гинеколог по основной специальности.

Мария Ивановна, белоруска, осужденная «за оккупацию», работала при немцах в Борисовской городской больнице. Говорливая, суетливая, вздорная, но добродушная, она по вечерам с Вовой приходила в нашу палату слушать, как я «тискаю».

Вова, молодой, но уже лысеющий, лобастый, щекастый, в больших роговых очках, выглядел интеллигентом, умницей, казался сильным и мужественным. В действительности же был чистосердечно глупым, откровенно трусливым и наивно-хамоватым обжорой и бабником, но при всем этом добряком,

заботливым, услужливым товарищем и очень хорошим хирургом.

Папеич считал его лучшим помощником: «У него руки умные и смелые, а голова пустая и трусливая. Поэтому он послушен, подчиняется быстро, беспрекословно и действует умно, решительно».

Кто бы ни дежурил, Мария Ивановна или Вова, они все равно приходили вдвоем. После отбоя они запирались в темной дежурке. В это время я обычно сидел на кухне, там не гас свет и можно было курить, читать или судачить с ночной сестрой и санитаркой. Там и началась наша дружба с Эдит.

Из окна кухни были видны крыльцо корпуса и «главная улица» больницы. Дверь в корпус на ночь запиралась изнутри. Можно было вовремя заметить неожиданный обход надзирателей или самоохраны, и тогда они заставали в освещенной дежурке Сережу или меня, получающими первую помощь от Марии Ивановны, а Вова успевал скрыться в операционной, которая запиралась снаружи и куда никого, даже самого кума не полагалось впускать без заведующего корпусом. Но такие переполохи бывали редко, а чаще всего, недолго повозившись в дежурке (Вова поучительно говорил: «Лучше десять раз по разу, чем за раз десять раз…»), они приходили в кухню, и мы все азартно играли в подкидного или я гадал…

Каждый раз я честно предупреждал, что гадание - вздор и я сам в него не верю. Но оба доктора относились к этому иначе. Мария Ивановна вспоминала множество случаев, когда «ну точно в самую точечку было предсказано… Вы не говорите, я тоже верю в науку, я сдавала ваш истмат-диамат, всегда пятерки имела… Но есть такое, где наука бессильна. Вы не говорите, вот у нас был профессор, терапевт… Знал все языки… Учился в Варшаве. Так даже он верил…» Вова был менее красноречив:

- Ну ты не веришь и не верь себе. Это даже хорошо - врать не будешь. Ты просто говори, что карта показывает… Клади и говори… Ну что тебе, жалко? Разбрось, будь друг…

Он внимательно слушал, а я беззастенчиво темнил, вычитывая из карт самые утешительные предсказания и нагло отражал сомнения и критические замечания.

- Ну что ж, что дама пик… Ты что не видишь, она же внизу под вальтом червей… Значит, злой интерес под ногами… А вот имеем приятное письмо с казенным интересом и бубновая дорога…

Вова следил за мной насупленно, сосредоточенно:

- Пиковая дама - это начальница. Лезет она ко мне… А письмо это… может, надо опять прошение писать на помилование…

Вова был осужден на 10 лет за измену, в плену он работал врачом в лагере.

Врачи предупредили меня, а я своих корешей, что Степа-санитар - стукач и его держит на больничном кум.

Степа был тоже из пленничков, родом не то курский, не то белгородский, говорил с мягкой украинской певучестью, но называл себя «руським» и на Иосипа и Гришку иногда покрикивал: «Эй, ты, хохля!».

Молчаливый, сосредоточенно-задумчивый, он подходил, подсаживался к группе беседующих, слушал, глядел медленными, темными и всегда не то удивленными, не то обиженными глазами. Если обращались к нему, торопливо ухмылялся, торопливо отвечал.

Но примечать это мы стали только после того как узнали, что он стукач. После этого пан Леон каждый раз говорил высокомерно и нарочито громко: «Шо это вы опять стоите коло нас, Степан? У вас есть дело?… До кого, прошу? До меня или до майора, или до Сергея?… То вы скажите. Не женуйтесь, як паненка. А то стоите мовчки, а у нас свой разговор, мы люди интеллигенции, имеем свои интересы, у вас свои…

Степан неловко ухмылялся…

- Та я шо, а я ничево, просто так, - он краснел, потел, но не очень смущался. - Шо, и стоять не можно? Тоже прокурор… Интели-хенцкий! Шо я, пол простою…

Сережа и я избегали столкновений. Сережа слушался меня, а я не раз твердо обещал врачам не заводиться, не влезать в ссоры и вообще не высовываться.

Самым несдержанным из нас был Вася. Один раз он «нечаянно» толкнул Степана твердым локтем под дых так, что тот согнулся пополам и долго икал и давился воздухом. Другой раз, увидев его в дверях, вдруг пустился бежать в уборную и сшиб его с ног.

- Пусти, падло безглазое… Не видишь, человек спешит…

Несколько раз в его присутствии Вася начинал говорить о том, как именно надо «снистожать гадов-наседок, иуд-стукачей». Яростно сверкая глазами, распаляясь, он подробно рассказывал о том, как «одного наседку хлопци в бараке взяли за руки, за ноги, подняли до горы и посадили задом на пол… просто посадили… раз… другой… Потом на нем и не увидеть ничего, а через день вже ссав кровью… почки отбили, а еще через неделю, пожалуйте, готовенький, бирку на ногу и за вахту…»

Мы следили за Степаном. Он слушал, невозмутимо глядя в пол. Только на носу капля. Плоский, задернутый, утиный нос был самой примечательной частью его лица, сдавленного низким

лбом и куцым подбородком.

Васю и Леона я уговаривал не привязываться к нему. Знаем - и хорошо. Будем остерегаться, держаться подальше. А то его заменят более хитрым - ведь кум обязательно заменит «сгоревшую наседку», и тогда нам же хуже будет. Этот пока еще никого не заложил… пока никому вреда не причинил.

А Степа даже старался задобрить палату. Он был одним из двух-трех корпусных санитаров-мужчин, кроме них были еще четыре женщины, но те обслуживали только лежачих больных и выполняли «чистую» лечебную работу. Зато мужики были «причастны к харчам». Работать Степану приходилось много. Он носил из больничной кухни в корпусную мешки с хлебом, ведра баланды и каши, потом из корпусной кухни и коридора носил миски по палатам, участвовал в ежедневных уборках коридора, операционной, перевязочной, дежурки, кухни и уборной; ходячих больных водил в баню, лежачих носил на рентген, таскал белье и груды бинтов в прачечную и из прачечной, следил за большим кипятильником, помогал истопнику. Выслуживаясь перед палатой, он приносил нам больше еды, воровато оглядываясь, он ставил лишнюю миску на тумбочку Васе, деду Пасечнику или Иосипу, которого все жалели.

- Вот, закосил для своих.

Раздавая кашу, громко шептал: «Для нашай палаты все миски с походом накладенные. Блат выше Совнаркома».

Больше всего он усердствовал при раздаче крови. К ужину дополнительно к обычной овсяной или чечевичной каше давали комья застывшей крови, якобы очень полезные при пеллагре. Многие, даже голодные, отказывались есть, уж очень смердело падалью. Так создавались резервы. Степан, внося в палату поднос, на котором высилась груда темно-бурых комьев, выкрикивал:

- А ну, хто нежный, закуривай, а хто кровопивца, налетай. Для своих расстарався…

Он становился бойче, разговорчивее, чувствуя себя благодетелем. Вася и пан Леон уважали медицину. К тому же пан Леон был скуп, а Вася вовсе не получал посыпок. Поэтому они, в отличие от Сережи и меня, охотно ели кровь и стали снисходительнее к Степану.

Глава тридцатая
ПАСХА

Приближалась весна.

В одном из корпусов истопником работал священник, в прачечной были две монахини, среди поваров нашелся знаток церковной службы. В ночь под воскресенье в рабочем бараке в одной из женских комнат состоялась импровизированная заутреня. Дежурные надзиратели получили щедро «на лапу». Пригласили и несколько ходячих больных, в том числе и нас с Сережей.

Койки сдвинуты к стенам. В углу тумбочка, застланная цветным домашним покрывалом. На ней икона и несколько самодельных свечей. Батюшка с жестяным крестом в облачении, составленном из чистых простынь, кадил душистой смолкой.

… В небольшой комнате полутемно, мерцают тоненькие свечки. Батюшка служит тихим, глуховатым, подрагивающим стариковским голосом. Несколько женщин в белых платочках запевают тоже негромко, но истово светлыми голосами. Хор подхватывает дружно, хотя все стараются, чтоб негромко. Больше всего женских голосов: в некоторых дрожат слезы.

Там, за стеной барака, в десятке шагов- колючая проволка, запретная зона, вышки, часовые в тулупах. Еще дальше - поселок, дома охраны, начальства, там те, кто «кормятся» лагерем, кто хоть как-то благополучен оттого, что здесь, за проволокой, столько злополучных. А вокруг лес, густой, непроглядный вековой лес, и далеко на западе Волга. Бесконвойный хлеборез ходил в деревни покупать молоко и табак, он бывалый московский жулик из торгсети, говорил о крестьянах презрительно, нарочито окая - «горох и кортошка - основная кормежка».

И здесь, вблизи, и там, за Волгой, деревни, деревни, деревни - серые, голодные… Еще дальше Москва, рубиновые звезды на Кремлевских башнях, старый облупленный дом в Замоскворечье, узкая заставленная комната, в которой спят мои дочки. А за Москвой, к западу, развалины, пепелища и могилы, могилы… Года нет, как закончилась война. И мы еще не вернулись с войны - вот мы с Сережей: он рядом, жмется плечом.

Тихо, приглушенно и все же переливчато-радостно поют женщины в белых платочках, мы вторим из темноты… Мы здесь едва знаем или вовсе не знаем друг друга. Иных и не узнать в сумраке. Наверное, не только мы с Сергеем неверующие. Но поем

все согласно.

Христос воскрссе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех
Живот даровав…

После заутрени идем разговляться в комнату сестры-хозяйки тети Дуси… Она одна из устроителей праздника. Она же и нас приглашала.

- Ну и что же, что неверующие… Ты и Сережа, ми-илые, вы же за людей, а кто за людей, тот и за Бога…

Она разбудила нас ночью.

- У твоей Эдит походочка очень чижолая. Не зэка бы так ступать, а царице, она всех наседок сполошит, а я тихо шмыгну, как мышь, и половица не скрипнет. Вы только одежку загодя соберите, оденетесь в коридоре…

Комната тети Дуси была смежная с кухней и служила заодно бельевой. Там был накрыт праздничный стол… Спирт дали врачи, картошку и яйца доставил муж тети Дуси, кладовщик дядя Сеня, я получил в посылке бутылку жидкого витамина: им окрасили разведенный спирт, а заодно и разлили его по темным бутылкам с аптечными наклейками. Были крашеные яйца, печеная картошка, куски жареного мяса - это все местное приобретение, а колбаса, американская тушонка, шпик, печенье и конфеты - из посылок… Тетя Дуся позаботилась даже о куличе, испеченном в кастрюле и украшенном бумажными цветами, и о творожной пасхе.

Она была самой давней лагерницей из всех, кого я встречал до той поры. С 1932 года!

Вблизи от Калуги семья ее мужа владела большой молочной фермой.

- Свекор - голова! Умный мужик, деловой… Он в революцию партейный был, еще с той войны, с германской… Геройский вояка был. Потом в красные купцы подался, в культурное хозяйство. Муж мой, младшай у него, ми-илай, тихий, непьющий, прилежный до всякой работы и книжки любил, такой чтец, та-акой чтец, и по-церковному, и по-мирскому…

Тетя Дуся говорила быстро, певуче, и всегда ласково. Пятнадцатый год мыкалась по лагерям, но «черного слова в рот не брала». Когда спорила или выговаривала кому-нибудь, обычное свое «ми-и-лай» произносила укоризненно, или сердито, или печально, а бранилась так: «е-эх ты, голова садовая» или «ухи есть, а соображеньев нет». И лагерные словечки «срок», «зэка»,

«доходяга», «наседка», «кум», «вертух» звучали у нее по-домашнему…

Невысокая, суховатая; гладкие жидкие волосы под белым платочком; на светлом лице множество мелких морщинок в разные стороны, как трещинки, но молодые глаза, большие, серые, улыбчивые, а рот старческий, впалый, с редкими темными зубами…

- Цинга съела да один следователь… в тридцать седьмом новый лагерный срок мне приделывал, очень строгий был, милай, и на руку скорый, да чижолый.

Тетя Дуся тянула срок одна за всю свою семью. Ее деловой свекор жил где-то под Ленинградом, работал в совхозе или колхозе. - («Он голова мужик, везде при деле».) Муж воевал в саперах, был ранен и награжден, прислал ей посылку из Германии. Но детям давно уже сказали, что мать умерла…

- Двое у меня - сынок и дочка, погодки, ма-ахонькие были, когда спокинула их. Их мои золовки воспитывают, в школу посылают, им жить надо, милай, сиротам лучше невпример, если мать каторжная зэка…

Тетю Дусю арестовали и судили не в Калуге, где семья, а в Москве, куда она ездила продавать масло, творог и простоквашу.

- Мы ишшо при нэпи, это когда красные купцы-то были, имели в Москве своих компаньонов - разных: и хороших и похуже. У одних большая молочная лавка, даже, правильней сказать, магазин был на Мясницкой. К ним-то мы всего больше товар возили… Потом стали им укорот делать: налоги, обложения, а там и высылать. Тут тебе и прижим, и Нарым, а кому и Соловки - белая смерть. И нам в Калуге дышать все труднее.

Но у свекра голова, как у министера… Ферму еще в 28-м году прикрыл… Лавку, что в Калуге на свояченицу - сестру свекровину - держал, продал. Коров разделил по одной: себе, сынам, дочерям и в деревню родне. Сам пошел счетоводом работать. Сынов, зятьев еще раньше пристроил - все рабочие, служащие. Мой кладовщиком был на железной дороге. А маслобойку, творожню в подполе чистом оборудовал. И мы с золовкой товар в Москву возили тем компаньенам. А когда базары закрывали и карточки пошли - и просто так знакомым людям продавали. В Москву ездили только мы с Настей - золовка младшая, Анастасией звать, красивая, тогда она еще в барышнях была, и грамотная, семь классов училась. А я ведь, милай, до двух не превзошла… я ить деревенская, на соломке рожденная; как подросла - гусей пасла и зыбку трясла; братик у меня был малый; как папа с германской войны вернулись, сразу еще и сестра, и еще братик. Мама из себя видная и здоровая, и что год, что два - с новым дитем, упокой

Господи их душеньку чистую. Нас детей восьмеро живые. Я про братьев и сестер не знаю, где кто. До войны еще отписывала одна меньшая… А теперь больше не слыхать… Как постарше я стала, так и лен теребила, и по дому, и по двору убиралась, и птице и свиньям корм. Какая там школа, когда папу опять в солдаты взяли, уже в красные, а тут и за коровой ходить надо, и огород сажать, и в поле пахать, сеять. Я ить у мамы одна только старшая, с десятого года, а за мной - трое-четверо мал-мала, исть, и пить, и пачкать только умеют, прости Господи… Какая уж тут школа. Правда, учителька у нас была такая добрая и такая до всех людей приветливая и заботливая, Анна Васильевна - упокой Господи их чистую душеньку, - грамоте она меня научила: читать и писать, риф-метику, закон Божий… Но только в два класса я походила… Война ить у нас тогда была, красные, белые, зеленые, продразверстка, продналог. Потом папа вернулись из солдатов, раненые, контуженные, хромают, кашляють… Работать им трудно и вроде отвычно, все больше в совете или на ярманке с мужиками беседуют, спорят. Выпивать стали, и казенную, и самогоном не брезговали. Однако детки плодились, прости его Господи, и упокой душу грешную… Помер он: замерз пьяный. В тот год я к первому причастию пошла… А взамуж меня взяли по любви, шашнадцать мне было. Свекор-то сам из нашей деревни урожденный. Сын его у дяди жил. Летом после больницы - он тиф имел брюшной, но Господь спас, значит. Ну так мы и стрелись. Бог нам пути скрестил… Я бедная была, а у мужа семья крепкая, ба-агатыя… Мне поначалу так непривычно, так дивно было. Мы дома все на мешковине спали, покотом на печи, на полатях. С одной миски ели. А на кровати с подушкой только раньше, бывало, папа с мамой когда спали, а потом так, для красоты стояла… А у свекров моих все на простынях спят, каждый на своей кровати, на подушках, едят на тарелках… Что в закромах, что в сундуках - за неделю не перебрать, за день не посчитать… А я ить, ми-илай, беспридданница. В чем ходила, в том и пришла… У меня для воскресенья к обедне только один платочек был в цветах и одна кофточка розова. Бедная я была, но чистая, и духом и плотью: молитвы все знала, я в церкви всегда с первыми голосами вела. И веселая, и прилежная, и плясать, и песни играть, каки хошь, и работать умела без устатку… А работала я знать как: до зари вставала - до полночи хлопотала. На что свекровь характерная была и старшая золовка - вреда, прости меня Господи, злоязычную, но и те говорили: «Дунька хоть и с нищих, да не с ледащих, и свое место знаит, уважительная». А свекор меня отличал - он строгий был, но справедливый, - говорил: у ней, у меня, значит, нет гроша медного, зато руки золотые, а

голова серебряная, а у вас - это про своих доченек-то - сережки золотые, да лбы чугунные и руки рогожные…

Так мы потом в Москву и ездили, я и Настя. Она считала, писала, я туды-сюды, как белка с дуба на сосну. Вот раз ночевали мы на квартере у одного нашего компаньона, а тут пришла милиция, понятые, дворники. Я Насте шепотом успела сказать: «Ты, знай, ты мне никто, в поезде спознакомились, ты в Москву приехала на приданое покупать. Упреди всех, я буду терпеть, сколько души хватит». Она шустрая, да мы и раньше такое условие имели, в облавах бывали. При мне товар и больше денег, и никаких документов, а при ней денег меньше и свои тетрадочки. Как она была учащая в техникуме, на бухгалтера училась, и бумаги при ней всякие, тогда еще паспортов не завели. Ну ее и пустили. А я на следствии, как блажная была, «косила» под дурочку, резину тянула…

Лагерные слова «косила… резину тянула», произносит, хитро улыбаясь, мол, и так умею.

- Плакала, молилась. Меня и в кандей сажали, и в больницу психическую возили обследовать, и селедкой кормили, чтоб опосля пить не давать… Но я про это еще раньше слыхала. Селедку от соблазна в парашу кину и голодаю тихо, думаю: истинно великий пост. А плакала я от чистого сердца, почти и не притворялась. В первый раз ить в тюрьме с воровайками и парститутками этими. И страшно, и стыдно, и такая тоска, ми-илай, слезы сами и льются. В молитве одна только сила и утеха, и прибежище… Плакала и молилась… А следователю одново говорю: «Пустите меня, я невиновная… Откуда - не скажу. Чьи деньги - не скажу… Мне отца-мать жалко, и я божилась никому не говорить. Пустите Христа ради…» И плачу… И плачу…

Месяца два так держалась. А потом очную ставку мне с одним компаньоном сделали. Он, значит, раскололся, бедный, домучили его, прости его Господи. Он и сказал, чья, значит, я и откудова… Но свекор и все уже к той поре с Калуги съехали. Моя мама еще тогда живые были, приезжали в Москву - свекор им деньги на дорогу дали и научили, как и что. Мама мне и передачу передали. Потом присудили мне пять годков за спекуляцию. А в лагере опосля еще десять лет дали за разговоры, за агитацию. Заложила меня одна старушка - матушка, иерея жена, так я ее жалела, так уважала, а она-то и призналась, что я и про колхозы, и про займы, и про всю власть говорила нивесть что… Ну, может, и правду она призналась, но только новый срок мой через нее, иуду, прости, Господи, мое злоязычие… Теперь зато я ученая стала, хитрая, милай, теперь на аршин под землей вижу и людскую душу насквозь понимаю. На Бога надейся, а сам не

зевай. Вот истопник-баптист все Бога поминает. Но я ему и старой портянки не доверю. Ни ему, ни Марусе-монашке, хоть она и православная и начетчица. А вот мой Семен свет Петрович, партейный безбожник, и твой Сережка, и доктор Марья Ивановна тоже, а ты и твоя Эдит - вы раньше совсем другой веры были, но я вас всех понимаю, как душевных людей, вас я вижу насквозь, и хорошее вижу, и за вас Богу молюсь, как за своих.

Семен Петрович - кладовщик дядя Сеня, лагерный муж тети Дуси - старше ее лет на десять, но выглядел моложе. Плотный, краснощекий, темнобровый, на лоб нависали серо-седые густые пряди, глаза бледно-голубые, грустные, освещались иногда тихой улыбкой, из самой глубины. На вопросы он отвечал односложно, о прошлом говорил неохотно и косноязычно спотыкаясь на бесчисленных «так вот», «значит», «тоисть», «ну да», «в таком разрезе», «в общем и целом»…

Потомственный питерский рабочий, он был красногвардейцем, в партию вступил в 18-м году, воевал на гражданской. Потом на партийной работе, все больше в уездах. Был начальником политотдела МТС, к 37-му году стал секретарем райкома в Ленинградской области.

О следствии он и вовсе не хотел говорить.

- Как? Да так… как у всех тогда было, в таком разрезе. Жив остался, значит, хорошо. Осужден без статьи, по буквам: КРТД - контрреволюционная троцкистская деятельность… Однако в оппозициях не участвовал, нет… то исть, споры были… Ну, значит, когда дискуссии были, в таком резрезе… Перед четырнадцатым съездом и, значит, потом. Но в общем и целом, я был на генеральной линии. Значит, имел доверие к ЦК. Но были товарищи, которые против, тоисть в дискуссии. Но так, в общем и целом, хорошие товарищи. Честные перед партией. Имели заслуги… Так вот я к этим товарищам, значит, как к товарищам, в таком разрезе. Надо подумать. Объяснить. Нельзя, чтоб головы рвать. Если, в общем и целом, свой человек, заслуженный большевик, значит, я как думал, так и говорил. Так вот, получил указание… Нет, не взыскание, только указание за либерализм… Но перевели в другую область. На хозяйственную работу. Потом через два года, значит, обратно, на партийную… в политотдел МТС, в таком разрезе. Так вот и пошло по новой… - Улыбается лагерному словечку. - Да, так вот, по новой. А в 37-м вспомнили. И потом я в гражданскую награду имел. Военную. Именные часы. А на них, значит, надпись: нарком Троцкий. Он тогда наркомвоен был. А я так рядовой был, я его и видел, в общем и целом, два-три раза… Но часы эти… Не выбрасывать же. Носить, давно не носил, а, так сказать, память. Лежали в ящике. Там всякие старые

карточки - фотографические, значит, бумаги, письма: Никому те часы не показывал.

Жена только видела. Как-то, правда, после этого… ну, когда Кирова убили, я спросил одного члена бюро обкома… Так сказать, посоветовался, может, сдать куда эти часы. Он сказал - пустяки… Держи их, так сказать, в личном секретном архиве, все-таки история, в общем и целом. Или просто выкинь. Ну потом эти часы в мое дело пошли. Доказательство.

Все это я выудил из дяди Сени по каплям в течение многих недель.

И уже только от тети Дуси я узнал, что жена и дети отреклись от него.

- Он теперь один как перст, один-одинешенек на всей земле. И хоть в Бога не верует, а все за свою коммуну душой держится, но душа у него, милай, такая чистая, такая светлая, истинно христианская; мухи не обидит. Никому злого слова не скажет. А мы с ним об етим и не споримся и вовсе не говорим, ни о Боге, ни о властях. Он ить, бывает, за целый день, может, три слова скажет - «здравствуй», «спасибо» и «до свидания». А там уж я все слова говорю, какие надо. Я его, сироту, жалею и Богу за него молюсь.

На разговенье к тете Дусе пришло несколько человек… Зашел дядя Сеня, улыбнулся: «Будьте все здоровы…». Сережа, доктор Вова и я христосовались с сестрами, санитарками и с Марьей Ивановной - она и Вова забежали сразу после утренней поверки… Других врачей не звали, им тетя Дуся отнесла угощение в кабину; дядя Боря и Папеич жили в одной кабине в отдельном домике для врачебного начальства.

По настоянию тети Дуси решили позвать и угостить Степана.

- Милай, пусть он грешный, темный, наседка… Но ить подумайте, нельзя не позвать… И по душе, и по разуму нельзя. По душе надо, чтобы его грешной душеньке, темной, заблудшей, свет показать. Ить он же человек… Сами же говорите - лучше стал, старается услужить людям. Пусть увидит: и здесь, на каторге, свет Христов светит, жалеют его, как человека привечают… На молитву мы его не звали, там не мы, там другие люди в ответе, батюшка, сестры. Туда только таких звали, за кого накрепко ручаемся. Но тут в моей светелке я хозяйка. У нашего стола мы все одинаки. Пусть он видит: все народы тут, и Эдит, и ты, и верующие и неверующие, а все светлый праздник и все добро… Вот гляди в окно, милай, солнышко-то играет. Вчерась еще как пасмурилось. А вот ить так весело играет, всем людям играет, всем праведным и неправедным… Сколько помню, в светлое воскресенье хоть на часок, хоть на миг оно играет, радуется, что Христос воскрес. Значит нам надо Степана позвать по душе. А что

по разуму, я ить старушка хитрая, милай… Вы подумайте, все сестры, санитарки, другие зэка сюда заходют, от того, от другого винишко дышит. Вы вот в свою палату отнесете гостинцы? Откуда несете? Он же все примечать, милай. Глаза, и ухи, и нос у его на службе. Значит, должен стучать. А так мы его позовем, поднесем, похристосуемся - Иисус велел и врагов любить и жалеть, - он должен будет другое понятие иметь. Не позволит он себе за наше добро злом благодарить…

Тетя Дуся сделала по-своему. Степана позвали, она сама с ним похристосовалась, поднесла рюмку. В нашей палате мы с Сережей роздали всем без исключения одинаковые гостинцы: крашеное яйцо, кусок тушенки, по два печенья и конфеты… Получил и Степан, улыбнулся «спасибо, братки» и, подмигнув, тронул пальцем свой кадык - мол, уже пропустил. Пан Леон произнес короткий спич:

- То есть очень благородный ваш поступок, пан майор, пшепрашам, товарищ майор и товарищ Сергей, и я имею честь сказать от всей нашей маленькой тутешной громады вам обоюдное поздровление и благодарность. Как я есть чловекем не церковным, не религийным… Отец был православный, а матуся униатка, а я вогуле без религий, но как чловек интелигенцки, то имею веру в высши силы и гуманность. И этот день есть таке свенто… Такий праздник не только для христьян, но для всих гуманных люди…

Слушатели были настроены умильно, улыбались и говорили друг другу приветливые, добрые слова. Потом вечером, после поверки, мы снова собрались у тети Дуси уже только своей компанией, пришли Мария Ивановна и Вова, достали спирту и водки - с утра пили понемногу, чтоб незаметно было, - и я очень убедительно доказывал, что между хорошим христианином и хорошим коммунистом не только не должно, но и не может быть вражды.

Во вторник тетя Дуся, заплаканная, сказала нам, что Степан донес. У нее и у дяди Сени была своя контрразведка, они дружили с некоторыми надзирателями, поэтому знали всех стукачей и заранее узнавали почти обо всем, что собиралось делать начальство.

Так они узнали, что Степан донес и кум хотел завести следствие, но доктора вступились, их поддержала начальница больницы. Следствия не будет, только тетю Дусю отправят из больницы. Кум хотел на штрафной. Но есть добрые люди и среди начальства. Отправят на фабричный лагпункт на швейную фабрику… И сама начальница обещала дяде Сене, что через два-три месяца она тетю Дусю возьмет обратно, положит как

больную.

Хорошо, что следствия не будет, а то могли бы узнать и про заутреню, вдруг кто бы не выдержал и раскололся…

Тетя Дуся уехала. Кое-кто из молодых санитарок всплакнул. Старые лагерники привыкли разлучаться.

Сережка хотел убить Степана, измышлял всяческие способы. Васи уже к тому времени в палате не было, его перевели в рабочий барак, и я убедил Сергея, что если он хочет мстить всерьез, то чтобы никому не говорил ничего, ни Леону, ни Васе, чтобы сам сдерживался, не смел задирать. И я поклялся ему грозно, что подлец не уйдет от расплаты. Мы только перестали замечать Степана. Не отвечали, когда он здоровался, отворачивались, когда спрашивал… Он не пытался объясняться, а другим это не было особенно заметно, так как еще до отъезда тети Дуси он перебрался из палаты в барак, где жили санитары и некоторые придурки - повара, пекари, дворники. Приходя в корпус, он старался в нашу палату не заходить, миски приносил его напарник.

Про Степана я подробно рассказал Николаю Папеичу, который и сам знал кое-что о событиях после пасхи. Стукачей он ненавидел жестоко. Бледнел от ярости, когда говорил о них. Он сказал:

- Ничего не делайте. Вашим корешкам скажите, чтоб пальцем не тронули. Пусть все успокоится…

Прошла неделя, и я напомнил Папеичу. У него побелели глаза - так сузились зрачки.

- Я не забыл, и что сказал, сделаю. Вы меня еще мало знаете, если думаете иначе.

В мае я уже работал в лаптеплетной, учился на курсах медбратьев и обедать приходил не в палату, а на кухню к Эдит. За мной прибежал дневальный.

- Доктор сказал, чтоб шли к нему в шахматы играть.

Папеич сидел у себя в кабине за шахматной доской и разыгрывал по журналу какую-то гроссмейстерскую партию.

Не подымая головы, он сказал:

- Сегодня уходит этап на 18-й… Я отправляю этого гада. Скажите потом телефонисту, чтоб намекнул…

18-й лагпункт был одним из самых тяжелых. В заболоченном лесу. Именно там были штрафные БУРы[11]. Этапы из больницы на лагпункты отправлялись от случая к случаю. Прибывал конвой с лагпункта, привозил больных и обратно увозил выписанных здоровых. Таким образом, судьба выздоровевшего заключенного зависела либо от слепого случая, либо от памяти начальника. Одних просто выписывали - выздоровел, подкормился и давай с

вещами, тут уж как повезет. Тех, кому начальство благоволило, задерживали в больничке так, чтобы отправить в хорошее место - на один из трех фабричных лагпунктов или на «сельхоз». Если начальство сердилось, то старалось загнать неугодного зэка куда похуже…

Приказы на выписку и на отправку могли давать начальница больницы, ее вольная заместительница и главный хирург - заключенный Николай Папеич. Оперуполномоченные на других пунктах были всесильны, в некоторых случаях их даже начальники побаивались - кто Богу не грешен, ГБ не виноват? Но здесь, в больничке, «опер» вынужден был считаться с особым лечебным режимом.

Папеич был горяч и вспыльчив, но еще и умен, расчетлив и как отггньгй, бывалый лагерник, точно знал, когда и что можно… Он терпеливо ждал того дня, когда начальница и ее заместительница уехали в Горький и он остался единственным хозяином больницы. Но то, что уехали они именно в тот день, когда прибыл конвой с 18-го, видимо, было не случайно: о конвоях предупреждали заранее, а Папеич планировал операции так, чтоб начальница, которая обычно ему ассистировала при самых интересных, могла и уезжать на день-другой.

Папеич был невысок, худощав, чуть-чуть несоразмерно большая голова; медальный профиль, резко очерченное оливково-смуглое лицо, крутой и тонкий нос, черные густые брови, черные густые волосы.

- Садитесь, сыграем, только, пожалуйста, внимательно, без обратных ходов и, главное, без волнений, без комментариев, когда здесь начнется маленький спектакль.

Мы не успели разыграть дебют, как в дверь постучали. Вошла вольная секретарша с листом бумаги.

- Доктор, тут в списке на этап есть один зэка, - поглядев на меня, запнулась, фамилии не назвала, - так оперуполномоченный сказал, не отправлять.

- Какой зэка? Покажите! Ах, этот… Знаю. Он здоров. Так здоров, что уже больных объедает… Замечен в краже питания… Понятно? Я распорядился отправить. Так что пусть гражданин начальник не беспокоится… Понятно?

- Понятно…

Смотрит смущенно. Топчется на месте. Она вольная, он заключенный. Но «бешеного доктора» Тельянца знает весь лагерь. Он оперировал дочь начальника лагеря. Спас ее, уже умиравшую от перитонита. К нему из Горького из НКВД лечиться приезжают. Он никого не боится.

- Если понятно, чего же вы ждете? Секретарша ушла.

- Так, значит, вы играете ферзевой по всем правилам. Попробуем по всем правилам.

Через несколько минут - от домика врачей до вахты шагов сто - снова стук. Та же секретарша, красная, возбужденная, испуганная, с тем же листком и еще пакетом - учетная карточка.

- Доктор, уполномоченный сказал, что он запрещает отправлять, чтобы вы вот тут вычеркнули или чтоб пришли к нему. Сейчас же… Так они сказали…

Произнеся все единым духом, она пытается положить на стол бумаги, уже и не думая обо мне, постороннем.

Папеич встает рывком. Он молча, пристально, яростно смотрит на секретаршу, так, что та отступает на шаг. Потом говорит негромко, медленно и раздельно:

- Скажите - пожалуйста скажите - гражданину оперативному уполномоченному, что пока еще я главный хирург этой больницы и значит я отвечаю за больных и персонал… Я моих распоряжений отменять не буду… И к нему идти не намерен… - посмотрел на часы. - Через час у меня назначена операция и я отдыхаю перед операцией, вот за шахматами… Именно так я готовлюсь к работе… И поэтому прошу меня больше не беспокоить… Понятно? И вот что еще… Если гражданин оперативный уполномоченный самовольно отменит мое распоряжение, то это будет значить, что он вместо меня стал главным хирургом… Тогда я немедленно прекращаю работу. Тогда скажите гражданину оперативному уполномоченному, - опять посмотрел на часы, - через час необходимо оперировать аппендицит во втором корпусе, а затем еще сегодня там же грыжу и вскрывать нарыв - кстати, его коллеге, уполномоченному с 9-го, он лежит в первом корпусе. Тогда пусть сам гражданин оперативный уполномоченный сегодня делает операции. Понятно? Прошу, чтоб через полчаса мне доложили, ушел ли этот этап. Вам затрудняться незачем… Там у вас есть дневальный зэка… Не забудьте только, пришлите сообщить… В противном случае пусть оперирует сам гражданин оперативный уполномоченный. Понятно? До свиданья!…

… Я сидел, уставившись в доску, и курил. Папеич опять сел, утирая платком влажный лоб и шею…

- Ну вот видите! Вы опять зевнули коня… Я же говорил! Без обратных…

Вечером телефонист-заключенный звонил на 18-й и у тамошнего телефониста, тоже зэка, спрашивал, как прибыл этап, спрашивал поименно о здоровье и при этом намекнул, кто каков.

Прошел еще месяц. Я уже работал медбратом во втором хирургическом корпусе. Вечером дежурил. После поверки

прибежала Эдит.

- Выйди на минутку. Помнишь Степана, того, через которого тетю Дусю отправили? Его привезли сегодня в первый корпус… Перелом двух ног и позвоночника; дерево на него упало…[12]

Часть шестая
МОСКВА МОЯ

Глава тридцать первая
САНАТОРИЙ БУТЮР

Самый счастливый час в жизни?… Сегодня я бы уже не решился выбрать, какой именно час или день назвать самым счастливым. Но было время, когда на такой вопрос я отвечал уверенно: в августе 1946 года - не помню числа, примерно около четырех - был самый счастливый час моей жизни.

За трое суток до этого меня привезли в Москву. По пути я провел две недели в Горьковской пересыльной тюрьме. Ждал. Тоскливо было в людной камере. Вокруг чужие люди, измученные, озлобленные, несчастные; иные неприятны, даже омерзительны. После этого - сутки в удушливой тесноте столыпинского вагона Горький-Москва.

Потом вечер-ночь-день - вторая ночь - второй день и снова ночь в таком же вагоне, но уже неподвижном. Пересылка у Казанского вокзала. В купе-камеру, рассчитанную на 6-7 человек, набивали по 20-30; почти полдня было 36. На самых верхних полках третьего яруса не лежали, а сидели по трое, по четверо и по пять, задыхаясь от жары - крыша накалена августовским солнцем - и от зловония. На нарах второго яруса корчились, сидя в раскоряк. Внизу и сидели, и стояли, и лежали на полу, под скамьями. Внизу тоже задыхались, но к тому же еще были измяты, изжеваны давкой, затекшие ноги и руки сводило судорогами. Сверху текла моча - кто-то не удержался. Его исступленно материли, но как разобрать, кого именно? Да и не вытянуть руки…

По утрам выводили на оправку: конвоиры зевали, они были не злыми, а просто скучающе-равнодушными. Загаженная уборная. «Давай, давай, быстрее, быстрее». Торопили не столько конвоиры, а проклинающие и умоляющие сокамерники. Потом вызывали с вещами и грузили в воронок.

Радость - можно расправить руки и плечи, пройти несколько шагов, покачиваясь на ватно мягких ногах, в открытой двери вагона - утреннее солнце, великолепная прохлада. В воронке - опять давка, но уже не такая чудовищная. Вошедшие первыми сидят на скамьях, другие - на мешках, вплотную к их ногам, только последние - вповалку.

Везут. За тонкими железными стенками - шумы города: голоса людей, движение машин, гудки, сирены. Но через час-другой стены накалялись от солнца и в зарешеченный вентилятор в крыше сочился не воздух, а горячая пыль, пахнувшая

асфальтом.

Часто стояли. Слышно было, как переговариваются конвоиры. Они ходили в пивную, в столовую. Мы стучали:

- Начальник, пусти оправиться… пить… мы голодные.

- Скоро приедем… Уже скоро… Вот сейчас…

Мы заезжали на другие вокзалы - Киевский, Курский, Белорусский. Вталкивали новых пассажиров.

Снова и снова просили, умоляли, требовали:

- Оправиться, пить… хоть глоток… оправиться…

- Терпи, уже скоро… Кто там ругается? Вот наденем браслеты и в рот портянку, будешь знать, падло!

Все же временами становилось просторнее, можно раздеться, сесть на железный пол - он холоднее стен, под дверью - щель, тоненькое дуновение. К вечеру и вовсе легче.

Просыпался голод: утром отправили до раздачи пайки. Но к вечеру привезли опять на Казанский, в тот же или в другой такой же вагон - их несколько стояло в тупике…

- Какая вам пайка, все роздали…

Так было и на второй день. Все роздано. Хорошо, что пустили на несколько секунд в загаженную уборную - и эти секунды были прекрасны. Ругаться с конвоем нельзя - впихнут, как накануне, в самое худшее купе. А это, кажется, не так полно: сесть, правда, уже некуда, но можно переступать с ноги на ногу, достать из кармана махорки, свернуть.

- Откуда, мужик?

- Отсюда же… Утром увозили… И вчера, и сегодня.

- Мы тоже уже два раза катались… увозют, гады, а пайки себе… Хоть бы на Красную Пресню отправили, там порядок. Там в вокзальных камерах горячая баланда и сахарок.

Но Краснопресненская тюрьма - пересылка для осужденных, отправляемых из Москвы, а на Казанском в вагонах - пересылка для прибывающих в Москву подследственных и по спецнарядам.

Третью ночь дольше всего я стоял в смрадной, душной тесноте, но все же хоть сверху ничего не текло и не капало и оставалась еще махорка. Часа два или три удалось подремать, сидя на смену с тощим, бледным молодым вором. Я оставлял ему покурить и давал медицинские советы: его взяли в Куйбышеве на рынке, жестоко избили, он жаловался, что мочится кровью.

В нашем купе было несколько цыган. Один, совсем молодой, лежал под скамьей. Ржевские колхозники, два угрюмых молчаливых старика, в оккупации были старостами. Мальчишки из ремесленных училищ, осужденные за прогулы - задержались дома после каникул. Пожилой машинист из Западной Сибири.

- Я член партии ленинского призыва, ударник пятилеток, с

самых первых орденоносцев, еще с Кривоносом начинал… Я тогда «Трудовое Знамя» получил и за войну два ордена - «Звездочку» и «Отечественную» второй степени, а сколько благодарностей наркома - уже и не помню… А теперь вот указ. Поехал в отпуск в первый раз за 10 лет. С 1936 года без отпуска, без выходных. Как, значит, кончилась война - последняя, с японцами, - дали и мне наконец месяц, а дорпрофсож предложил путевку в Сочи. С начальником договорился - приеду на неделю позже, за счет выходных, ведь сколько раз без выходных ездишь, от бессонницы уши пухнут и безо всякой компенсации. А тут путевка, дорога, то да се… как раз нужно еще семь дней… Начальник депо разрешил, а приказом, как нужно, не оформил. А тут ревизия. И с начальником службы движения у меня склока была, я критиковал его, даже в газете пропечатал. И вот, пожалуйте, прогул семь дней! И, значит, пустил по указу. Получил семь лет, правда, без поражения в правах. Я жаловался; теперь привезли в Москву, надеюсь на пересуд…

Было еще несколько «сталинских воров» разных возрастов. Мой «сменщик» презрительно объяснял:

- Сталинский вор - это кто крадет с голоду, не умеючи, не как настоящий человек, настоящий цвет, который, как говорится, преступный мир. А эти только чтоб сейчас пожрать или папа и мама обедняли, и он хочет, чтоб украл - и концы, а потом - пожалуйста, я честный сын родины, несудимый гражданин, меня комсомол воспитал, я не крал, а только одалживал, я сам обожаю ударный труд, но мне кушать хочется… Вот это и есть сталинские воры - жлобы, сор, шкодники. Честный вор на таких и плюнуть не схочет…

Наутро опять вызвали с вещами - в воронок.

- Давай, давай, не разговаривай. Пайку в тюрьме получишь. Мы вас кормить не обязаны. Ваши пайки в Бутырках уже третий день лежат, а у нас наряда нет. Где я тебе хлеба возьму, не видишь, что здесь не пекарня… А почему вчера не свезли, это у шофера спрашивайте или у конвоя. Разве я вас возил? Так откуда я знаю, почему не отвезли. Значит, у них более срочные дела. Давай, давай, шевелись, в Бутырках и посрешь и пожрешь, как на воле.

Воронок ездил по Москве до жары и долго стоял где-то на тихой улице под солнцем. Конвоиры лениво переговаривались в стороне. Они ходили пить пиво.

Нас осталось трое, сидели в одних кальсонах на полу, утирая грязный, липкий пот.

Инженера-механика, заключенного с 37-го года, везли из Воркуты по наряду, зачем и куда - не знал.

Второй - тоже инженер, котельщик, осужден недавно. Еще в двадцатые годы уехал в Чехословакию. Тогда разрешали. Там женился на чешке. Принял чехословацкое гражданство. При немцах ушел из фирмы, работал в маленькой ремонтной мастерской, ремонтировали отопление, домашнюю утварь.

- Моего свояка расстреляли немцы. Когда наши пришли, все так обрадовались. Я тоже, конечно, с открытой душой. У нас бывали офицеры, очень симпатичные молодые люди. Я интересовался, как найти родственников в России, долго не имел известий. Сестра в Саратове замужем, два двоюродных брата на Урале. Меня вызвали в комендатуру, я даже с детьми не простился. Сказали - на несколько минут, по поводу ваших вопросов. А там, пожалуйте, ордер - и все… Потом, правда, жене разрешили передать вещи, продукты. Следствие полгода. Нет, не били. Только пугали, грозили. Я все говорил честно, скрывать было нечего. С эмигрантскими организациями не связывался. Но я ведь русский человек, и среди знакомых были русские семьи. Иногда в церкви приходилось бывать, на свадьбах, на крестинах, на панихидах…

Когда наши пришли, все русские очень радовались. Я всю жизнь прожил на виду, пятнадцать лет в одном и том же доме квартировал, десять лет в одной фирме работал и еще пять - в одной мастерской. Свидетелей сколько угодно. Но никого не позвали. Потом во Львове военный трибунал. Десять минут всего. Задали несколько вопросов: «Признаете себя виновным?» - Нет, говорю, хочу объяснить. - «Ладно, ладно, суду все ясно…» Даже не уходили совещаться, шептались полминуты. Объявляют: измена родине, десять лет и еще пять лет, как это говорится, безо всяких прав. Я подал кассационную жалобу. Ждал больше двух месяцев, и вот привезли в Москву. Но, знаете, даже не верится. Поразительно - такая великая столица, такая могучая держава, и вот мы здесь, в таких условиях, можно сказать, совсем бесчеловечных…

Втолкнули четвертого с двумя мешками; в дверях с него сняли наручники. Он сел на большой мешок, растирая запястья. Маленькая кепочка, бело-синяя спортивная рубашка. Коротко стриженный, узкоплечий, белобрысый; бровей нет - серенькие бугорки, красноватые веки, водянисто-серые, выпуклые глаза, маленький рот.

- Жарко, мужики? Оголодали? Давайте, рубайте!

Он достал из мешка сухари и пиленый сахар, дал каждому полным двугорстьем.

- Сужденные? А я с вышкой. С Можайского… Облсуд выездной дал вышку. Привезли или шлепать, или миловать.

Может, и шлепнут… У меня уже четвертая судимость. Это открытая, а так побольше будет. Весной оторвался я с Печоры - и полсрока не было, оторвал с концами в цвет… Я зовусь Сашок Московский, а правильней говорить, подмосковный. И партнер с Можайского. Ну, мы там сберкассу работнули, а через месяц еще продмаг. Мы двое и еще двое, тоже приезжие. Только там шухер получился. Мы пьяные были. А те двое еще без понятия босяки, так, только на ноги становились. Но я-то дурак… Даже обидно, вроде башку заменили… Правда, оголодал я в лагерях. Три года сосаловка. Доходил, думал, не оживею. А тут с той сберкассы чистые гроши взяли, моя доля больше двадцати кусков… Я женился на честной. Она и не знала, кто я, верила, с Германии демобилизованный… Мы еще раньше с тем партнером проездом под Москвой углы отвернули[13], - трофейные, прибарахлились, будь спок… Так мы с ей жили, сколько - три, не, четыре месяца, - ох и жили! Всего, чего хошь, от пуза, и шоколад, и вино… Так жили, бля буду, помирать не жалко. И жена меня уважала, и мама ихняя, ну прямо как сына родного. Сашенька, я тебе баньку стопила… Таня - это жену мою так зовут, - ты чего же Сашеньке мало штец насыпала?… Ты ему не мослы, а мясо положь…

Очень хорошая женщина теща и справедливая. Вот я дурак и зажрался, и мышей не ловил. А тут и тот партнер обратно, и новые. Продмаг в Можайском верняк, значит. Пошли мы дуриком, пьяные. Придавили сторожа… Надо было когти рвать, куда подальше. А я фраернулся. Правда, фарт был, дай Бог - продукты всякие, сало, масло, тушенка эта… Водки разной… Мы полуторку с базы угнали, всю нагрузили. Заначили, как надо, втихаря, дуванили честно. Я домой подался. Но только мне жалко от жены, от тещи, от своей хаты. А тут мусора и псы надыбали след. Мы с партнером как раз пошли с дома, и обратно пьяные, у него дура и у меня - трофейные парабелы. Мы их закнацали с даля, рванули в переулок. Они - стоп! Руки вверх! Мы - туда-сюда… Они псов пустили… Партнер одного пса на пять шагов: раз! и с первой пули амбец! Тут мусора пошли, как на фронте: бах, бах!… Пули только: жик, жик! Партнер сзади был, я слышу: «Ой, Сашок, ой…» Смотрю: он уже копыта откинул. Тут я психанул, забег в какую-то сараюшку, залег там в оборону, прицельно пуляю. Трех или четырех гадов подранил, на суде говорили: один потом сдох. Так они тут вояк вызвали, пожарную кишку, только пушек не было. Но потом, когда меня взяли - патроны у меня кончились, - они обрадовались, даже били мало, бля буду, только связали всего, как запеленали. А на суде, конечно, уже посчитали бандитизм. Только это обидно. Я ведь кто? Честный вор в законе - я этих бандитов и хулиганов так презираю, ну не лучше гадов и лягавых.

Чтобы дуру наставить: «даешь гроши» или чтоб зарезать человека, ума не требуется и смелости не требуется, нужно только нахальство и никакой совести. А ведь каждый человек жить хочет, у него, может, жена или мама, или даже дети, могет быть. А тут ему такой дурак долбаный берет и горло режет. Таких я всегда ненавидел. Вот чтоб воровать, тут нужно голову иметь, бля буду, и смелость, и ловкость, это как в карты или в козла, или в шашки: соображай, где что… Ну, если, конечно, горишь, если заложил тебя какой сука, можно и отмахнуться, можно и пришить, уничтожить, если кто последняя падла. Но это уже в крайностях, по закону. А так честный вор не должен в крови пачкаться. Вот и я через свою дурость получил вышку. Но если помилуют, я теперь завяжу, бля буду… Я так и на суде сказал по-честному. У меня теперь жена, дом свой, могет, и дети будут. Живой буду - завяжу, это уж точно.

Он говорил непрерывно, ровным, тихим голосом, смотрел на слушателей рассеянно, дружелюбно. Курил, иногда прикуривая одну папиросу от другой, каждому из нас он дал по пачке «Беломора». Протянул без той размашистой, показной щедрости, которой обычно щеголяют воры, а просто, как нечто само собой разумеющееся. Каждого спросил вежливо:

- Ты, дядя, с откуда? Тоже 58-я?

Но ответов почти не слушал и спешил говорить о своем. Он не успел распариться, сидел на мешке не раздеваясь, возвышаясь над нами, полуголыми, грязно-потными, белый, чистый, добрый кормилец, доверчивый рассказчик…

Но от сухарей иссякала слюна, от сахара слипались рот и гортань, жажда становилась все мучительней.

Наконец приехали… Явственно было: въехали с шумной улицы в тихий двор, повернули, потом опять скрипнули ворота - стало еще тише. Почти уже не слышна улица. - Поворот. - Еще поворот. - Мотор заглох. - Клацнули замки.

- Давай, давай, выходи по одному.

Мешок и одежду в охапку, босыми ногами на теплый асфальт. Тенистые деревья, высокий подъезд. В передней-тамбуре прохладный кафельный пол.

- Стать лицом к стенке.

Не кричат, просто говорят, и совсем не грубо, деловито. Называют фамилии. Нужно ответить имя и отчество. Статья? Срок?

- Пройдите!…

Большой широкий коридор, нет, не коридор, скорее зал без окон, кафельный пол, по обеим сторонам двери с волчком, в дальнем конце - столы и конторки, лампы под зелеными

абажурами. Надзиратель кажется миролюбивым, домашним - немолодой, в опрятной гимнастерке. Он идет впереди и стучит ключом по пряжке ремня. Открывает одну из дверей - это бокс - небольшая камера. Г-образная. Вдоль стены - темная деревянная скамья, врощенная в кафельный пол, стены до половины выложены зелеными плитками из какого-то стекловидного материала, выше окрашены светло-бежевой масляной краской.

- Гражданин начальник! Оправиться… Пить.

Он кивает понимающе:

- Сейчас, сейчас, потерпите еще немного. За дверями бряцанье, позвякивающие сигналы ключей. Топот. Шарканье.

Сашок объясняет:

- Это Бутырка - хорошая тюрьма. Аккуратная. Может, шлепать не будут. Здесь вроде не шлепают…

Клекот ключа в нашей двери. Другой надзиратель, помоложе, построже.

- Оправляться пойдете? Все вскакивают.

- Не торопиться… давай без вещей… руки назад… Там напьетесь и помоетесь.

Идем наискосок через коридор - трое полуголых, босых, грязных и белый, опрятный Сашок. Дверь с волчком, три каменные ступени вверх. Влажная прохлада… Рукомойник. Два крана. Три сортирные кабинки - и совсем не грязные, течет вода, подножья железные.

Минуты несказанного блаженства. Потом жадно моемся. И опять пьем, и опять моемся. Надзиратель заглядывает. Ворчит. Но добродушно:

- Вы тут не наливайте, не в бане… Ну, давай, давай обратно, другим тоже надо.

Возвращаемся мокрые и довольные. Вытираться не хочется. Прекрасный, живительный холодок. Опять ключ. Принесли алюминиевые миски с пшенной кашей, густая, ложку воткнешь - торчком стоит.

- Хлеб вам сегодня еще не выписали, а кашу можете просить добавку.

В алюминиевых кружках горячий чай, несладкий, но чай настоящий, душистый. Сашок опять раздал сахар и сухари. Едим неторопливо, сосредоточенно. Упоенно сопим. Изредка звучат короткие, благодушные похвалы - хвалим воду, чай, надзирателей, сухари, Бутырки…

Получаем еще каши, еще чаю. Выскребываем дочиста миски. На донышках выштампованы буквы «Бут. тюр».

Кажется, именно тогда, а может быть, и в другой раз, то ли мне случайно придумалось, а скорее всего от кого-то раньше

услышал, но согласно повторил, вроде бы шутя и все же не только шутя - «санаторий Бутюр». Да, именно так: санаторий Бутюр.

Глава тридцать вторая
КАМЕРА № 96

Меня привели на второй этаж старого корпуса в широкий коридор: по одну сторону в светлой стене - неглубокие ниши и темно-зеленые двери камер, одноглазые, квадратноротые; по другую - большие окна, забранные нечастыми светло-серыми решетками. За ними виднелась густая листва деревьев - живая, дышащая зелень прямо против мертвенной зелености железных дверей. Утро было сире-нево-розовое, суетливо щебетали птицы. Коридорный надзиратель завел меня в темную дежурку, выдал ватный матрац, алюминиевую миску, такую же кружку и ложку.

- В камеру идите тихо и лягайте, где свободно. До подъема еще три часа.

Камера 96. Большая, двухсводчатая, схваченная посередине плоскими выступами. Стены выгибались высоким потолком, наверху две лампочки утоплены и зарешечены. Они горели и ночью, ведь в камере должно быть всегда светло, чтоб все видно. Два окна, темные решетки за ними намордники - щиты под углом, но не слишком острым, видны большие полосы рассветного неба… Слева от двери - темно-рыжая параша. По обеим сторонам - нары, деревянные щиты на стальных рамах, лигиматорах. Арестантов не так уж много - чуть больше двадцати. Кое-где в нарах узкие проходы, щиты раздвинуты; все лежат на матрацах. Посредине впритык три стола. На них книги, шахматные доски.

На третьем месте от окна я увидел пустой щит - повезло, не у параши, где обычно приходится начинать новичку в переполненной камере.

Я лег на матрац, укрылся бушлатом, из окна тянуло холодком, послушал щебет, суливший добрые вести, и блаженно уснул.

Подъем! В кормушке голос надзирателя называет четыре фамилии - это дежурные. На оправку! Двое дежурных подхватывают парашу. Другие два будут раздавать пищу, командовать уборкой. В коридоре строимся по двое; «руки назад!» У двери в уборную надзиратель раздает листки, нарезанные из газет и старых книг. Пока все не управятся с оправкой и умыванием, проходит минут двадцать. В этой камере - все подследственные, а я, хотя еще и не осужден, уже побывал в лагере. Меня начали расспрашивать еще в камере, продолжают в уборной. Расспрашивают о пайках, режиме, нормах, какая

больница, как с перепиской. И, конечно, что слыхать об амнистии, правда ли, что ожидают манифеста? Помилование будет тем, кто воевал, или только тем, кто раненые?

Широкоплечий, широколицый хромой летчик Алексей. Его тяжелый самолет, тихоход ТБ-3, подбили еще в начале войны. Он раненый попал в плен, едва подлечился - убежал из вагона в Восточной Пруссии; несколько пленных летчиков и танкистов разобрали пол в товарном вагоне и по одному вывалились на рельсы. Через северную Польшу они добрались до Белоруссии к партизанам. До зимы он воевал на лесных дорогах, командовал партизанским взводом, потом все же перешел через фронт и вернулся в свою часть. Летал уже на штурмовике; осенью 42-го года опять подбили над немецкими тылами. Он успел отбомбиться, дотянул горящий самолет через передовую и посадил у своих; долго лежал в госпитале, стал хромым - перебитая голень плохо срасталась. Демобилизовываться не хотел, и его оставили в этой же эскадрилье на инженерной должности. Он женился на летчице из женского полка. У них родилась дочь. Но и жена осталась в строю. После «декрета» опять летала. В 1944 году он поехал с фронта в командировку выколачивать приборы. В Москве на вокзале его арестовали у транзитной кассы. Следователь сказал, что его жена улетела к немцам и, значит, это он ее послал, значит, он вернулся из плена по заданию. Следователь назвал его фашистом. Он ударил следователя стулом, разбил в кровь голову. Связали. Побили. Двадцать суток продержали в карцере. На раненой ноге открылся свищ.

Он объявил голодовку. Кормили насильно через нос. Но больше не допрашивали. К августу 46-го года он был уже два года под следствием, из них - полтора без допросов. Держался он спокойно и вовсе не подавленно. Говорил тихим, но уверенным, властным баском; двигался молодцевато, хотя хромал. В каждом движении ощущалась та упругая, мужественно-изящная сила, которая отличает настоящих спортсменов и настоящих строевиков.

- Силы беречь надо, от баланды калорий немного… Передач не разрешают. Раньше получал от тещи. Но после того как стукнул мерзавца - уже ни единой… Каждый месяц пишу заявления. Тут раз в месяц выдают листок бумаги под заявление или жалобу, но чтоб в тот же день сдать обратно, хоть чистым, хоть запачканным. Я пишу все одно и то же: прошу закончить следствие, прошу разрешить передачи. Получаю ответ раз в три месяца. Дело за военным прокурором МВО - и все. Значит, надо беречь силы, даже трепаться много не следует. Тоже расход

калорий и нервной энергии.

Большую часть дня он лежал. Днем полагалось подкатывать матрацы к стенке и разрешалось только сидеть на щитах и на скамьях, но Алексей был старожилом, к тому же больным - свищ в ноге. Надзиратели ему даже замечаний не делали. Когда я стал получать передачи, то, разумеется, делился в первую очередь с ним. Сблизили нас некоторые общие воспоминания и даже общие знакомые. Алексей был воспитанником Харьковской коммуны им. Дзержинского времен Макаренко, учился вместе с ребятами, которых я потом знал в Харьковском университете.

Он оставался в Бутырках еще и весной 1947-го года, (я встречал его недавних сокамерников). В начале 60-х годов я прочитал в «Известиях» очерк о герое-летчике, в котором узнал Алексея. В ту пору еще писали о репрессированных героях. Судя по очерку, он жил на пенсии и «активно участвовал в общественной жизни, в работе ДОСААФ».

В камере было еще два Алексея.

Алексей Михайлович Ж., дюжий молодцеватый казак, в рыжеватой раздвоенной бороде ни сединки, только лоб начала поднимать светлая плешь, до войны был бухгалтером банка в Ростове и членом партии. Осенью 1941-го года, когда немцы в первый раз заняли Ростов, он оставался в городе по заданию НКВД, но как-то так получилось, что потерял все связи, был арестован и, чтоб избежать петли и не помирать с голоду, «пошел в казаки» и оказался в штабе Краснова. О Краснове говорил с симпатией.

- Добрый старик был, мечтательный, верующий, конечно, идеология у него - уж тут ничего не скажешь - отсталая, казачья, старого образца: за веру, царя, отечество… Но так с людьми справедливый был и, можно сказать, лично - вполне искренний, великодушный человек. Не то что Шкуро, тот был хам, пьяница, вообще дурак и перед немцами холуй. А Петр Николаевич - это Краснов, значит - критиковал немцев, спорил с ними, даже в глаза с этим Панквицем, который командовал первой дивизией. Петр Николаевич хотел свою особую казачью политику вести. Я от него ездил к Власову и к гетману Скоропад-скому, связь устанавливал. Договориться хотели. Ни до чего определенного не договорились. Скоропадский уже тогда совсем одряхлел, но за свои принципы держался, хотел, чтоб только его признавали законным гетманом всей Украины и чтоб никаких там Бендер и тому подобное… А у Бендеры куда больше авторитета было, а силы и подавно. Мы так считали, у него не меньше сотни тысяч активных штыков; хотя и по лесам, по селам, но организованные. А у гетмана только несколько десятков стариков. Зато, правда,

средства большие - миллионы в разных банках… Но с Бендерой мы не могли связываться. Он ведь против немцев пошел. А Власов хотел обе наши казачьи дивизии просто включить в свою армию, чтоб единое командование-Краснов, тот, может быть, и согласился бы, только чтоб, конечно, признали казачью автономию. Но Шкуро ни в какую, он кричал, что Власов - большевик, что он его советское генеральство не желает признавать, не хочет ему подчиняться. Ну и еще всякое такое. Шкуро боялся, что Власов над финансами контроль возьмет. И тогда он, Шкуро, совсем ни при чем окажется. Немцы тоже этого не хотели. Им ни к чему было, чтоб все русские части, и казачьи и украинские, объединялись, это уже не по их политике выходило.

От Алексея Михайловича я впервые услышал о том, как Краснов, Шкуро и все «немецкие казаки» были возвращены на Родину.

В последние месяцы войны большая часть казаков находилась в Югославии; военных действий они почти не вели, главным образом выменивали оружие на харчи и сливовицу - торговали с четниками и с усташами и с титовскими партизанами. Когда исход войны стал очевиден, казаки отошли в Северную Италию. Там они добровольно сдались англичанам. После чего их, не разоружая, разместили в небольшом городке в Западной Австрии.

Шла обычная казарменная жизнь: выставлялись караулы, чистили лошадей и оружие. Только не вели военных занятий. Краснов и Шкуро просили английских офицеров передать своему правительству, что казачьи части готовы служить в британской армии, охотно будут воевать против японцев, могут нести гарнизонную службу и выполнять строительные работы в Индии или в Африке… Так продолжалось два месяца. Потом им сказали, что британское командование приглашает всех офицеров на совещание в соседний городок. Краснову, Шкуро и Панквицу подали легковые машины, для прочих офицеров - несколько автобусов. Когда выехали на шоссе, в колонну - как бы случайно - включились несколько грузовиков и бронетранспортеров с английскими солдатами, мотоциклисты-пулеметчики, два броневика. Так они и подкатили прямо к лагерю. Англичане сворачивали у ворот, солдаты залегли с пулеметами у проволоки, а машины с казачьими офицерами вкатились на лагерный плац.

Английский капитан через переводчика объявил:

- По соглашению с союзным советским правительством британское командование решило интернировать казаков, служивших немцам. Для генералов предназначен вон тот домик, для всех остальных - вот эти бараки. Прошу немедленно сдать оружие…

Тут начался крик, мат, но Краснов сказал: «Господа, прошу подчиняться, на все воля божья, мы обмануты, но будем вести себя достойно…» Трое сразу же застрелились. А остальные стали сдавать пистолеты, шашки, кинжалы. Английские солдаты уносили оружие кучами в плащ-палатках. Всех пересчитали, записали. Вечером дали ужин - хорошее мясо, сладкий пудинг, даже виски. Потом кино показывали. Мы стали соображать. Говорили, поживем так, потом, наверное, поодиночке будем вербоваться в колонии, в иностранный легион или на работу. Возвращаться на родину, прямо скажу, никто не располагал. Большинство у нас были пленные; стариков мало - Краснов, Шкуро - раз-два и обчелся; старые эмигранты не хотели немцам служить. У них этот их старый патриотизм был все-таки еще силен. В наши части, да и к Власову шли сплошь подсоветские, так нас называли. Мы-то хорошо знали, что нас дома ждет. Ежовщину никто не забыл; а тут ведь и вправду вина перед государством, особенно у казаков. Нас еще с гражданской войны считали за контру. И в коллективизацию, и в 37-м году сколько шкур драли. Правда, лампасы разрешили и ансамбль песни-пляски. Лампасы были, ансамбль был, но жизни все-таки не было. А Краснов немцев всегда уважал. Не Гитлера, нет, а вообще Германию. Гитлер ему совсем не нравился, но только он верил, что его после войны или еще до конца войны скинут генералы и офицеры старой школы. Когда у них там заговор был летом 1944 года - он очень надеялся и жалел, что не вышло. Этот граф Штауфенберг, который тогда бомбу под Гитлера сунул, он ведь и с Власовым, и с Красновым водил знакомство, очень помогал в организации наших войск. Он был из тех немцев, которые надеялись, что после войны все по-другому будет и в Германии, и в России и тогда исполнится мечта Бисмарка - будет союз русских и германцев. И Краснов так же мечтал. Скажу по совести, это неправильно, когда говорят, что он хотел воевать против России и казаков немцам продал. Про Шкуро так можно сказать, тот действительно был вовсе без стыда и чести, а Павел Николаевич - он по-другому надеялся… И когда англичане нас в лагерь свезли, он приказал не сопротивляться, оружие сдать…

Позднее мы узнали, что всех рядовых казаков англичане тогда же погрузили в машины и повезли прямо к Советам. А нам, офицерам, уже на следующее утро английский комендант объявил распорядок дня - завтрак тогда-то, ланч тогда-то, а потом в столько-то ноль-ноль - передача советскому командованию. Тут еще двое застрелились, кто пистолеты припрятал, и потом кой-кто в бараке повесился, не помню уже три, или четыре человека… А Краснов все ходил и говорил: «Спокойствие, господа, на все

воля божья, надейтесь на Бога». Днем повезли нас всех уже в грузовых машинах. Ехали через речку, двое ухитрились прыгнуть, англичане стреляли, как в тире. Так их в воде и застрелили. А там уже землячки встречали, сплошной мат, конечно, и сразу в телячьи вагоны… Рядовым, тем чохом срока давали - по 10-15 лет, а на офицеров завели отдельные следствия. Меня вот уже тринадцать месяцев допрашивают, и в Ростов возили, и на Лубянке был, и в Лефортово; всякого доставалось. Но только я все откровенно рассказывал, как говорится, начистоту, никаких задних мыслей. Свою вину перед родиной сознаю, но прошу принять во внимание обстоятельства и полную искренность…

Три года спустя на марфинской «шарашке» Коля Бондаренко, бывший ординарец Краснова, подтвердил рассказ Алексея Михайловича. До войны Коля был секретарем комсомольской организации МТС на Кубани, в 1945 году его осудили на 20 лет каторги, а в 1950 году его привезли из Воркуты на шарашку, хотя он не имел особо высокой квалификации, которая обычно предполагалась у направляемых из лагерей по спецнарядам. Крикун, балагур, заводила, он был вместе с тем и «ласковым теленком», ладившим с любым начальством; на шарашке он лихо вкалывал в кузнечно-штамповочном, был примерным читателем газет, патриотическим комментатором у лагерных радиорупоров и… стукачом.

Но о Краснове он тоже отзывался с нежностью: «Хотя и белый генерал, политически, можно сказать, враг народа, так хороший был дядька, справедливый, а до меня - как отец или дедушка. Спрашивал завсегда: ты уже поел? Не устал? Воспитывал, учил, чтоб не пил много, не привыкал, и как надо культурно говорить. Только божественный был очень, все крестился, молился. Но я его уважал и тоже, конечно, старался».

Алеша-художник, худенький, в суконном красноармейском шлеме-богатырке и длинной шинели старого образца, был тихим, печальным и хорошо воспитанным московским юношей. Его угнетала болезнь глаз; он говорил, что без живописи жить не хочет. И если ослепнет, обязательно убьет себя. Он говорил это спокойно, без патетики и надрыва. Алешу и его жену, молодую художницу, обвинили в том, что они создали кружок заговорщиков-пораженцев, хотели свергнуть советскую власть и что их вождь - писатель Леонид Леонов. Следствие тянулось больше года. Но никаких показаний самого Леонова в деле не было. Алеша надеялся на помощь своего дяди, академика Мещанинова, однако подробно расспрашивал меня о режиме лагерных больниц.

Много лет спустя Алеша приходил ко мне в Москве: он был

вполне здоров, деловит, энергичен и рассказал, что вместе с товарищем написал триптих, изображавший ударников коммунистического труда одного из московских заводов. Алеша объяснял: «Мы хотим творчески применить лучшие традиции русской живописи, проще говоря, икон. Помните, как мы с вами там, в Бутырках, говорили об иконах, о Рублеве, я уверен, что вы нас поймете, а в МОСХе сейчас всем заправляют леваки, модернисты, они к нам враждебны, да мы еще ведь бывшие зэки. Помогите нам через Союз писателей или через газету устроить выставку. Ведь наша картина самая первая. Еще никто не писал ударников коммунистического труда именно так…»

Хотя и то, что говорил так неузнаваемо повзрослевший и приободрившийся Алеша и то, как он это говорил, мне было неприятно, все же я попытался ему помочь. Мои приятели посмотрели триптих, устроили обсуждение. Представители завода хвалили, художники помалкивали. Молодая женщина - серьезный искусствовед - сердилась: «Живопись более чем посредственная, патетика претенциозная и спекулятивная. Ваш Алеша просто резвый халтурщик, пробивный малый и спекулянт».

А в Бутырской тюрьме он с такой мужественной печалью готовился умереть, потому что не мог жить без искусства.

В те годы через Бутырки проходило множество людей. Я пытался высчитывать примерное количество, сравнивая номера на квитанциях, которые нам выдавали на руки. Каждый месяц нумерация вещевых и денежных квитанций начиналась заново. Поделив порядковые номера на соответствующие числа и сравнив полученные частные, а также разности между номерами квитанций за разные дни одного и того же месяца, можно было с достаточным приближением определить среднее количество ежедневно прибывавших арестантов. Осенью 1946 года их было 20-22, весной 1947-го - 15-17, осенью 1947-го - снова больше двадцати. В последующие годы это число несколько снизилось. Когда в 1950 году меня уже с шарашки привезли в Бутырки, на «праздничную изоляцию», оно не превышало 10. В конце 1946 года в Бутырках одновременно находилось 25 000 арестантов.

Некоторых обитателей 96-й камеры августа-сентября-октября 1946 года я помню и сейчас, много лет спустя. «И вновь поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас» (Анна Ахматова).

Капитан Яковлев. Он командовал артиллерийским дивизионом в 1941 году. У Можайска был тяжело ранен в голову и в грудь, очнулся уже в тыловом госпитале; его долго лечили, а в 1942 году демобилизовали, дали инвалидность, но он работал в каком-то хозяйственном учреждении. А в начале 1945 года его

арестовали как изменника родины - «власовского агитатора». Оказалось, что несколько солдат его дивизиона попали в плен; после освобождения их поместили в проверочные фильтрационные лагеря и требовали разоблачить возможно больше предателей и пособников. Они сговорились называть прежде всего мертвых. Капитана Яковлева, которого они сами видели умиравшим, с пробитым черепом, в луже крови, они назвали в числе тех, кто в плену агитировал за Власова; несколько подобных показаний - «перекрещивающийся компромат», и Яковлева арестовали. И хотя его алиби нетрудно было установить за один день - все госпитали, в которых он лежал, были вблизи Москвы и в самой Москве, - и хотя он работал в московском учреждении именно в то время, когда якобы вербовал власовцев, следствие продолжалось уже больше года. Ему все еще устраивали очные ставки с его обличителями, которые путались, терялись, пугались. Некоторых еще везли из дальних лагерей. Яковлев грустно удивлялся тому, что следователи не делают самого простого и легкого, не проверяют истории болезни, а продолжают допрашивать, злятся, орут, правда, уже не на него, а на тех злополучных солдат, сажают их в карцеры, но и его не отпускают.

Двое поляков, ротмистр Казимеж К. и подхорунжий Юлиуш Т., помогли мне продолжить изучение польского языка. И ротмистра и хорунжего арестовали по ст. 58-10 за антисоветскую агитацию в лагере интернированных офицеров АКа.

Ротмистр объяснял, презрительно пожимая плечами: «Один пан слышал, же я сказал «срана демокрация». А може, я то про ангельску или американьску демокрацию говорил…»

Он охотно рассказывал о том, как до войны был чемпионом Польши по нескольким видам конного спорта, брал призы на скачках и за вольтижировку. Он хорошо говорил по-русски, гордился тем, что уланский полк, в котором он служил, считался хранителем традиций русских полков нижегородских и гродненских гусар.

- У нас и фанфары и штандарты от тех полков хранились. И у нас служили русские офицеры, один даже князь Барятинский - Жора, лихой всадник, стрелок высшего класса, а как лезгинку плясал… Как ангел, по воздуху летал, ни один артист не мог бы так…

Он помнил наизусть много стихов Мицкевича, Словацкого, романсы Вертинского, песенки Лещенко и старые русские офицерские песни «Черные гусары», «Взвейтесь, соколы, орлами», «Оружьем на солнце сверкая».

Невысокий, но стройный, моложавый, он выходил на

прогулку в темно-зеленой конфедератке и опрятной шинели; шагал быстро, легко, изящно.

- Надо запасти воздух, надо размять ноги. Тут прогулки есть не гуляние, а тренирование. Рекомендую пану майору ходить темпно, в темпо. То в камере можно туда-сюда не спешно. А здесь воздух, хоть и не очень чистый, но все-таки воздух з ветром. Надо в темпе.

Подхорунжий Юлик, недоучившийся варшавский гимназист, в начале оккупации ушел в лес. Смуглолицый, остроносый с тонкогубым нервным кривящимся ртом, он, видимо, был с какой-то стороны еврейского происхождения, но скрывал это. Часто, кстати и некстати, подчеркнуто говорил, что его семья - строго католическая, что отец был в первых легионах Пилсудского, рассказывал, что его родители были расстреляны немцами, когда те мстили за нападения партизан, давая понять, что они погибли не в гетто.

Юлик часто говорил, как прекрасно жилось в довоенной Варшаве. Бедняками и безработными было только лодыри. Всем жилось хорошо в Польше - и русским, и украинцам, и евреям, а недовольны были только нацисты, бендеровцы и коммунисты, только враги Польши. Они-то подзуживали и рабочих, и другие народовости - фольксдойчей, украинцев и еврейских босяков, приличные евреи называли себя поляками Моисеева закона и любили дзядека Пилсудского, как родного отца…

Он спорил со мной чаще, чем ротмистр, который только иронически улыбался, когда я принимался доказывать им, что мы никак не могли помочь восставшей Польше, что в 1939 году нам необходимо было договориться с Гитлером, потому что правительство Рыдз-Смиглы и Бека нас вынудило пойти на это, что мы не нападали на Польшу вместе с немцами, а только освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, что в Катыни польских офицеров расстреливали не мы, а немцы…

Юлик, зло щурясь, кричал:

- Не могли помогать Варшаве? А для чего нам не дали помогать? Наш отряд шел к Варшаве, его ваши не пустили, разброили[14] и всех отправили в лагерь. То правда есть, и я ту правду говорил, только правду говорил, а мне пан следователь за то пишет «антисовецка пропаганда». То есть чиста правда, а не пропаганда.

Мы спорили, но никогда не ссорились. Им обоим нравилось, что я серьезно изучаю польский язык, что знаю историю Польши и партизанские песни, я не забыл уроки, полученные еще в первой камере от Тадеуша.

После того как их увели из камеры с вещами, мы вскоре

нашли в бане условные знаки: К-ОСО-10, Ю-ОСО-8.

Несколько литовцев - рядовые солдаты, то ли служили у немцев, то ли партизанили с «лесными братьями» - держались особняком. Один из них, Антон, промышлял изготовлением карпеток, или тапок. С утра у дежурного можно было попросить на целый день иголку и немного ниток. Остальные нитки надергивались из собственных тряпок. Антон легко обтягивал обыкновенные носки кусками ткани, получались носки-тапочки.

Он обычно не участвовал в спорах, которые возникали в камере по самым разным поводам: о том, полезнее ли съесть хлебную пайку всю сразу утром или нужно разделить ее на три части; где немцы больше зверствовали - в Польше или в России; могут ли сны иметь пророческий смысл; когда следует ожидать амнистии и т.д. Но однажды вечером ротмистр Казимеж тихо спел романс Вертинского о пани Ирэне: «Я влюблен в эти гордые польские руки, в эту кровь голубых королей». Слушатели хвалили его, просили повторить, и тогда Антон ревниво заметил:

- А когда Вертинский пел в Каунасе, он пел: «Я влюблен в эти литовские руки».

Ротмистр иронически пожал плечами: «Но так не выходит, в песне так не зпоется». Юлик заспорил раздраженно, а я их мирил, объясняя Антону и его землякам, что действительно нельзя так видоизменять стихотворную строку, но старался утешить напоминанием о том, что Мицкевич писал: «Литво, ойчизна моя!» Писал по-польски, был страстным польским патриотом, а ведь как любил Литву…

Недолго пробыл в камере москвич-архитектор Александр Николаевич. Его арестовали вместе с женой потому, что их дочь и ее муж, работавшие в одном из советских посольств, сбежали и попросили политическое убежище.

Дочь уже много лет была далека от родителей, стала отдаляться с тех пор, как замуж вышла.

- Мы с женой огорчались. Дочка учиться перестала, так и не кончила университет, а ведь начинала очень горячо, знаете ли, увлеченно, серьезно… Муж ее заканчивал дипломатический институт; теперь у этого института несколько игривое название МИМО… да-да, «мимо», будто кличка клоуна или шансонетки… Он уже тогда партийный был и такой, знаете ли, самоуверенный. На нас, стариков, глядел свысока, очень старался казаться настоящим денди; этакие ухватки, которые должны изображать светские манеры; складки на брюках - острее ножа, туфли насандалены зеркально, словечки французские и английские вставляет - «сильву пле», «окей». А на поверку, знаете ли, хамоват и невежа. Наш старший сын - он погиб в Сталинграде - не

жаловал шурина, говорил «пижон», «карьерист». А младший на сестру обижался: за всю войну и дня не было, чтобы он досыта ел, тринадцати лет работать пошел; на юронт хотел, но не взяли - слабенький очень и близорук; и все же на авиазаводе работал не хуже взрослых рабочих… А родная сестра жила с мужем на литерные пайки - там и мясо всякое, икра, колбасы, шоколад. Однако нам, поверите ли, только один раз к новому году две банки каких-то заморских консервов принесла. Но ведь мы с женой не могли, знаете ли, как это в старину бывало, проклясть и наследства лишить. Мы все надеялись, что она образумится, сама станет матерью и нас лучше понимать будет… А теперь вот следователь обещает в лучшем случае по пять лет лагерей. Либо чтоб официально отреклись, знаете ли, через газеты, осудили и прокляли. Иначе, мол, вы тоже соучастники и ответственны, по закону об измене родине. Но ведь это же просто немыслимо. Проклинать свое дитя, как бы она там ни согрешила, проклинать, да еще вот так - по приказу… Этот следователь, такой, знаете ли, развязный молодой человек в погонах, то он меня на «ты» и обзывает всячески, и матом, то вдруг «давайте по душам как интеллигентные русские люди». Это он-то интеллигент! Старший лейтенант, а пишет «архетектор» и «ежидневно». Когда я ему заметил это в протоколе, он еще и нагрубил, и наорал: «Это я по рассеянности описался, а ты грамотного из себя строишь, но хочешь следствие в заблуждение ввести». - «Какое, спрашиваю, заблуждение?» - «Скрываешь, - говорит, - преступные связи своих родственников, изменников родины, и значит сам изменник родины». Он, видите ли, хочет, чтобы я не только проклинал через газеты, но еще и назвал ему всех подруг и друзей моей дочери. Понимаете, зачем? Чтоб он побольше людей мог сюда засадить, свои планы перевыполнить. И вот ведь называет себя интеллигентом, а мне в пример ставил - кого бы вы думали? - Тараса Бульбу! Тот, видите ли, даже сына своего сам застрелил как патриот родины. Нет, уж увольте! Мне, знаете ли, скоро шестьдесят. Я еще.в ту войну сражался. Вольноопределяющимся - вольнопер тогда говорили, - был ранен, Георгия получил, дослужился до прапорщика, снова ранен, потом учился. В партиях никаких не состоял, после октябрьского переворота лояльно работал, и проектировал, и строил, и в Москве, и в других городах. Имею правительственные награды - орден Трудового Знамени и Знак почета, медали, грамоты. Премии получал, благодарности… Когда война началась, я, знаете ли, хоть за полвека уже перевалило, сам пошел в ополчение, взводом командовал. Из окружения мы вышли. Слава Богу, даже не ранило. А потом нашли меня коллеги. Разыскивало

министерство, необходимы специалисты, архитекторы; восстанавливать-то целые города надо. Разрушено знаете ведь сколько. Демобилизовали по особому приказу. Работал я дни и ночи, никаких выходных, никакого отдыха… А теперь извольте - изменник родины. Оригинальный поставлен выбор: либо Тарас Бульба, либо преступник - враг народа…

Нет, уж я слишком стар, чтобы учиться подличать, чтобы по указке проклясть свою дочь. Да еще на невинных людей доносить, обречь их на тюрьму… Нет, уж лучше я сам. И в лагерях ведь люди живут, может быть, и там смогу работать по строительству. Жену очень жаль… За нее тревожно, здоровье у нее, знаете ли, слабенькое: щитовидная железа увеличена, пошаливает. Но духом она твердая - кремень, алмаз чистой воды. Если бы я вдруг ее жалеючи, ослабел и как-то уступил этому… Тарасу Бульбе, она бы не приняла, не простила. То есть по-христиански, вероятно, меня простила бы, но как мать, как жена - никогда. Она, моя Елизавета свет Георгиевна - вот уже больше тридцати лет мы вместе, - шестерых родила, трое умерли маленькими, и вот Сережа погиб, остался у него сынок, наш внучек Сашенька, Александр Сергеевич, как Пушкин, в этом году в школу пойдет. Да, так вот она хоть и спорила с дочерью и с зятем чаще, чем я, и куда более сердито - я даже подшучивал, вот, мол, что значит теща… Но она любит дочь, как бы это сказать, более сильно и, так сказать, безоговорочно, ведь мать. И она ни за что не согласится от нее отступиться. Примет любую кару, но не уступит. Значит, мне и подавно нельзя.

Верховодом у власовцев одно время был Гриша. Он командовал корешами, подставлял их в заместители дежурных, когда очередь выносить парашу доходила до получателей передач и те могли оплатить «заместителей» хлебом или сахаром. В его углу на нарах рассказывались длиннейшие похабные анекдоты. Гриша держался независимо, даже нагловато, но никогда не ссорился с теми, от кого мог ожидать отпора. Зато приставал к более тихим, робким, особенно когда они оказывались дежурными по раздаче хлеба или баланды.

- Опять горбушку от параши начали… И чего ты спросить не можешь как человек? Вчера на ком горбушка кончилась?… На этим старике… Ну и что, что тут нового положили? Порядок есть порядок. Давай горбушку, начиная со следующего… И откуда такие жлобоватые берутся?! Сколько уж по тюрьмам припухает, ничему не научился… И баланду помешай, помешай, потом черпай… А то одним только юшка достанется, а другим вся гуща… Нет, надо ж такое соображение иметь, и на ровной дорожке, наверное, спотыкаешься…

Однажды Гришка пристал с этим к Юлику, чей малый рост, хрупкость и подчеркнутая вежливость, казалось, позволяли задирать. Тот отвечал сухо, но решительно отверг указания всезнающего Гришки:

- То моя метода, пожалста, я сначала наливаю всем юшку, а потом накладываю гущу, так будет рувно.

Гришка стал потешаться над его произношением - рувно-гувно.

Юлиуш побледнел, рот стал тонким, как порез.

- Пошел вон! Преч, хам! Пся крев, власовец, быдло немецке!

Гришка полез драться. Несколько человек стали между ними. Гришка, розовый, потный, орал, брызгая слюной:

- Ну погоди, пся крев, панский выблядок. Я тебе покажу хама, я тебя еще достану, не здеся, так в этапе достану, я тебе отобью потроха… Такая сучка мелкая, а тоже тявкает «хам». Я ж тебя ногтем, как вшу… Я тебя соплей перешибу…

Юлик, серо-бледный, отвечал яростно-спокойно:

- Даже перед смертью скажу: хам, быдло власовское… Ты мне можешь убить, но я и в смерти, и после смерти буду презирать тебя и таких, как ты. Я и в гувне умру, как чловек, а ты и на шелку, и на злоте здохнешь, як жаба…

И Гришка замолк. Забрался в свой угол, ни с кем больше не заговаривал. И потом еще несколько дней держался почти скромно.

В ту ночь мне спалось плохо. Накануне был неприятный разговор со следователем. Московские следователи - их было трое - вели следствие по «чужому делу» и поэтому относились ко мне чаще всего равнодушно, а иногда почти доброжелательно. Они писали все, что я им говорил, не грозили, не пытались ловить. Но один из них, молоденький старший лейтенант, который обычно насупленно серьезничал и важничал, хотя и честно спросил, как именно пишется «диссертация», после очередного допроса завел разговор.

- Как же это вы имели внебрачную связь на фронте. Из дела видно, что старший лейтенант Любовь Ивановна считалась как бы ваша жена… А у вас семья, дети. И вы еще научный работник, даже педагог и, наконец, были коммунистом?

Я разозлился и возражал немногим умнее:

- Вы, старший лейтенант, кажется, забываете, что я хоть и подследственный, но старше вас по возрасту и по воинскому званию. Ваше дело вести следствие, а не читать мне нотации. Если вы сами не чувствуете неловкость положения, то я, во всяком случае, не желаю ни объясняться по этим вопросам, ни слушать нравоучения…

- Вы что же, оскорбляете следствие, вы говорите «мальчишка»?… За это я могу вас в карцер направить.

- Ничего подобного я не говорил. И если вы меня отправите в карцер, объявлю голодовку.

Нелепая перепалка продолжалась несколько минут. Все кончилось без последствий, но я еще долго злился на себя. Ведь поводом для неприятного разговора оказалась моя глупость.

Второй следователь - спокойный медлительный капитан - однажды начал расспрашивать меня об отношениях с Любой. Я рассказал ему, как в первый раз поругался с Забаштанским, когда он пытался сводничать, проводив Любу к заместителю начальника Политуправления. Тогда следователь записал все это и убедил, что так легче объяснить причины вражды между мной и Забаштанским, если свести все к ссоре из-за бабы: это будет в мою пользу. Но потом я одумался: а что, если дело все-таки пойдет в трибунал, и, значит, там придется говорить о Любе, о нашей трудной любви, о пакостных сплетнях Забаштанского? И тогда я упросил изъять злополучные страницы из протокола. Это стало поводом для упреков добродетельного лейтенанта. Мне не спалось. Укрывшись от волчка за спиной храпевшего соседа, я читал, осторожно курил, дымя под нары, и стал жевать яблоко из недавней передачи.

В двери щелчок-щелчок. Впустили новичка. Бледное лицо, большие темные глаза, густые черные усы. Светлый штатский костюм хорошего покроя, но зеленая мундирная шинель и фуражка с выпуклым верхом. Он стоял у входа, испуганно и растерянно оглядываясь. Я окликнул его тихо. Он подошел и посмотрел на меня очень пристально, тоскливо и жалобно.

- Откуда?

- Нэ понима… нэ понима…

- Sprechen Sie deutch?[15]

- Наин… но…

- Инглиш?

- Но… но…

- Франсе?

- Oui… Oui… O, monsieur, est-ce que je serais fusille?[16]

Объясняю ему, как могу, что здесь Бутырская тюрьма, что здесь не расстреливают, что это камера для следственных. Не могу вспомнить, как по-французски «следствие», талдычу:

- Ici ont seulment demand questions… Ici est un prison pour les cas moins graves.[17]

Он спрашивает, глядя все так же тоскливо:

- Quelle ville est ici?[18]

Совсем как в старом анекдоте о проспавшемся пьянице: «К

черту подробности, в каком я городе?»

- Моску!

Это его несколько успокоило. Тогда начал спрашивать я. Он представился - профессор Ион Джорджеску из Бухареста, уже полтора года, нет, больше - кель муа? огюст? - значит, уже девятнадцать месяцев он в тюрьме. Он всхлипнул и смотрел пристально, все тоскливее и горестнее. Я заметил, что он смотрит на яблоко… Как же я, болван, не сообразил, ведь почти два года в тюрьме без передач, и южанин… Я достал из-под подушки яблоко и протянул ему. Он взял длинными подрагивающими белыми пальцами. Плакал, сморкался, кусал, плакал, жевал, всхлипывал…

На белой шее сновал большой кадык.

Я протянул ему печенье.

Он растроганно хлюпал носом и снова благодарил, благословлял. Потом он представился подробнее: профессор богословия и шеф «Железной гвардии».

Услышав это, я прыснул в кулак, чтобы смехом не разбудить соседей и не прогневить надзирателя.

Он смотрел вопросительно, удивленно:

- А кто вы?

- Советский офицер. Майор. Коммунист и еврей.

Он заморгал часто-часто, испуганно, потом опять начал плакать.

- Mon Dieux! Я - фашист, антисемит и вот первую милостыню получаю от коммуниста-еврея…

Он пытался говорить еще что-то патетическое, но хлопнула кормушка, и надзиратель сердито, хрипло зашептал:

- Это что за разговоры? Подъема не было. Молчать сейчас же.

Порофессор Джорджеску вскоре освоился в камере. Он поражал всех тем, как легко запоминал русские слова и стремительно учил язык. Первые уроки давал ему я - советовал учить наизусть стихи. В камере оказался томик Пушкина. Нам полагалось получать 20 книг на 10 дней. Заказывать ничего нельзя было, но иногда удавалось задержать «недочитанные книги». Так мы задерживали поэмы и стихи Пушкина. И прилежный профессор уже через три дня патетически декламировал:

Я помньу чюдное мыпювение,
Пиридо мной явилас ты…

А еще через неделю он потешал обитателей власовского Гришиного угла уже целыми речами:

- Сиводни балянда очин жидкий, биляд буду, нада гаварыт дыжурны, чито мы так бу-дым совсем доходяга, биляд буду…

Друзей у Джорджеску в камере не было. Он оказался слишком сладким, слишком подобострастным, заискивал перед всеми, в общем, «шакалил». Каждое утро он бросался к параше, спешил подменить одного из дежурных, и за это ему давали дополнительно полчерпака баланды, а если дежурный был из получателей передач, то еще что-нибудь. Он стал бессменным парашеносцем, или «парашютистом». В бане он старался услужить то тому, то другому, намылить спину, полить на голову. Он доедал остатки баланды и вылизывал чужие миски. Он подбирал окурки - не просил, как принято, с достоинством «дай сорок» или «дай губы обжечь», а глядел все таким же скорбно-умоляющим взглядом, как в первую ночь на мое яблоко, в рот курившему, пока тот не совал ему бычка, иной раз сердито приговаривая:

- Да не смотри ты, как голодная собака. Гришка издевался над ним всласть, затевая споры на религиозные темы:

- Ну а где Бог? Ты скажи - где? На солнце? На млечном путе? Может, на какой звезде? А как же он Адама с глины лепил? А где те древние мамонты были у Ноя? Нет, ты скажи, где были мамонты и этие, как их, ископаемые драконы?

Джорджеску возражал подобострастно, суетливо повторяя:

- Пожальства, пожальства… ниет… это пожальства ниет, Бог есть симбол, святой душа! Ниет, духа… Да, пожальства, вы иметь душа - то есть дух… Вы тоже есть дух. Вы не знать, но вы есть дух, ви тоже иметь от Бога святой дух…

Но Гришка не поддавался ни на какую лесть и завершал дискуссию, уверенный в своей победе:

- Все это херня! И никакой я не дух, а человек. А ты, тоже еще профессор, парашный ты профессор… твою бога духа мать. Педераст ты, вот кто!

Джорджеску уходил в свой угол понурый, утирая слезы. Кто-нибудь сердито обрывал торжествующий гогот Гришки. Злополучного профессора иногда жалели - до чего унижается, а ведь интеллигентный человек, да еще политический деятель. Но уважать его было невозможно. Под конец он стал и вовсе «шестеркой» - личным лакеем старейшего обитателя камеры инженера Добросмыслова.

На вопросы о работе и специальности Добросмыслов отвечал:

- Я инженер по малярии. Да-да, нечего удивляться, я специалист по сооружениям и механизмам для борьбы с малярией. У меня есть изобретения, статьи в журналах,

брошюры…

Ничего более вразумительного о его деятельности я так и не услышал.

О чем бы в камере ни спорили, в любую оживленную беседу либо если чей-нибудь рассказ привлекал нескольких слушателей, Добросмыслов немедленно включался, спрашивал, отвечал на вопросы, заданные не ему, поправлял, объяснял, вспоминал подобные случаи из своего опыта, из жизни своих знакомых. Он всегда высказывал только непререкаемые суждения о чем бы ни шла речь - об атомной бомбе, о разведении кроликов, о сравнительных достоинствах курортов Кавказа, Крыма и Калифорнии, о шахматных чемпионатах, о женщинах, о лыжах, о теннисе, о футболе, о балете, о стихах, о покорении полюса, о любовных похождениях Маяковского, о гонорарах артистов эстрады, о жизни на Марсе, о мусульманских обычаях…

Он был памятлив и туго-туго начинен разнообразными сведениями, почерпнутыми, видимо, из отрывных календарей, журнальных отделов «смеси», викторин и т.п., и привык к роли высокоэрудированного, энциклопедически образованного всезнайки.

Возражение по любому, даже самому пустяковому поводу он воспринимал как обиду, как посягательство на его личное достоинство.

- Но-но, позвольте. Что же это вы говорите… Что же по-вашему получается, что Клавдии Шульженко еще нет пятидесяти? Чепуха какая! Да вы послушайте, что я вам скажу, я был еще школьником, в 8-м, нет в 9-м классе, и я тогда руководил самодеятельностью… - Следовал обстоятельный рассказ о школьном хоре, театре и оркестре, которыми он руководил, о репертуаре, о знаменитых артистах, народных и заслуженных, которых восхищали его разносторонние дарования и многообразные познания в искусствах.

- …Так вот, уже тогда Клавдия Шульженко была заслуженной, приезжала из Ленинграда… А с тех пор как-никак уже 16-17 лет прошло.

Ссылки на факты не могли его поколебать.

- Но я же вам авторитетно говорю… Понимаете, это я вам говорю.

Если и после такого аргумента с ним не соглашались, он возмущался до заикания, отворачивался, уходил в другой конец камеры, принимался играть в шахматы или в шашки.

- Не надо было вам ферзя дергать в авантюры - ведь не со слабаком играете. Я сразу заметил, куда целитесь… Я ведь и на пять и на шесть ходов легко предвижу… Если бы нервы были в

порядке, если бы сосредоточиться в настоящей обстановке, как полагается на матчах, я мог бы и на восемь-девять ходов рассчитать. Я еще в 38-м году имел вторую категорию. Потом как-то не пришлось оформить первую: работа, война. Но я и мастеров обыгрывал. Играл и на городских турнирах, и на республиканских… Да-да… Эх, ну это я просто зевнул, отвлекся и зевнул… Это не считается, надо переиграть. У нас же товарищеская игра без часов и в таких условиях. И на зевке выигрыш нельзя считать… Я вот так пойду, и вы можете быть уверены в скором и печальном для вас конце. Так сказать, вы жертвою пали в борьбе роковой… Нет, нет, обратного хода нельзя. Это что же за игра будет, если вы будете каждый ход обратно брать. Так любой ребенок у Ботвинника выиграть может. То есть, что значит, что я сам брал… Не понимаю даже, как можно сравнивать. Я просто зевнул случайно, а теперь у меня комбинация, тактический маневр… Я вас переиграл, вынудил подставиться, а вы теперь захотите на два или три хода возвращаться… Так не может быть никакой игры. Ах, вы только один ход переиграете? Ну что ж, уступлю, как более слабому. Я могу вам даже фору дать. Хотите, сниму слона или две пешки? Почему же вы не хотите, для меня это выгоднее, чем давать вам ходы обратно, привык к честной спортивной игре, а не к детским забавам туда-сюда и обратно. Смотрите внимательно, думайте, думайте, больше обратного хода не дам… Это почему же я должен молчать? Здесь не Колонный зал. Если вам это мешает думать, затыкайте уши. Ну чего же вы ждете? Ходов у вас не так много, я вижу. Если б мы с часами играли, вам бы уже давно записали нолик. Надумали наконец? Ну что ж, приступим к окончательному разгрому, к сокрушительной атаке на командные позиции растерянного противника… Марш вперед, марш вперед, черные гусары! Так, так… вы, значит, так, а мы этак, или даже вот так-так… Нет, нет, я еще не поставил и мы ведь не уславливались «пьес туше, пьес жуэ»[19]. Я не переигрываю, я еще думаю, и пожалуйста, не торопите меня, это все-таки шахматы, а не подкидной дурак… Послушайте, Гриша, вы не можете потише стучать вашими козлами и, пожалуйста, не гогочите так оглушительно, у меня даже в ушах зазвенело, надо же все-таки считаться с другими людьми. Здесь играют в шахматы, это требует напряжения мысли…

Он играл действительно лучше многих сокамерников, во всяком случае, лучше меня. Однако все же иногда проигрывал и тогда обижался, доказывал, что он случайно ошибся, нервничал, отвлекся, требовал переиграть, искал, где именно допустил оплошность, объяснял… Если ему удавалось при таком обратном

движении выиграть, он торжествовал, призывал свидетелей, объявлял прежний проигрыш несостоявшимся. Но если партнер отказывался переигрывать или ему надоедала возня с воспоминаниями партии, Добросмыслов начинал его ненавидеть.

- Это вы не можете вспомнить, а я помню еще и вчерашние партии, и ту, которую выиграл у Алексея Михайловича, и ту, когда Юлиуша заматовал на 30-м ходу, я все помню… Так, значит, вы отказываетесь, решительно отказываетесь? Это, простите, даже непорядочно… Это не спортивное отношение к игре. Ну что ж, я и сам могу переиграть. Вот вы и вы, идите сюда, смотрите, было так…

Посланный грубо подальше, он пугался, отходил оскорбленный, скорбный и ненавидел обидчика до следующего вечера или даже целых двое суток, пока не сталкивался с другим врагом. И тогда с предшествующим противником заговаривал опять дружелюбно.

Добросмыслов единственный в камере получал свидания с женой; передачи ему приносили еженедельно и довольно обильные. Он угощал приятелей, состав которых менялся в зависимости от спортивных и дискуссионных обстоятельств. Жмотом он не был, но любил поговорить о своих дарах и подробно расспрашивал:

- Ну, как белая булка? После пайки-то ведь совсем другой вкус? И витамины в ней, и состав белка иной. А сахар, чувствуете, ведь совершенно не такой, как тюремный? Здесь они дают американский, тростниковый. Он и менее сладок, и слабый какой-то, сразу тает. А наш и слаще, и крепче. Лепешки это моя теща жарила, узнаю почерк, и, конечно же, на русском масле… Постным она только заправляет селедку, ну там винегрет, салат, вообще холодные закуски, а жарит либо на русском, либо на сливочном…

О своем деле он говорил охотно, многословно, однако не очень вразумительно.

- Нас большая группа, следствие считает, что мы создали «клуб либеральных интеллитентов». Некоторых уже осудили, всех по 58-10 и 11. А меня вот еще держат под следствием. Меня называют лидером, вождем. Уже несколько моих сослуживцев и знакомых осудили, всех по ОСО; большинству 5 лет, одному - 8. Он, говорят, упрямился, отказывался. Двоим, кажется 6 лет… Но как вы думаете, что могут дать мне, если я, так сказать, искренне признаю все, ничего не утаиваю от следствия? Я уступаю следователю, даже когда он дает свои, более резкие формулировки, с которыми я не согласен, я иду навстречу. Я не согласен с тем, что я лидер, но понимаю, что спорить с ним

нельзя. Могут и в карцер, и всего лишить, и еще похуже… У меня здоровье очень слабое. Даже в армию не взяли - у меня был туберкулезный процесс, почки и мочевой пузырь очень неважные - видите, как часто приходится к параше. Да, спортом я, конечно, занимался, и теннисом, и пинг-понгом, и греблей. Могу сказать, я классный спортсмен. Но это мне именно врачи рекомендовали. Однако в волейбол и футбол я уже не играю, только сужу. Считаюсь как судья высшей категории… Да, да, здоровье у меня очень слабое… Я ведь работал по малярии, в болотах, в Закавказье, в Средней Азии еще молодым человеком, надорвал силы. А во время войны я имел двойную броню, по Нар-комзему и Наркомздраву. Теперь они называются министерства. Работал круглые сутки. Все технические проблемы на мне были уже не только по малярии, но вообще по осушке болот… Пока война шла, я нужен был, тянул один за десятерых, а потом летом, как стали возвращаться демобилизованные, меня забрали, и вот уже пятнадцать месяцев под следствием. Меня обвиняют, что я вел пораженческую, антисоветскую пропаганду в двух министерствах и среди знакомых. И следователи хотят, чтобы я был лидером. Вы, говорят, самый авторитетный, самый образованный изо всех. Вы и есть вождь. А приемы у них такие: один капитан помоложе, бывает крайне груб, ужасно грозит, а второй, подполковник, совсем напротив, настоящий интеллигент, всегда корректен. Это он разрешает мне свидания, иногда дает почитать газету; он знает, что я спортсмен, приносит «Советский спорт», один раз даже через капитана передал. Только в камеру нельзя брать, я прямо там читаю… Но они оба так умеют подловить, вроде бы и не спрашивают, а просто беседуют о том, о сем и вдруг ловят вас на слове, а попробуйте возразить, это уже значит неискренность, значит сопротивляетесь следствию. Очень тонкая психологическая работа. Один действует великодушием, любезностью, предупредительностью - ему просто неловко отказать, другой берет строгостью и то внезапным оперкаутом, как говорят боксеры, то прямым грозным напором. Возможно, он только пугает, но у него такой взгляд становится, кажется, вот-вот убьет, изувечит. Нет, нет, меня ни разу и пальцем не тронули, и в карцере я не был. Только грозили. Но капитан два раза лишал меня передач. Это так мучительно, две недели на одной баланде и хлебе с кипятком… У меня началась бессонница, боль в груди, подполковник даже велел перевести меня в больницу. Теперь уже полегче стало. Теперь допрашивают редко, раза два-три в месяц, в прошлом году, бывало, ежедневно и целыми неделями спать не давали. Вызовут на допрос после отбоя, возвращаешься к подъему. А днем надзиратели не позволяют уснуть. Этого и

железный не мог бы выдержать… Теперь они говорят, что следствие идет к концу. Передадут, наверное, в ОСО, остались только главный лидер - это значит я - и еще несколько человек, может быть, в суд пойдет. Я даже не знаю, что лучше. Ведь дают разные показания. Там один инженер-агроном из Наркомзема на очной ставке меня так оскорблял. Я никогда бы не мог подумать. Мы, правда, не были близко знакомы, но он казался мне человеком культурным. А тут при следователе орал на меня, как хулиган, матом, ничего не хотел признавать. И чего добился? Его в карцер отправили уже в третий раз… Сам же себе вредит по глупости…

Когда в первый раз при мне Добросмыслова увели на допрос, он вернулся довольно скоро, веселый и довольный. Подписал заново старые, но исправленные протоколы.

- Подполковник велел. Этот капитан все доказывал мне, что я вступал в кандидаты партии для того, чтобы вести подрывную работу… А я вступил в 1943 году во время войны, как патриот. Меня уже начали оформлять в действительные члены. И характеристики были, и рекомендации. Но капитан потребовал, чтобы я признавался, что вступал с вредительским умыслом. Ведь по делу, говорит, видно, что вы уже в 41-м году вели пораженческие разговоры. Он так нажимал, так грозил, что я подписал все, что он хотел… А теперь вот подполковник велел заменить протокол, это, говорит, самооговаривание, и написал просто, что я вступал в партию ради карьеры, чтобы иметь лучшее положение на службе… Я стал было возражать, а он говорит: «Вы только что сами сказали, что всегда знали, что у членов партии более широкий круг интересов, больше возможностей в любой отрасли… Ведь сказали?» А я и правда так примерно объяснял. Тогда он спрашивает вежливо, но так серьезно: «Зачем же мы с вами будем заниматься крючкотворством, ведь это и есть соображения карьеры. Мы вот сами, без ваших просьб ликвидировали протокол, когда вы на себя наговаривали. Так вы уж будьте искренни». Он говорит, что скоро конец, и суд учтет мое чистосердечное раскаяние перед следствием. А потом дал мне новый номер «Советского спорта»; представляете себе, московское «Динамо» едва не проиграло тифлисскому, такой был бой, и как описан, прямо Бородино…

После второго допроса Добросмыслов вернулся молчаливым, угрюмым и понуро сел на постель. Его лежак в самой середине камеры, у колонны, выпирал на полметра, отделенный узкими проходами от нар справа и слева. Недолго помолчав, он стал рассказывать.

- Ох, и запутал меня этот капитан. Опять запутал, подловил и

запугал. Теперь посадит еще одного человека. И опять невинного. А я опять буду кругом виноват. Жена на свидании жаловалась, что другие жены с ней не хотят разговаривать, проклинают меня… Но что я могу поделать? Вот сегодня капитан вызвал подписать заново старые протоколы. Там опять что-то переделали… Дал почитать «Комсомольскую правду», очень интересная статья про атомную бомбу, это я потом расскажу, и про турнир шашистов… Я начал было читать, но он стал говорить еще о чем-то, о спорте, о разном и так, между прочим спросил:

- А вы такого-то знаете?

- Конечно, знаю, мы с ним два года вместе работали. Потом он на фронт ушел.

- Вы, говорит, еще в начале войны встречались. (Они удивительно осведомлены, иногда мне кажется, что они буквально все знают) А сколько раз и где?

Ну я ничего не подозреваю, этот человек ведь член партии, фронтовик, вспоминаю, мы с ним на совещаниях вместе бывали, в коридорах случалось встретиться, мы на одном этаже работали; в буфете, кажется, в метро…

- А разговаривали?

- Разумеется, но просто как знакомые, мы домами не встречались.

- О чем же все-таки разговаривали?

- Я, хоть убей, не помню, случайные, такие краткие встречи… О работе, наверное…

- Ну как же так? Ведь война уже началась, Москву бомбили. Неужели вы об этом ни слова не говорили? Вы скрываете, хотите запутать следствие…

- Да нет, говорю, вероятно, и об этом тоже… Но клянусь вам, говорю, что не помню, что именно и когда…

- Ну что же вы, радовались, что наша армия отходит, а немцы бомбят Москву - советскую столицу?

- Да что вы, что вы, ни в коем случае! Никогда! Да кто же мог бы?! Напротив, огорчались, конечно…

- Огорчались? Жалели, значит?

- Конечно.

- Ну ладно, читайте пока газету. Стал я читать, а он сидит и пишет, а потом подсовывает мне протокол: «Такой-то служил со мной там-то… в июле и августе 41-го года мы систематически вели пораженческие разговоры, он доказывал, что Красная Армия панически отступает, что немецкая авиация превосходит нашу и Москва должна неизбежно пасть…»

Я говорю, как же так, ведь этого же не было, я так не говорил. А он как стукнет кулаком по столу и глаза опять, как у убийцы,

орет матом.

- Ты, сволочь, вилять вздумал, ты только что признался, а теперь назад, как рак? Оскорбляешь следствие, мерзавец, смеешь нахально врать. Что же это я сам придумал что ли? Я тебя в холодный карцер на двадцать суток, сгниешь на хлебе и воде…

Так орал, что я даже расплакался и подписал.

- Как же вы могли? Да вы понимаете, что наделали? Неужели вы думаете, вам легче будет, если еще одного невинного посадят? Ох и дерьмо же вы, господин спортсмен!… Вы обязаны теперь немедленно писать жалобу, заявление, что вас вынудили дать ложные показания… Вот пример, как трус становится подлецом… Да что вы ему объясняете, это же не человек, а мокрица!

Добросмыслов беспомощно моргал, хныкал, сморкался, пытался объяснять, но постепенно приходил в себя и снова петушился.

- Что значит «невинный»? Я сам невинный, а вот меня лидером объявили. Что же я могу поделать?… Это выше моих сил. Какое еще заявление?! Вы что, с ума сошли? Он же меня убьет, сгноит в карцере. Попрошу все-таки выбирать выражения. Вы не имеете права оскорблять! Видали мы таких героев… У меня здоровье подорвано… Я человек умственного труда, и нет такого спорта, чтобы в холодном карцере с туберкулезом, с больными почками. Я вообще не желаю с вами разговаривать. Не читайте мне морали, вы еще не доросли…

А через полчаса он уже играл в шахматы с неизменно преданным ему Джорджеску: «Марш вперед, марш вперед, черные гусары» - и хвастался, что выиграл, продумав комбинацию за шесть ходов вперед…

Глава тридцать третья
ТОЛЬКО СПРАВЕДЛИВОСТИ…

В октябре московское следствие было наконец закончено. Но я напрасно надеялся, что следователи отпустят меня, убедившись в нелепости дела, к тому же так явно устаревшего. Ведь тогда, весной 45-го года, меня обвинили в клевете на союзников, потому что я говорил: «Черчилль был и будет врагом Советской власти», доказывал, что в Германии нам придется соперничать с американцами и англичанами и добиваться дружбы немцев, что немецкие рабочие должны быть нашил союзниками против англо-американских капиталистов…

В марте 1945 года председатель фронтовой парткомиссии, седеющий подполковник в очках, бубнил ровным, хрипловатым голосом, что все эти рассуждения «демагогия с троцкистским душком… Грубые политические ошибки, порочная недооценка единого международного антифашистского фронта и руководящей роли Советского Союза… непонимание или намеренное нежелание понять исторические установки партии и лично товарища Сталина по линии внешней политики в свете Тегеранской и Ялтинской конференций…»

А месяц спустя следователь контрразведки показал аккуратно напечатанный листок: «…систематические антисоветские высказывания, выразившиеся в защите немцев, в клевете на союзников, клевете на советскую печать и на советского писателя Эренбурга…»

Но с тех пор прошло уже больше года, в лагере я читал газеты, знал о фултонской речи Черчилля, о начале холодной войны. Протокол допроса об Эренбурге был еще в конце первого следствия изъят из дела. Позднее стало понятно - это произошло после статьи Александрова против Эренбурга. Я был уверен, что остаюсь в тюрьме только из-за волокиты, из-за перегруженности следственного аппарата. Но вот маленький старший лейтенант, не знавший сколько «с» в слове диссертация, какая разница между философией и филологией, вызвал меня и сухо-деловито сказал: «Исполняется 206 статья УПК об окончании следствия. Материалы дела вам известны, надо подписать протокол». Меня это ошеломило.

- А я рассчитывал на исполнение 204 статьи, на прекращение дела.

- Это может теперь только прокурор. Но прокуратура передает ваше дело в трибунал.

- Почему? Ведь все же совершенно очевидно. Нелепые, абсурдные обвинения… Явная клевета.

- Трибунал в этом разберется. Тут разные материалы. Есть за, есть и против, дело большое, сложное. Видите, сколько бумаг, целые две талмуды… Трибунал объективно разберется, вызовут свидетелей, обратно вас послушают. А сейчас давайте подписывайте протокол об исполнении 206-й…

Я попросил обе папки с делом, чтобы прочесть их, попросил бумаги, чтобы делать выписки: я знал, что имею на это право. Он рассердился:

- Вы ж уже два раза исполняли 206-ю… Тут же в деле есть ваши собственноручные показания. А я спешу, у меня знаете сколько работы. И бумаги вам не положено.

Я настаивал, он злился.

- Вот видите, как вы относитесь к следствию, это тоже показывает ваше политическое лицо.

Я ссылался на законы, на дух и букву. Он еще больше злился, даже упрекал меня в бюрократизме и формализме. Потом все же позволил мне перелистать вторую папку - новые материалы, - но все торопил, обиженно дулся. Я прочел отзывы, полученные московскими следователями. Генерал Бурцев писал особенно подло, вроде бы объективно, сначала коротко о достоинствах, знаниях, заслугах, а потом главное: «Всегда считался оппозиционером, выступал против непосредственных начальников… морально неустойчив в быту… имел связи с сотрудницами и гражданскими женщинами, допускал серьезные политические ошибки, нарушавшие работу отдела». Полковник Сапожников и Брагинский из Главпура писали спокойно и доброжелательно, а полковник Селезнев - по схеме, прямо противоположной Бурцеву: в начале об отрицательных чертах - вспыльчивость, резкость, самоуверенность, «граничащая с нарушением дисциплины», а затем подробнее о всяческих достоинствах.

Чтение дела, как ни брюзжал следователь, меня сново ободрило, я был почти уверен, что если не прокуратура, то уж трибунал обязательно освободит.

Несколько дней спустя дежурный подозвал к кормушке: «Ваше дело за Главной военной прокуратурой».

А еще через два или три дня меня вызвали «с вещами». Пока собирался, наспех запихивая в мешок пожитки, сердце колотилось часто-часто, мысли сновали бестолково - с какой интонацией выкликал дежурный, не означала ли она свободу? Что снилось накануне? Может быть, все-таки освобождают? И верил, и запрещал себе верить. Все съедобное роздал соседям,

прощался, уже почти не видя лиц, не слыша, что говорят. Кто-то убеждал: «На волю идешь. Факт на волю, ведь не объявляли, что за трибуналом», другой просил позвонить его жене, повторял номер телефона и чтоб она в передаче послала семь коробков спичек, что будет значить, что я на воле. Скептики договаривались, где в бане написать номер новой камеры или срок.

Потом дежурный уже в коридоре объявил: «Ваше дело за трибуналом МВО», и я, расслабленный, обмякший, словно пробежал десять километров, потащил свой матрац и барахло в соседний коридор, в «подсудную» 105-ю камеру. Точь-в-точь такая же, как 96-я, она вмещала по меньшей мере вдвое больше обитателей. Нары были сплошные, все лежали вплотную. Мне опять повезло: как недавний лагерник и бывший фронтовик я привлек благосклонное внимание нескольких старожилов и попал в лучшую, приоконную часть. Моими соседями были: доктор Михайлов из Воронежа, профессор физики москвич Виноградов, подполковник польской армии пан Зигмунт, одесский хозяйственник Николай Иванович и последний московский розенкрейцер Дмитрий Саввич Недович, поэт и ученый, переводчик «Фауста».

Михайлов попал в плен в 41-м году, работал врачом в лагере военнопленных в Румынии, лечил, помогал устраивать побеги. В 44-м его судил фронтовой трибунал и оправдал. Он снова стал военным врачом, майором медицинской службы, разыскал родных, написал жене, в 1946 году был демобилизован и поехал в Воронеж, куда навстречу ему ехали жена и сын. Арестовали его в Москве, на Курском вокзале патруль с опознавателем из бывших пленных.

- Родина с тебя профессора сделала, а ты, сволочь, своими руками подавал врагу оружие против родины. Кто ж ты после этого, профессор или гад?

Особняком держались трое чеченцев. Старший, Ахмет, был похож на царя Николая II, но только посмуглевшего и темноволосого. Молчаливый, сдержанный, он редко разговаривал даже со своими земляками, казался высокомерным. Второй помоложе - высокий, бледный, узкое лицо стиснуто у большого острого носа; третий - маленький, щуплый, черно-черно щетинистый до глаз. Однажды во время раздачи баланды кто-то обругал носатого, и тот, яростно взвизгнув, бросился на обидчика, с неожиданной силой расталкивая всех, кто стоял на пути. Но Ахмет окликнул его, вернее, просто сказал чуть громче обычного одно-два коротких слова, и тот мгновенно остановился, сжался молча, залез поглубже на нары и сел лицом к стене.

Несколько раз в день чеченцы молились, тихо бормоча и глядя на стену. В камере молились еще несколько человек. Не помню, чтобы кто-нибудь зубоскалил или пытался обличить «религиозный опиум». Свобода совести в тюрьме была неприкосновенна.

Получая передачи, я, как водится, угощал прежде всего иногородних, тех, кто не имел ничего, кроме тюремного пайка. В первый раз Ахмет был удивлен и недоверчиво оглядывал предложенные ему и его землякам луковицы, печенье, сахар. Потом кивнул, разрешил младшим взять, поблагодарил с непроницаемым достоинством, сам ничего не тронул. Но на следующий день он заговорил со мной, спросил: откуда? Отец, мать есть? Брат есть? Дети есть? Был на войне? Был в плену? Какую должность имел раньше? А на Кавказе был?

Ахмет никогда не обращался ко мне, когда я читал, играл в шахматы или в козла, разговаривал или был задумчив.

Но заметив, что я на него смотрю, он сначала едва приметно улыбался и вежливо замечал что-нибудь вроде: «Хорошую ты книгу сегодня читал, да?…» - или: «Красиво говорил вчера профессор. Я не все понимал, но слышал - очень красиво говорит: ученый человек!»

Только убедившись, что его обращение встречено сочувственно, вступал в разговор.

Отвечая на вопросы, Ахмет охотно рассказывал о своей жизни.

- Мы хорошо живем. Правильно живем. По закону. У вас есть люди воруют. У нас - нет. Кто украл, не будет жить у нас. Родной отец зарежет.

- Ну а как же баранта? - спросил я осторожно. В прошлый раз он сам горделиво рассказывал, как мальчишкой ездил на баранту, угонял скот с пастбищ ингушей.

- Баранта не значит красть. Баранта мужчинское дело, джигит на баранту едет, джигит - храбрый человек, а вор - трус. Новый закон - советский закон говорит, чтоб одна жена была. Это хороший закон для русских, для осетин хороший, для грузин хороший, для бедных людей хороший, кто имеет мало кушать, маленький дом. А кто имеет большой дом, имеет деньги, имеет разный имущество, тогда есть другой хороший закон, старый закон шариат: хочешь - две жены, хочешь - три жены. Но чтоб по закону, честно, чтоб был порядок. Одна жена - давай квартиру, давай кушать, другая жена - тоже давай квартиру, давай кушать. Русские водку пьют, ругаются некрасиво на мать. А почему так? Потому что русская женщина не знает никакой порядок, гуляет, куда хочет. И мужчины не знают порядок. Закон говорит: одна

жена, один муж, а никто не слушает. Муж гуляет к чужой жена или девочка. Жена гуляет к чужой муж. У нас так не может быть. Вот я имею три жены по закону. Всем дал своя комната, давал кушать. Я был в совхозе начальник ферма. Имел дом, имел сад, имел барашки, все имел… Есть у нас школа, есть клуб, там кино показывают. Один раз в неделю кино. Кто идет? Женщины, девочки и молодые мальчики, каким прикажут. Почему прикажут? А так надо. Вот тебе пример, мои жены идут в кино; молодые идут, старшая должна думать про дом, про дети, помогать маме, - молодые жены идут, сестры идут, брата молодая жена идет. Но нельзя одним женщинам ходить. Я старший, я приказываю младший брат, или племянник, или сын соседа хороший мальчик - иди, проводи мои женщины, смотри, чтоб порядок…

- Какой порядок? Ну, если чужой мужчина будет говорить с моя женщины, мой брат или кто провожает будет его резать… А если жена будет говорить с чужим мужчиной, ее тоже резать… Нет, жалеть нельзя. Если жалеть - порядка нет. Если моя женщина говорит с чужим мужчиной, смеется, как русская, мой брат, мой племянник, мой друг должен его зарезать и ее зарезать. Если не будет резать, я его зарежу…

- …Нет, много раз так не бывает, только мало было. Потому что все знают, если надо, так будет…

Два года до войны один человек в нашем ауле - хороший джигит, на шофера выучился, ездил далеко, в Россию ездил, за Кавказ ездил. У него жена была одна - красивая, молодая. Он думал - она хорошая. Долго ездил, приехал, когда не ждали, приходит в свой дом, видит чужой мужчина. Жена кричит: давай развод, я тебя не хочу любить, я эту мужчину хочу любить! Мужчина кричит: новый закон позволяет развод, давай развод, я тебе деньги дам, барашки дам. Тогда этот джигит взял кинжал, его зарезал и жену зарезал… Сын был маленький - два год или три год - тоже хотел зарезать, но не мог, жалел; думал, мамина кровь - плохая кровь, но тоже есть моя кровь… Очень думал, даже плакал, но сына не резал. Потом был суд, прокурор кричал «расстрел надо». Но весь наш аул пришел в город, где суд. Все мужчины пришли, старики ходили к судье, ходили в милицию, ходили исполком, везде говорили: ваш новый закон хороший, наш старый закон тоже хороший. Надо уважать все законы. Если будет расстрел, тогда судью зарежут, обязательно зарежут, потому что нельзя расстрелять джигита, он по закону жил. Если будет ему плохо на суде и в тюрьме, тогда судье будет плохо и милиции будет плохо. Все чечены будут обижаться. Надо уважать наш закон… Судья был умный, долго говорил, долго судил.

Присудил три года условно за некультурность.

Сергей Иванов, бывший чемпион Союза по десятиборью, попал в плен еще в 1941 году в Эстонии, его увезли в Рейнскую область, он батрачил у зажиточного крестьянина, через год уже говорил по-немецки и бежал в Швейцарию. Там его интернировали. В 1945 году он уехал с первой же группой репатриантов и был арестован в фильтрационном лагере. Следователь требовал признаться, какое именно задание он получил и от какой разведки - американской, английской или швейцарской. Сергей в отличие от других пленников был по-настоящему крепок - в Швейцарии жил сытно, тренировался - и по молодости твердо верил, что невинного нельзя осудить, ведь есть же закон. Обиженный следователь, ничего не добившись, закончил дело, сказав на прощанье:

- Вот если бы ты раскололся по-хорошему, чистосердечно, то поскольку задания не выполнял, только намерение имел, получил бы 5-7 лет лагеря, а там зачеты, через три года был бы дома. А теперь пойдешь, как обыкновенный изменник родины, и радуйся, если десятку получишь: такого упорчивого на каторгу надо на 20 лет…

Днем меня вызвал дежурный: «Давай слегка» (то есть без вещей, без пальто). Повели вниз через «вокзал», в маленький коридор, мимо уборной, где летом я испытал живительное блаженство первого знакомства с санаторием Бутюр.

В комнате за простым деревянным столом сидел человек с густой седой шевелюрой и седой бородой - облик интеллигента конца XIX века.

Взгляд из-под бровей пристальный, изучающий.

- Я ваш адвокат Александр Владимирович Х., пригласили ваши родные. - (Вполголоса, быстро). Мать просила вам передать, что все здоровы и приветствуют. - Так вот, ваше дело будет слушать военный трибунал Московского военного округа, видимо, уже в ближайшее время… Я принял на себя вашу защиту, но хочу вам сказать (громко и патетически), что я член партии уже больше четверти века и могу отстаивать только правду и только в интересах партии и государства! Так вот, какие у вас будут пожелания по делу? Кого хотели бы пригласить как свидетелей?

Мы говорили примерно с полчаса, он делал пометки на листе бумаги, но слушал не слишком внимательно. Я назвал свидетелей, рассказывал о подделках и передержках в следствии, о явных противоречиях в обвинительных показаниях… Он торопился.

- Ладно, ладно, это вы скажете суду, а я сам буду знакомиться

с делом… Постараюсь, насколько возможно, смягчить вашу участь.

- Что значит смягчить? Я - коммунист, безоговорочно преданный партии. Я ни в чем не виноват. Речь может идти только о полном оправдании, о решительном изобличении клеветников.

Он посмотрел с любопытством и усмехнулся:

- Я вам уже сказал: я буду вести ваше дело, исходя прежде всего из интересов партии, и, если вы действительно коммунист, вы должны это понимать. Я считаю, что у меня есть основания вас защищать, а прокуратура считает, что имеет основания вас обвинять… Дело ведь есть, и обвинения серьезные. В военное время по такому делу могли бы и расстрелять, а теперь кодекс предусматривает до десяти лет. Так что возьмите себя в руки: ведите себя сдержанно и разумно. Из того, что я уже про вас знаю, я вижу, что вы сами себе немало навредили именно несдержанностью, горячностью.

Он говорил еще что-то в этом роде плавными, обкатанными фразами. Однако на прощание протянув руку, улыбнулся ободрительно, и мне показалось, даже подмигнул.

Я ушел, не понимая, чего же все-таки ждать, но был длинный список свидетелей защиты, и я знал, что Иван Рожанский, Галя Хромушина, Юрий Маслов, Михаил Аршанский, Борис Сучков, Валентин Левин еще осенью и зимой писали Генеральному прокурору и в ОСО, доказывая, что я не виноват.

Вечером, после поверки коридорный вызвал меня и в своей каморке, где на стеллажах лежали тюфяки и высились башни алюминиевых мисок и кружек, дал прочесть обвинительное заключение. Три листа папиросной бумаги, через один интервал. Там были все те же обвинения: «подрыв политико-морального состояния советских войск», «клевета», «дискредитация командования», «срыв боевых заданий», «пропаганда в пользу противника», были ссылки на показания Забаштанского, Беляева, Нины Михайловны; однако уже только в цитатах из них говорилось о «жалости к немцам» и совсем никак не упоминалось о «клевете на союзников». В списке вызванных свидетелей я увидел имена друзей - Белкин, Гольдштейн, Маслов, Рожанский, Хромушина…

15 октября 1946 года - день рождения дочки Лены - рано утром, сразу после поверки, четверых из нашей камеры вызвали «с вещами» - двух младших чеченцев, одного власовца и меня.

Вели быстро-быстро, особенно гулко побрякивая ключами, даже не заводя в боксы, вывели сразу же во двор, в воронок.

Трибунал МВО был на Новослободской, недалеко от Бутырок.

Доехали туда за несколько минут. Высадили нас во дворе и провели в подвал. Маленькая квадратная комната без окон, слепящий яркий свет, стены бугристые, влажные от свежей побелки - замазывали надписи, - две скамьи, цементный пол.

Мы ждали часа полтора. Курили. Чеченцы тихо переговаривались. Власовец приставал с вопросами:

- А что ты думаешь, может, лучше в покаянку - граждане судьи, виноватый, прошу простить меня, преступника, изменника, но прошу принять во внимание молодые годы и несознательность. Прошу родину, как маму дорогую, обещаюсь оправдывать, заслужить… Или, может, на оттяжку: я кровь проливал, я ж не сам в плен сдавался, генералы - враги народа - меня сдали, а до Власова я пошел, чтоб врага с тыла бить, только случая не было, но я потом обратно воевал возле города Праги, сничтожал немецких оккупантов, лично своей рукой двенадцать фашистов убил… Ну как лучше? А может, еще похитрее можно?

Он заговаривал, как ни в чем не бывало, хотя только накануне была ссора. Он не вышел на прогулку - больной, в горле свербит и дышать тяжело. Оставшись один в камере, он украл у профессора Виноградова кусок сала из передачи. В тот же день всю камеру повели в баню. Он стал на ходу жевать спрятанное было сало, кто-то заметил, обругал шкодника. Тогда он закричал на профессора, который не успел его даже упрекнуть: «Гады, жмоты, лбы понаедали на передачах, интеллигенты долбанные в рот, буржуи пузатые, а я с голоду качаюсь… Живот к хребту пристает…» Потом покосился на меня и сменил визгливый крик на интонацию спорщика, доказывающего правоту, уверенного, что найдет союзников.

- Ну вот он, майор, он же делится, хоть еврей, а понимает солдатскую справедливость, я ж у него не брал и не возьму, а этот профессор кислых щей, он тебе зимой снегу не даст… Хоть подохни у него на глазах…

Тогда я его ударил - не кулаком, разумеется, уж очень он был тощий и противно-жалкий, а тылом левой кисти по щеке раз, другой - и обругал. Он скульнул и замолчал. Соседи по нарам, довершая наказание, оттеснили его в угол к параше.

Но в трибунальском подвале он заговорил, как ни в чем не бывало, доверительно и доверчиво. И я после первых брезгливых заминок отвечал ему тоже, как ни в чем не бывало.

Потом стали вызывать. Меня повели узкой лестницей - черным ходом - трое конвойных. Один впереди, двое теснят, вели под руки, не грубо, не сжимая, скорее даже бережно. Это было ново; уже полтора года по тюрьмам, а все еще встречаю новинки. Они шли деловито, безразлично. Я сказал: «Как архиерея ведете».

Ни тени улыбки. Справа шепотом: «Не разговаривать». И под ребрами холодок: ведь так же, наверное, и смертников водят.

Коридор большой, учрежденческий. Стоят, проходят мундирные и штатские, простукали женские каблучки… Большой кабинет, широкий письменный стол, в него уперт другой, крытый бордовым сукном. По стенам диваны и стулья.

Меня посадили на стул прямо напротив столов. За узким - седая шевелюра адвоката. Еще кто-то в погонах. У стен сидят офицеры, штатские, две женщины. Вижу, некоторые улыбаются мне, кивают.

В первые мгновения я никого не узнаю, вижу только - все очень нарядные, розоволицые. Солнечное утро. Блестят пуговицы, золоченые погоны, светлые чулки женщин. Штатские костюмы наглажены. После арестантской серой бледности, изжеванной одежды здесь - ощущение ослепительной роскоши.

Я почти не слушаю, что говорят из-за стола, глазею по сторонам, пытаюсь узнавать. Вот рыжий подполковник, очень похож на Валюшку Левина, но почему он здесь? А этот в пиджаке? Неужели Боба Белкин? Кивает, улыбается. Самый высокий, конечно, Иван, у него уже капитанские погоны. Женщина в синем платье - должно быть, Галя, а женщина в кителе - большеглазая, конечно, Нина Михайловна. Красивый подполковник, очень знакомое лицо, кто же это?

Председатель трибунала, тощий полковник в очках, говорил сиповато, скрипуче. Конвоир сзади тронул меня за плечо. Адвокат от стола натужно зашептал:

- Встаньте, встаньте!

Встав, я на миг увидел себя их глазами: стриженный наголо, небритый, в мятом-перемятом сером пиджаке, стеганых штанах, самодельных гетрах из байки и огромных рыжих американских ботинках. А ведь по лагерному - франт.

Судья спросил, имею ли я отводы к составу трибунала. Потом худенький лейтенант - секретарь - вызывал поименно свидетелей: «Подполковник Аршанский»; так это я Мишу не узнал, не ожидал его видеть. И Виктора Розенцвейга не узнал, и Жору Г-а. Он располнел и поседел.

- Ввиду неявки свидетелей Забаштанского и Беляева есть предложение слушание дела отложить… Мнение защиты? Значит, поддерживаете… Обвиняемый?

- А если они и в следующий раз не явятся? Они лгали на следствии, а теперь могут избегать…

- Вас не об этом спрашивают. Что будет в следующий раз, мы будем решать в следующий раз.

Меня увели, опять бережно, под локти. Оборачиваясь, я

увидел поднятые кверху стиснутые руки - держись! Кажется, это Миша. Боба улыбается, послал воздушный поцелуй.

В гортани торчит горький, мокрый комок. Сколью теперь ждать? А что если те опять не придут и потом опять? Конечно, это будет против них, но сколько можно так тянуть - недели, месяцы? Друзья пришли веселые, значит, надеются - или только ободряют?

В подвале я недолго ждал остальных. Власовец получил пятнадцать лет и хныкал: «Не выживу, у меня вся внутренность отбитая!»

Чеченцы получили оба по десять. Маленький черныш молчал угрюмо. Носатый был весел, похохатывал, хлопал себя по острым коленям, гортанно частил приятелю. Тот ворчал, видимо, одобрительно. Потом старший объяснил:

- Понимаешь, какой хороший дело. Эта десять лет пускай, эта ничево. Бог хочит, я десит лет живой буду, и потом опять живой буду. Бог не хочит, я завтра умираю. Бог хотел такая бомбежка был, никто такой не был, я на такой бой был сто человек - одно мясо, а я живой. Бог хочит, я завтра умираю. Бог хочит, я сто лет живой и тоже ты, он, все человечески. Десит лет не боюсь, бомба не боюсь, пуля не боюсь, кинжал не боюсь. Если Бог хочит, чечен живой будет. А сиводня хорошее дело. Там свидетел был - тоже чечен, тоже плен был, тоже легион был, как он, Ахмет, как я. Но Ахмет джигит, я джигит, он джигит, а свидетел плохой человек, не чечен - собака. Он продавал - понимаешь? - всех продавал, брат продавал - понимаешь? - он говорил, что мы за немца воевал, что хотел русский человек убивать. Все нет правда, все как плохой собака. Я не воевал за немца, он не воевал, Ахмет не воевал, вся легион не воевал. Мы гарнизон был в Польше, потом в Сырбия; только гарнизон был. Мы хороший человек помогал, хороший польский человек, хороший сырбский человек. Мы все менял, мы ружье давал, патрон давал, он давал молоко, давал мясо, давал водка - сливовица. Мы оружие давал хороший человек - партизан… Понимаешь? А свидетел нет правда. Суд говорил - десит лет, я - десит лет, он - десит лет, потом будит Ахмет - старый человек, ученый человек, может, он еще больше лет будит… Судья говорил на меня, что хочишь просить, я говорю: можно говорить немножко по-чеченски. Хороший человек судья говорил: «Пожалуста, можно».

И тогда я сказал свидетелю: «Ты собака, предатель, ты думаешь, ты спас свою поганую шкуру. Так знай: если мы умрем, наши кровные остались, и они отомстят. И тебе, и всем твоим кровным. Ты нигде не спрячешься. Знай, и тебя, собаку, зарежут, и всех твоих зарежут, и твою жену, и твоих детей, и твоих братьев, и сестер, и племянников. Мы не будет живы, наши братья

будут резать, наши племянники будут резать…»

Он, собака, плакал, говорил: «Дорогой, не надо… я не собака, меня следователь бил. Бил, кушать не давал… Я тоже десит лет получил, не надо резать…» А я говорил: «Ты десит лет получил, как собака, я десит лет, как джигит, и мы тебя резать будем, и всех твоих резать будем…» Все говорил, как хотел… Он плакал, судья смеялся. Хороший человек судья. Такое хорошее дело было.

Он был очень доволен, и его мрачный приятель тоже хмыкал одобрительно.

В Бутырки нас привезли среди дня, кормили в боксе, потом разделили в бане. Их повели в осужденку, а меня вернули в прежнюю камеру. Я рассказал Ахмету о его земляках, он тоже был очень доволен.

Второй раз меня вызвали с вещами только месяц спустя. В том же подвале я просидел несколько часов. Потом начальник конвоя сказал: ввиду неявки свидетелей заседание отменяется. Еще несколько часов пришлось ждать воронка, а в Бутырках на шмоне и в бане я оказался в пестрой толпе бытовых и блатных.

…Рослый парень лет за тридцать; по одежде и повадкам - бывалый горожанин, квалифицированный рабочий или технарь. Но когда он разделся, то все ладно скроенное мускулистое тело оказалось расписанным, синие узоры густо покрывали грудь, спину, предплечья, живот и бедра, голени. Традиционная блатная графика - грудастая красотка, карты веером, бутылка с рюмкой и вокруг надпись «Вот что нас губит», холм с крестом: «Не забуду мать родную» - перемежалась с пейзажами, якорями, спасательными кругами, на одной лопатке извивалась змея, пронзенная кинжалом, на другой лопатке револьвер накрест с ножом и рядом нагие женщины; на животе замысловатые рисунки. Такое «удостоверение личности» не вязалось с его угрюмой насупленностью. Законному вору полагалось и в тюрьме быть лихо веселым.

Заговорив с ним, я услышал такую повесть: - Так фраернулся, так фраернулся, как штымп, как последний малолетка. Сам на себя позор взял, дурак! Хоть вешайся… такой позор, такая-перетакая судьба. Хуже, бля, чем головой в парашу… В августе я только освободился из рыбинских лагерей. Припухал год по законной статье - 168 в - вольная кража. Отзвонил день в день. Ухожу, как положено, костюмчик люди справили, будь спок, у больших фраеров заиграли - чистый бостон; шляпа, колеса со скрипом. Ну иду, как директор или завмаг. И гроши имею, приличные куски. Однако на бану сходу отвернул два уголка - чижолые. Ну, думаю, значит поживу, бля, спокойно хоть полгода, подженюсь на чистой бабе. Рву когти с бана на пристань, беру

теплоход, первый класс, еду в Москву, в дорогую столицу… На палубе закноцал красючку, шикарная, как артистка, хотя сама с торговой сети. Молодая еще, фигуристая. Я кошу на полярника: арктика-романтика, длинные рубли. Она: хи-хи-ха-ха. Взяли обед, она водки - ни-ни, пива - носом крутит, но шампанское - ах, обожаю, шикалад - мерси, пожалуйста. Я оголодал на пайке, и как чайка все глотаю, меня с пол-литра ведет. Я то, се, как положено, люблю, женюсь, пойдем в каюту… А она, сука, тыр, пыр и с концами. Тогда я по злобе взял еще не помню сколько, двести или триста, выпил, вышел на палубу, а она там уже с фраерами обратно - хи-хи-ха-ха. Но я же имею принцип. А тут еще окосел; беру писку, хочу ее, бля, по шнифтам писануть (то есть, он собирался лезвием бритвы ударить ее по глазам). Ну тут шухер, вся кодла на меня, гады, не отмахнуться… Крутят меня, а на пристани мусора волокут, а я ж с теми уголками. - Ваши? - Мои. - А я их и не смотрел еще, заперты, да и куда было спешить. - Где ключи? - Должно, потерял, выпимши… - Открывают, и что ты, бля, думаешь: два уголка - одни тетрадки школьные. Сколько тыщ там было тех тетрадей, и не знаю… А я бухой, ни хрена не петрю и обратно: чьи? - мои! Потом, когда очунял, мне уже статью предъявили - 105-я, спекуляция. Я на стенку полез - гад я буду, я же честный вор, я их отвернул, это же законная вольная кража - один год, - а они… Раз-раз и спекулянт: пять лет и три по рогам… Поверишь - хрен с ним те пять лет: я не за срок обижаюсь. Но ведь как барыге припаяли. А я в законе. Меня люди в Москве знают, в Ленинграде, и в Ростове. Он был безутешен.

И опять я вернулся в 105-ю камеру. И еще месяц действовал наш камерный университет. Профессор Виноградов читал лекции о теории относительности, о квантовой механике, об энтропии; Дмитрий Саввич рассказывал о греческой скульптуре, о Поликлете, Мироне, об архитектурных стилях, читал свои стихи. Из одного я запомнил только первые слова «сочные Сочи», а из лирического сонета последние две строки:

Ты моя девятая симфония,
Ты моя девятая волна.

Доктор Михайлов объяснял законы генетики. Про Менделя я учил еще в школе. От Михайлова впервые услышал о Вавилове. Мне досталась история - на литературу в камере спроса не было, - русская история от Рюрика до Февральской революции и краткие обзоры истории Германии, Англии, Франции и вообще Западной Европы. Подполковник пан Зигмунт, бывший главный лесничий Беловежской пущи, путаясь в падежах и спряжениях, но очень

увлекательно говорил о жизни леса, о законах честной охоты: «Стреляй мех только на бегу а пух только на лету», о повадках зверей и птиц…

16 декабря меня вызвали опять. На этот раз в подвале трибунала я оказался не в маленькой ярко освещенной каморке, а в полутемной проходной с несколькими деревянными кабинами-боксами по стенам и длинным дощатым столом посредине. В коридоре я увидел Надю, маму, отца, они мне кивали, улыбались. Мама громко шептала: «Все будет хорошо». Привели в узкую длинную комнату с одним окном. Трое судей за письменным столом торцом к окну, а стул для подсудимого стоял напротив, очень близко от них. Один конвоир присаживался на подоконник справа, другой мостился сзади. Слева от меня был столик адвоката, а дальше, вдоль стены - стулья и скамьи для свидетелей. На скамье сидели Забаштанский и Беляев - их я узнал сразу. Не было ни Миши, ни Вали, но были Иван, Галина, Белкин, Нина Михайловна, ее муж Георгий Г., Виктор Розенцвейг и Ю. Маслов.

Председатель суда, хмурый полковник Хряков, сказал, что прокуратура не будет представлена на заседании. Он вел заседание буднично деловито, говорил чуть сипло, негромко, лишь изредка повышал голос. Спрашивая адвоката, свидетелей и меня, он не менял интонации, был сухо-бесстрастно вежлив. Коротко сказав свидетелям, что они обязаны говорить правду, в противном случае несут ответственность по таким-то статьям, он предложил им выйти и ждать там, где покажут, не отлучаться, вызывать будут по одному.

Секретарь прочел обвинительное заключение. На вопрос председательствующего я отвечал, что виновным себя не признаю, все обвинения основаны на злонамеренной лжи, следствие велось односторонне, предвзято.

- Садитесь. Мы начинаем судебное следствие. И все выясним.

Первым вызвали Забаштанского. Еще больше растолстевший, в обтянутом кителе, с большой трехрядной орденской колодкой, он стоял мешковато, но прочно, говорил тихо, неторопливо, с той грудной интонацией бесхитростной искренности, простецкой, но серьезной вдумчивости, которая и меня когда-то так привлекала и убеждала. Он повторил по сути все то же, что говорил на партийном собрании и на следствии, но выражался несколько по-иному, вместо «немцев» говорил «немецко-фашистские гражданские лица», почти не упомянул о «жалости» и «буржуазном гуманизме». Но тем более скорбно рассказывал о моих «упаднических настроениях», «пререканиях с командованием и с офицерами и с рядовым составом… что

привело к срыву важного боевого и политического задания».

Адвокат спросил его, как он может характеризовать работу своего фронтового товарища и подчиненного, которого на фронте принимали в партию, награждали боевыми орденами, давали ответственные, серьезные поручения.

- Ну што ж, конечно, пока, значит, доверяли… пока думали, што это у него просто мелкобуржуазные пережитки… Он, конечно, грамотный, очень даже грамотный… всю жизнь за книжками штаны протирал, пока другие, как мы, работали, пятилетку строили, з кулаком, з врагами народа боролись. Он умеет говорить и по-немецки, и по-польски и там еще на разных языках; умеет себя показать и другим очки втирать. Ну, когда хотел, тогда умел работать вроде по-боевому. Тогда и награждали, и доверяли. Пока, значит, не показал свое упадничество и мелкобуржуазное нутро, пока не стал клеветать на командование и выступил против решений Госкомитета обороны, которое подписал лично товарищ Сталин, пока не сорвал боевое задание.

- Обвиняемый, у вас есть вопросы к свидетелю?

- Пусть он точно скажет, когда и где я выступал против решения Комитета обороны, кто это слышал?

- Так этот позорный факт был обсужден на партийном собрании политуправления… Его ж за это з партии выгнали.

- Ложь, наглая ложь! Даже свидетели обвинения Клюев и Мулин этого не подтвердили, а Гольдштейн опроверг.

- Обвиняемый, садитесь. Вы не должны вскакивать, не должны говорить без разрешения суда, пока вас не спросим. У вас есть еще вопросы?

- Он не ответил на вопрос: когда и где, кто свидетели? В следственном деле есть мои подробные собственноручные показания об этой лжи, а в партийном деле есть записки Клюева, Мулина и Гольдштейна…

- Свидетель, вы поняли вопрос?

- Конечно, понял, - с едва приметной снисходительной улыбкой, - так он же всегда так крутив и выкручивался. Гольдштейн, это его дружок, он под его влиянием был, заимел партийное взыскание… И вопрос этот обсужден был. А на партийном собрании - это ж понять надо - сотня, нет, больше сотни коммунистов-фронтовиков собрались, когда война, смертельные бои, а мы должны обсуждать, как этот майор, значит, подрывал моральный дух наших бойцов. Они от Сталинграда шли по крови, по трупам, по развалинам… Их отцов и матерей фашисты погубили, посжигали, повешали, у них в грудях священный огонь мести. А тут какой-то образованный

майор им начинает разговорчики за гуманизьм… Это ж другому человеку, как в душу плюнуть, - в тихом голосе вибрации сдерживаемого волнения, - ну и, значить, конечно, пререкания, срыв боевой задачи…

- Обвиняемый, сидите спокойно. У вас еще есть вопросы?

- Значит, это по моей вине была сорвана боевая задача? Какая задача?

- Была поставлена мною лично задача, разведать военно-политическую обстановку в Восточной Пруссии в момент вступления наших войск… выяснить настроения населения… и наличие вервольфов, значить, фашистского подполья… Ну а он вернулся и одни только разговоры, ахи да охи за плохое поведение наших солдат… Наши геройские воины ему, значить, уже так не понравились, что он забыл про боевую задачу. И мне прошлось лично выехать, чтобы работать вместо него, выполнять все, что он там не сполнил.

- Это наглая ложь!

- Обвиняемый, садитесь. Не вскакивайте! Вы здесь перед судом военного трибунала, а не на митинге… Ведите себя прилично, не то я вас накажу. Что вы еще хотите спросить?

- Задание в Восточной Пруссии было действительно выполнено плохо, но не по моей вине. А Забаштанский вообще ничего не знал. Он уехал до нашего возвращения.

- Я вас не просил и не разрешал комментировать показания свидетеля. Вопросы у вас есть?

- Старшим разведгруппы, командированной в Восточную Пруссию, был майор Беляев, а я его помощником. Какое взыскание получил он за невыполнение задания?

- Неправда! Старшим был майор Копелев. У майора Беляева была своя отдельная задача, набор военнопленных и гражданских для антифашистской школы. Беляев, конечно, пробовал влиять на него (он поглядел на меня уже не так равнодушно-презрительно и словно бы не видя, как раньше, а злобно-быстро). Конечно же, пробовал, уговаривал, значить, по-товарищески, даже по-дружески. Ну так разве ж его уговоришь… Он вот и здесь прыгает, а тогда такой фасон держал, вроде он один умный, а все кругом так, дурни, серость необразованная.

- Прошу запротоколировать показание, что якобы я был старшим и что он выезжал, чтобы исправлять мои ошибки…

- Обвиняемый, кто здесь ведет заседание? Вы или я? Садитесь и не мешайте суду. Что у вас там еще?

- Могу я заявить ходатайство к суду?

- Можете.

- Прошу вас, очень прошу сопоставить эти показания

Забаштанского с тем, что он показывал на предварительном следствии и говорил на партсобрании. Он тогда говорил, что я при всех сотрудниках осуждал приказ ГКО, но никто не подтвердил этого. Клюев и Мулин показали, что ушли до моего спора с ним, а Гольдштейн показал, что спор шел о другом, что я не говорил и не мог сказать того, что приписал мне Забаштанский, - не только неверные, но глупые, идиотски глупые слова: будто приказ ГКО о трудмобилизованных приведет к новой войне. Очень прошу вас проверить, сличить, ведь это все зафиксировано, и еще очень прошу запротоколировать, как он сейчас говорил, что я был старшим…

- Довольно! Не учите суд… Еще раз напоминаю, что это не вы ведете заседание. Не вынуждайте меня вас наказывать.

Председатель трибунала говорил строго, но мне показалось, менее сердито, чем раньше, скорее насмешливо.

Адвокат спросил у Забаштанского, как он оценивает мою работу в Грауденце, за которую отдел получил благодарность командования.

- Работал, конечно. Еще бы он не работал: тогда уже на него партийное дело было. Ну, конечно, хуже работал, чем раньше. Посколько настроения имел упадочные. Приходилось подталкивать, значить, направлять. Поскольку я лично руководил операцией…

- Обвиняемый! - председатель постучал карандашом, заметив, что я опять едва сдерживаюсь. - Что вы хотите еще спросить?

- Кто был старшим в Грауденце? Кто командовал группой?

- Лично я!

Теперь он уже совсем не глядел на меня, стоял, упрямо набычившись.

- Тогда пусть свидетель скажет, когда началась и когда кончилась осада Грауденца?

- В марте это было. А по числам я не обязанный точно помнить.

- А сколько все же времени там работала наша группа? Хоть приблизительно, сколько дней или недель?

- Дней десять, а может, меньше.

- Сколько же дней свидетель лично провел в нашей группе, когда он якобы давал указания, направлял?

Он устало и сочувственно смотрел на председателя: мол, и вам, должно быть, надоел этот трепач.

- Товарищ подполковник, вы будете отвечать на вопрос?

- Так што ж тут отвечать на все выкрутасы… Конечно: я там не все время сидел. Я как начальник отдела политического управления фронта руководил не одним этим майором. Шло

наступление всем фронтом. На Данциг, на Померанию. А это была одна местная операция. В наших тылах орудовала немецкая группировка. Но, значить, надо было как можно скорее ликвидировать…

- Сколько ж раз он все-таки приезжал?

- Достаточно, садитесь. Все это не имеет отношения к делу. Что у вас еще?

- Имею ходатайство к трибуналу.

Я успокоился - беззастенчивая, но беспомощная брехня Забаштанского несомненно будет опровергнута - и заговорил тихо, вежливо:

- Очень прошу запротоколировать: осада Грауденца началась 13 февраля, а последние части гарнизона капитулировали 6 марта. Начальником нашей группы с 15 по 16 февраля был майор Беляев, а после его отъезда, с 16 февраля и до самого последнего дня, - я. За эти три недели - не десять, все двадцать дней - Забаштанский приезжал туда всего два раза. В первый раз он доехал до штаба полка, действительно видел меня, но мельком, так как спешил. Выслушал рапорт, но никаких указаний не давал. Второй раз он доехал только до штаба корпуса в нескольких километрах от города и по телефону приказал мне отдать армейскую звуковую машину. Это существенно затруднило нашу работу. Хорошо еще в дивизии раздобыли аппаратуру - кинопередвижку - и приспособили ее для звуковых передач… Это факты, отмеченные в документах, известные всем членам моей группы и почти всем работникам отдела!…

- Достаточно! Садитесь. Вас, товарищ подполковник, прошу остаться здесь. Садитесь, пожалуйста. Приглашаем свидетеля майора Беляева.

Я с удовольствием увидел, как потемнел и растерянно моргнул Забаштанский - теперь ему не удастся предупредить Беляева.

Тот вошел в парадном кителе с орденами и медалями. На меня даже не покосился, глядел только на председателя трибунала. Отвечал на вопросы быстро, отчетливо, хотя несколько суетливо, но держался уверенно, только руки сновали беспокойно, то за спину, то сжимались перед животом.

Он сказал, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Подсудимый защищал немцев, занимался их спасением, да-да, гражданских немцев и их имущества.

Да, грубо нападал на наших солдат и офицеров, агитировал против мести врагу… Да-да, а потом даже плакал от жалости к немцам. И потом написал рапорт о демобилизации, как

несогласный с политической линией командования… Да-да, это именно он, Беляев, увидел этот рапорт. Да, видел только он лично, порвал его и за это получил взыскание.

Судья спросил, какое задание получила группа, командированная в Восточную Пруссию, и было ли оно выполнено.

- Задание было - разведать и доложить обстановку: политико-моральное состояние населения, действия фашистского подполья. Конечно, было выполнено… в основном, конечно… поскольку имелись недостатки по вине подсудимого…

- Какие именно?

- Он мешал. Сам отвлекался, чтобы спасать немцев, вступал в пререкания… Нацеливал не туда…

- А кто был старшим по группе?

- Я.

- Вопрос к подполковнику Забаштанскому: вы показали, что задание было сорвано и что старшим по группе был майор Копелев. Вы подтверждаете ваши показания?

- Правильно! Задание было сорвано через его упадочное антипартийное поведение.

- И он был старшим?

- Я назначил его старшим, а майор Беляев получил отдельное задание.

- Майор Беляев, как же все-таки: было выполнено задание или не было?

- Поскольку, конечно, имелись ошибки… Но все-таки…

Он пытался оглянуться, напрягая покрасневшую жилистую шею. Забаштанский стоял позади.

- Поскольку имелись, конечно, ошибки… Грубые ошибки… То не все было выполнено, как должно… Конечно, однако, все-таки я считал…

- А кто из вас был старшим?

- Я.

- Вопрос к свидетелю Забаштанскому: кто же был старшим - майор Беляев или майор Копелев?

- Я назначил Копелева, а шо они там между собой договаривались, они мне не докладывали.

- Вопрос к свидетелю майору Беляеву: кто же из вас был старшим?

Беляев растерялся, ссутулился, уже не пытался оглядываться, мял руки, несколько раз открывал рот…

- Я так помню… Конечно… Я помню, что я был старшим… Так и в предписании было… Конечно…

Адвокат спрашивал Беляева, как я работал в антифашистской

школе. Слушал ли он мои лекции? А сам он преподавал?… Ах, он недостаточно знает язык… Учебной частью ведал старший лейтенант Рожанский?… А как он отзывался о преподавательской деятельности майора? Даже очень одобрительно? И он же составлял программы? А вы их утверждали? Нет? А кто же? Забаштанский, а потом генерал? А вы, значит, даже не знали, что преподают в школе, в которой вы были начальником? Доверяли полностью Рожанскому? Значит, он вполне заслуживает доверия?

Адвокат спрашивал вежливо, но презрительно, уничтожающе-презрительным тоном. Беляев покраснел, вспотел, долго искал носовой платок. И услыхав, что председатель спросил: «Обвиняемый, у вас есть вопросы к свидетелю?», взглянул на меня испуганно вытаращенными жалкими глазами.

- Помнит ли свидетель, сколько времени продолжалась наша поездка в Восточную Пруссию?

- Пять, нет, шесть дней…

- А сколько раз я спасал немцев?

- Два или три раза… В этот самом… Найденбурге, а потом в Алленштейне.

- Сколько времени это продолжалось каждый раз?

- Не помню… ну, час… или два… три часа…

- А сколько раз я спорил с нашими солдатами и офицерами об отношении к гражданским немцам?

- Я не считал…

Судья нетерпеливо:

- К чему эта статистика?

- Ну хотя бы приблизительно… Ведь именно свидетель Беляев написал тот рапорт о моем поведении в Восточной Пруссии, с которого началось все дело. Пусть же он вспомнит хотя бы приблизительно - один раз или сто раз я спорил?

- Ну три… ну четыре… а может быть, и пять раз.

Беляев глядел тупо, утомленно.

- А сколько времени ушло на эти споры? Приблизительно?

- Ну как сейчас помнить? Конечно же, это не дискуссии были. Я за регламентом не следил… где полчаса… где час…

- Пусть даже по два часа - значит, на споры не больше 8-10 часов, на спасение 6-8 часов, от силы 18 часов за шесть суток. А помнит ли свидетель, сколько мы вывезли трофейного барахла? Сколько ездок двумя трехтонками было из Найденбурга и из Алленштейна в Цеханув, где он устроил трофейный склад?…

- А ты что же не возил? Ты же целую библиотеку повез… Я же не для себя, для всех товарищей…

- Свидетель, разговоры с подсудимым запрещены, обращайтесь к суду. У вас еще есть вопросы?

- Имею ходатайство. Прошу запротоколировать: вывезено 10-12 тонн трофеев, всяческое барахло, гобелены, рояль, стоячие часы. И я действительно спорил с начальников группы Беляевым, возражал не только против беззакония, насилий, мародерства, но и против его отвратительной демагогии - оправдывать изнасилования, грабежи, убийства словами священной мести. И я возражал против того, что он так увлекся собиранием барахла, что мы почти и не выполняли задания.

- Достаточно. Садитесь.

- Еще один вопрос: помнит ли майор Беляев, когда мы вернулись из Восточной Пруссии, кому мы докладывали - подполковнику Забаштанскому?

- Нет! Подполковник тогда уже сам уехал в Пруссию. Мы докладывали генералу Окорокову вдвоем…

- Прошу запротоколировать: тут Забаштанский говорил, что он сам поехал в Пруссию, потому что мы сорвали задание. Еще одно доказательство лжи.

- Довольно! Садитесь и не мешайте суду.

Галя Хромушина, в синем платье, на высоких каблуках, бледная, похудевшая, казалась очень выросшей. Она отвечала на вопросы коротко, спокойно. Подтвердила, что выехала с Забаштанским в Восточную Пруссию до моего возвращения, что ни о каком срыве боевого задания речи не было, что в Грауденце старшим был я, а Забаштанского она там вообще не помнит; кажется, он один раз приезжал.

Нина Михайловна в кителе с орденской колодкой поглядывала на меня с любопытством и жалостью.

- Да, он считался хорошим работником, даже очень хорошим работником. Часто работал на переднем крае. Очень хорошо знает язык, психологию немцев… Вообще, культурный, но вспыльчивый, несдержанный, даже грубый, допускал высказывания против командования, оригинальничал. Он проявлял жалость к немцам - я думала от оригинальничаний и мягкотелости…

Ей задавали вопросы адвокат и я. Все о том же - кто был старшим в Восточной Пруссии и в Грауденце. Она отвечала правду.

Я спросил, помнит ли она, как Забаштанский рассказывал про Майданек, и правда ли, что я тогда защищал немцев. Отвечая, она прослезилась.

- Да, помню, и помню, что мы тогда поссорились, но не потому, что он защищал, Нет, это я тогда была так взволнована, так сердита… И это я заговорила о том, что он вообще проявляет мягкое отношение, что он слишком добренький, а он тоже

разозлился, обидел меня, сказал что-то про союз Михаила Архангела…

Я попросил ее вспомнить, как проходила очная ставка, и она подтвердила, что на том листе, который я отказался подписывать, следователь неправильно записал ее слова, исказил ее показания.

Георгий Г. сказал, что у нас с ним были в общем хорошие товарищеские отношения, но потом стали спорить по принципиальным политическим вопросам, так как он заметил серьезные идейные шатания, недооценку необходимости полного разгрома германского империализма, а с другой стороны, переоценку немецкой буржуазной культуры, нездоровые гуманистические настроения в смысле жалости к гражданам немецко-фашистского государства.

Георгий, высокий, щеголеватый, красиво седеющий по смуглоте и черни, держался непринужденно, уверенно, говорил бойко, плавно, без запинок, округлыми фразами, но все время повторялся, и судья заметно скучал. Георгий очень удивился, когда судья предложил мне задавать ему вопросы. Он так же, как и все другие, не ожидал такой процедуры. Опрошенные свидетели оставались в комнате и не могли поделиться опытом.

Я спросил, помнит ли он, когда и где начал вести со мной идеологические споры. Он сказал, что с конца лета и осенью 44-го года, когда фронт подошел к немецким границам. Тогда я спросил, помнит ли он, что давал мне рекомендацию для перехода из кандидатов в члены партии в январе 1945 года.

Он помолчал, даже рот приоткрыл, как удивленный ребенок. И заговорил сердито, но уже менее уверенно:

- Ну и что, ну и давал. Я не отрицаю… А ты на что надеешься? Я потом отказался. Мне партийная организация разъяснила, что я проявлял излишнюю доверчивость. А ты теперь не надейся…

- Товарищ свидетель, отвечайте суду. Подсудимый задает вам вопросы через суд, и вы отвечайте нам. Личные разговоры с подсудимым не разрешены.

Я попросил, чтобы свидетель разъяснил, как он мог, считая мои настроения нездоровыми, политически вредными т.д., давать мне рекомендацию. Георгий начал взволнованно говорить, что ему только позднее стало ясно, что раньше он недооценивал…

Судья прервал его:

- Достаточно. Товарищ подполковник, вы дали рекомендацию своему товарищу, потом вы узнали, что он арестован по серьезному политическому обвинению. Тогда шла война, обстановка была фронтовая. Но вот прошло уже почти два года, имели время обдумать. Скажите: считаете ли вы теперь, что он

был противником партии, советской армии, считаете ли теперь его тогдашнюю деятельность на фронте враждебной, вредной?…

Г. сник, красивая величавость сменилась нервозной суетливостью.

- Конечно же, я думал, много думал, даже переживал… Мы же были товарищами, даже вроде друзьями… Так сказать, фронтовая дружба. Нет, в личном плане я не могу сказать, что он хотел, имел сознательное намерение, чтоб против партии и командования. Нет, я так не думал и теперь не думаю… Но если взять объективно, с точки зрения тогдашней военной обстановки, то у него имелись ошибки, недопустимые шатания… Это, конечно, не прямая контрреволюция…

Судья нетерпеливо прервал его. Мне показалось, что настроение за судейским столом изменилось. Заседатели поглядывали уже не с брезгливым любопытством, как раньше, а размышляюще, внимательно и словно бы сочувственно.

Иван Рожанский и в суде был такой же, как всегда - чуть нахмуренный, сосредоточенный. Изредка светло поглядывал исподлобья, а чаще словно бы смотрел в себя, в свои неторопливые мысли.

Он рассказал о том, как мы вместе работали, обучали антифашистов. Он слушал мои лекции, беседы. Мы дружили, часто подолгу откровенно разговаривали. Он твердо знает, он вполне уверен, что все показания Забаштанского и Беляева совершенно несправедливы. Приписываются такие суждения, такие высказывания, которых не было и не могло быть. Он знает, что Забаштанский давно очень враждебно относился ко мне. И об этом мы не раз говорили, обо всех столкновениях подробно говорили.

- На партийном собрании, когда разбиралось дело, я хотел выступить. Беляев сидел сзади меня и сказал: «Не забывайте, что вы военнослужащий, здесь армия. Забаштанский - начальник отдела, я ваш непосредственный начальник, и мы запрещаем вам выступать»…

А потом Беляев также запретил ему голосовать против исключения. После того, как его вызвал следователь, Беляев говорил, что следователь недоволен показаниями Рожанского, что из-за этого у него могут быть неприятности, предлагал подумать и дать новые, «более правильные» показания.

Судья спросил Беляева, тот бормотал, что действительно что-то говорил Рожанскому на партсобрании, но, конечно, не запрещал, а просто советовал, чтобы ему лично не было неприятностей. Обстановка была напряженная. Он, Беляев, сам получил выговор за то, что порвал тот рапорт о демобилизиции и

не доложил о нем. А про следователя - это он просто передал, это подполковник Забаштанский видел следователя, и тот сказал, что Рожанский выгораживает обвиняемого, что-то скрывает… Он подробностей не знает. Но никакого давления не оказывал, просто по-товарищески хотел помочь…

- Вопрос к свидетелю Забаштанскому. Вы слышали показания капитана Рожанского и майора Беляева, что вы можете показать по этому вопросу?

- Возражаю против. Категорически возражаю. - Угрюмо-потемневший, он говорил все так же негромко, убежденно, иногда включая задушевно-доверительные интонации. - Товарищи, видно, забыли, какая тогда была обстановка. Фронт. Война. И какая война. Вся наша армия, геройская армия горела тем огнем святой мести… Шел, можно сказать, последний, решительный бой, и тогда такие упадочные настроения были не лучше измены… Тогда на передовой могли просто застрелить за такие настроения, такие разговорчики. А теперь, конечно, счастливая жизнь, какую нам завоевали те самые герои, которые так не нравились этому… вот подсудимому, что он их обзывал мародерами… смеялся с них, гордый на свою образованность. А сегодня товарищи, которые тогда сами были возмущены и на партийном собрании осудили его, сегодня, в мирной жизни, или уже направду забыли, или хотят забыть, потому что жалеют, как все-таки друзья были, и говорят такое, чего даже не было. Я категорически возражаю. У меня есть память и есть моя партийная совесть.

Председатель смотрел на Забаштанского внимательно и задумчиво.

- Значит, вы отрицаете, что следователь был недоволен показаниями капитана Рожанского и просил повлиять на него, чтобы он изменил показания?

- Что говорил следователь Рожанскому, я не знаю, я там не был и ничего Рожанскому не передавал, и не влиял на него, и влиять не собирался…

Потом давал показания Абрам Александрович Белкин. Сперва он, видимо, чувствовал себя неловко, стоял вытянувшись, руки по швам, потом разговорился, почти как на семинаре в ИФЛИ. Он хвалил меня› а поругивал так, что лучше любой похвалы.

- Он, видите ли, вспыльчивый, как говорится, «буря и натиск», очень несдержанный человек. Когда он уходил на фронт - он ведь сдуру побежал в первый же день, чтоб немедленно, сейчас же с парашютом в Берлин, - я тогда очень опасался за него - да-да, но не так, знаете, как вообще боялись за друзей, уходящих в бой… Смерть на войне - это печальный, но благородный конец, и я знал,

что он смерти не страшится… Нет, я боялся, как он уживется с военной дисциплиной. А потом оказалось, что ужился, это я знаю, знаю от многих товарищей и друзей, которые с ним служили. Но все же несдержанность, горячность, вспыльчивость, этакие «буря и натиск» у него остались в вопросах нравственных. Да-да, знаете ли, ведь это издавна было и есть в некоторых людях такое свойство - нетерпимость ко лжи, к подлости. Ну, как бывает, некоторые люди не выносят пробки по стеклу. Вот он из тех людей, которые так же не выносят лжи, лицемерия, подлости. И тогда он вспыльчив до грубости, часто себе во вред, даже очень во вред. Вот и сейчас он оказался в таком положении… Это свойство называют донкихотством, такое свойство бывает неприятным и даже опасным в отношениях с иными начальниками. Не со всеми, конечно. Владимир Ильич, например, совсем напротив, очень высоко ценил именно это неудобное свойство - нетерпимость ко лжи, горячность и даже вспыльчивость в отстаивании правды… Маяковский писал: «Пусть никогда не придет ко мне позорное благоразумие», Горький воспевал «безумство храбрых». Да, мне известно, что в последние месяцы войны он спорил с некоторыми товарищами. Я знаю об этом по рассказам общих друзей. Он возражал против отдельных фельетонов Эренбурга, об этом и мы с ним говорили и спорили, когда он приезжал с фронта в последний раз в январе 44-го года. Потом моя жена - она была комиссаром снайперской школы - виделась с ним на фронте, осенью, уже в Польше, и рассказывала мне об их беседах и спорах. И я отлично помню, когда в «Правде» появилась статья Александрова, я ей сказал: «Смотри, ведь это именно то, что говорил нам Лева, вот, небось, теперь торжествует, что переспорил нас». Мы еще не знали, что в это время он уже был арестован и как раз за это же… И когда мы узнали, в чем его обвиняют, мы все были потрясены. Нет, никогда никто из его друзей не поверит, что он мог сделать или сказать что-либо против партии. Ведь все его мысли всегда наружу, он, знаете ли, ничего не умеет скрывать… И каждый, кто побудет с ним вместе день-два, уже будет знать его со всеми, так сказать, душевными потрохами…

Адвокат задал Белкину несколько вопросов. Отвечая на них, он говорил так, как говорят на защите диссертации, чтобы «поднять повыше соискателя», все больше о необычайной политической зрелости моей идеологии, о глубоких знаниях, многократно выраженных в лекциях, статьях и т.д.

Последним свидетелем был Виктор Розенцвейг. Он по плану адвоката представлял Всесоюзное Общество Культурных связей с заграницей. Он рассказал о том, как меня любят и уважают

немецкие пролетарские писатели Бредель и Вайнерт и какой я образованный марксист-ленинец-сталинец, это ему точно известно по совместной педагогической работе в ИФЛИ, по отзывам моих слушателей, из многих дружеских бесед…

Уже давно стемнело. Заседание шло с утра, обеденный перерыв продолжался не больше двух часов.

Адвокат в перерыве сказал мне, что, по его мнению, все идет хорошо. То, что прокуратура не представлена, - тоже хороший признак. Он начал речь уверенно; сказал, что ознакомился с делом, которое считает весьма необычным, можно сказать, единственным в его практике, перечислил все явные противоречия в показаниях свидетелей обвинения, а потом заговорил все более громко, с привычно наигранным пафосом наигранной растроганностью и выразительными гневными раскатами. Мне было стыдно, и раздражало то, как он выхваливал меня искусственными, пустыми словами о «тонкой нервной конституции», о «впечатлительности творческой личности», о «высоком душевном строе коммуниста-интеллигента». Потряхивая старыми номерами «Учительской газеты» и «Красной звезды» с моими статьями, он восклицал: «Вот его блестящие остроидейные выступления на страницах «Правды» - центрального органа нашей партии». Он картинно откидывал седые волосы и, растроганно придыхая, декламировал о горе родителей, у которых один сын погиб в бою, а единственный оставшийся, надежда и гордость, в тюрьме по тягчайшему, позорному обвинению и все из-за клеветников, полуграмотный невежд… О Забаштанском он почему-то забыл, но тем сильнее поносил Беляева и особенно Георгия Г. Он заметил, что именно они вызвали наибольшее недовольство судьи. Георгий обиделся, даже закричал что-то с места. И судья отчитал его за неуменье себя вести.

Наконец последнее слово подсудимого. Сколько раз я его сочинял про себя, повторял, дополнял. Говорил я долго и видел, чувствовал, что слушают. Судьи были всего в трех-четырех шагах от меня. Председатель сидел, наклонив голову, только изредка поблескивал очками, а оба заседателя все время смотрели на меня, и я старался заглянуть им в глаза поглубже, внедрить в них и правду, и мою боль.

Кончил я фразами, которые составлял давно и не раз повторял в жалобах.

- Совесть моя чиста. Нет на мне и тени вины перед Родиной, перед партией. Никакой вины ни в поступках, ни в словах, ни в самых сокровенных мыслях. И я прошу не милости, а справедливости. Только справедливости.

После этого суд совещался. Ввиду того, что заседание происходило в необычном помещении, удалились не судьи, а все прочие. Меня увели в подвал. Мама и Надя стояли в коридоре, улыбались и кивали.

Часа через полтора привели обратно. Вошли и свидетели. Судья читал стоя, и мы все стояли: «Именем Союза Советских Социалистических Республик…»

Уже с первых фраз я услышал одобрительные слова о себе, потом главное: «Оправдать за полным отсутствием состава преступления. Из-под стражи освободить». И частное определение: Забаштанский и Беляев виновны в клевете, но ввиду амнистии 1945 года не подлежат судебной ответственности. «Обратить внимание партийных организаций».

Все вокруг плыло в тумане, в этакой розовато-оранжевой дымке с блестками. Конвоиры посадили меня в коридоре, отгородив большой скамьей. Было поздно, из опустевшего подвала увели охрану. Друзья кивали издали, говорили что-то веселое, поздравляли. Мама повторяла громко: «Твое пальто и костюм у Лели, пойдешь прямо к ней, у нее новый адрес: Новослободская, 48, во дворе, квартира 47, запомни!»

Конвоиры не разрешили никому подойти ко мне и отказались передать плитку шоколада, как ни упрашивала мама. «Не положено. Передачи только через тюрьму».

Потом меня увезли одного в большом воронке. Я не позволял себе надеяться, что скоро освободят. Я знал, что оправдательные приговоры по 58-й статье обязательно проверяются, знал, что нередко оправданных трибуналом передают в ОСО и они получают сроки заочно. Но такой приговор! Такое оправдание!

В Бутырках провели в бокс, где постепенно собралось еще восемь человек с вещами. У четверых кончился срок, двоих оправдали. Одному следователь накануне сказал, что освободит. Это был молодой парень, сын генерала, арестованный за то, что носил отцовский пистолет и несколько раз показывал приятелям.

Вызывали поодиночке. К дверям бокса подходил дежурный с помощником, который нес пачку довольно плотных тюремных дел. Вызываемый отвечал на несколько вопросов и кроме обычных: фамилия, имя, отчество, статья, срок - должен был назвать еще и место и дату рождения, адрес членов семьи… Сначала вызывали без вещей - получать изъятое ранее имущество: ремни, карандаши, документы, шнурки от ботинок, бритвы, деньги, проверяли отпечатки пальцев, а в заключение на беседу, где освобождаемый, давал подписку о неразглашении режима и получал справку об освобождении.

В боксе то и дело открывалась дверь, и каждый раз у меня

холодело внутри - вот сейчас назовут. Я пытался на глаз определить число папок, остающихся в руках у помощника, сбивался в счете, отчаивался и снова надеялся. Приказывал себе успокоиться, курил папиросы одну за другой, они казались очень короткими, необычайно быстро сгорали. Голова болела, даже тусклая лампочка слепила, горели глаза. И под ребрами слева копошилась боль, то сворачиваясь вкрадчиво, то располагаясь по груди, к ключице, к горлу, по руке…

Потом я остался один. Последним увели генеральского сына, должно быть, поэтому его я и запомнил. Когда его вызвали, у дежурного в руках была одна папка. Он ответил на мой взгляд, видно, очень уж умоляющий:

- А вы подождите, еще не оформили документов. Как ваша фамилия?… Нет, еще не оформили.

Опять всплеснула надежда. Значит, все же оформляют. Напряженно прислушивался к шагам и голосам. Прошел час или два, я даже поспал на полу - скамья была слишком узкой. То и дело просыпался от ближних шагов, от ползучего холода. Подтыкал полы бушлата.

Звяканье ключа разбудило мгновенно. Поверка. Смена дежурных. Значит, уже утро. Спрашиваю: как же так, я оправдан, приговор - освободить. Сколько ждать?

- Документы еще не оформили. Дежурные были заняты поверочными расчетами. Торопились.

Потом меня перевели в другой, деревянный бокс. Надежда - послышалось, где-то невдалеке назвали мою фамилию - и решимость спокойно ждать, может быть, еще несколько дней - сменялись тоскливыми сомнениями и страхом: теперь будет ОСО, а там не вызывают ни свидетелей, ни адвокатов.

Весь день я провел в сидячем боксе. Туда принесли обед и вечернюю кашу и передачу: сигареты «Друг», шоколад, мамины ватрушки, жареную телятину. В тесноте бокса-пенала есть было трудно, локти сжимало дощатыми стенками. Но я радовался, что не увозят с «вокзала», значит, все же оформляют документы. Курил и спал прерывисто; вспоминал суд и снова и снова передумывал, что было раньше, когда все началось, как мог бы избежать, если бы говорил так, а не эдак, с тем, а не с этим, если б уехал от Беляева, если б ранило тяжелее. Как входил бы в Берлин и как приеду теперь, кого буду искать из бывших друзей и знакомых, что буду делать в Москве, как приду к Леле, а потом домой…

После вечерней поверки стал опять напряженно прислушиваться к шагам и голосам. В обычных шумах бутырского «вокзала», в топотании и гудении этапов, в разных походках, в

редких криках или истерических взвизгах и в постоянных сигналах - побрякивании ключей - пытался услышать голоса тех, кто поведет меня на свободу.

Один из вахтеров, выводивших в уборную, сказал, что днем не освобождают, а только к концу ночи, и я на несколько часов обнадеженно успокоился, даже выспался скрючившись. Ночью начался озноб ожидания. Наконец дверь открылась. Но это был не дежурный с папкой, а обычный вахтер.

- Давайте с вещами.

И меня повели знакомым путем: шмональная, баня. Затекшие ноги едва слушались, мешки с барахлом и с передачей выскальзывали из рук, разваливались; очень болели голова и спина. Мыслей не было. Только удушливая тоска. Значит, ничего не изменилось.

В одиночной бане я не торопился: можно было долго стоять под ласково-горячим душем, и если зажать уши и закрыть глаза, он становился весело-гулким, как летний дождь.

Потом провели в другую, еще не знакомую часть тюрьмы. Камера небольшая, квадратная, одна койка, стол, высокое окно с крупноклетчатой решеткой - три прута вертикально, три поперек, без намордника, виден угол двора, глухой выступ стены без окон. Большая форточка в четверть рамы. Дверь кормушки, хотя, разумеется, с волчком. Параша сухая - не пользовались. Все же не обычная камера. Значит, будут проверять приговор. Но если удалось добиться нового следствия, если трибунал так оправдал, значит, самое трудное позади и освободиться будет уже куда легче. Я открыл форточку, морозная свежесть после духоты боксов благостна каждому вздоху, всем порам лица. На койке оказалось два тюфяка. Одним я укрылся поверх бушлата, надел шапку, опустил уши, и блаженно уснул.

На утренней поверке дежурный не заходил в камеру. Коридорный только приоткрыл дверь, крикнул: «Поверка!», я встал, оправил тюфяк, новая смена протопала мимо дверей.

- Тут один?

- Один.

Когда принесли хлеб и кипяток, я попросил книг. Коридорный отмахнулся.

Можно было ходить по диагонали, девять-десять коротких шагов. Я делал зарядку трижды в день и каждый раз выхаживал не меньше тысячи шагов. На вечерней поверке окликнул дежурного, попросил книги.

- Не положено. Вы оправданы, хоть сейчас могут на волю выпустить.

- Так не унесу же я ваши книги, сдам.

- Не положено.

Днем я спал, а ночью опять прислушивался. Моя камера была крайней перед площадкой с двумя уборными в начале короткого коридора, по нему водили на прогулку. Я насчитал еще шесть камер по моей левой стороне, правая была глухой стеной. Прогулочный двор незнакомый, длинный, узкий, с одной стороны - здание с большими окнами, хотя и зарешеченными, но без намордников, похожи скорее на фабричные, а с другой - высокая, видимо, наружная стена. На прогулку повели через коридор первого этажа, в котором все камеры были открыты и пусты, виднелись застеленные койки - жилье осужденных тюремных работяг. Кислое бабье зловонье, пестрые покрывала на койках - женские камеры. Гулял я долго. Выводной поставил большие двадцатиминутные песочные часы, но и после того как они пересыпались, я сделал еще несколько полных кругов, пока он окликнул:

- Ну что, не нагулялся? Давай пойдем обратно, а то замерзнете…

На второе утро, после новой бессонной ночи с несколькими приступами надежды - кто-то подходил к моей двери, а до этого в бормотании дальних голосов послышались, померещились внятные слова «на волю» - я был надсадно зол и пристал к дежурному, требуя, чтобы дали книги. Он ответил все так же «не положено». Тогда я стал качать права: почему же, пока я был подследственным, обвиняемым, я имел право читать, а теперь я, оправданный офицер Советской Армии, оказываюсь в худшем положении. Я объявляю голодовку.

- Ну и голодайте. Себе же хуже. По-настоящему голодал я не больше двух дней. В первый день еще оставались от передачи сахар и печенье. Коридорные увещевали негрубо и ненастойчиво. Один пожилой толковал добродушно:

- А может, еще неделю надо ждать, а вы с голоду ослабнете. А доходягу нельзя ж так пускать, что люди скажут? А тогда что? Конечно, в больничку. И, значит, обратно задержка.

На третий день меня уже не выпустили на прогулку. На четвертые сутки был срок очередной передачи. Коридорный принес два мешка.

- Принимайте! Бона сколько - рождественская!

- Не приму. Я голодаю.

- Ты что, очумел? Там ждуть роспись.

- Не приму. Я голодаю, пока не дадут книги. - И я повторил в который уже раз: я оправданный, офицер, требую справедливости…

Коридорный, маленький, криворотый, с грязно-темным

лицом, с мелкими черноватыми зубами и узкими глазами, разозлился:

- Офице-е-ер! Командовать привыкли… А тут вам не положено командовать. Пойдешь до своих, там командовай!…

- Я не командую. Я отказываюсь есть, пока не получу книги.

Через несколько минут пришел дежурный, молодой лейтенант, озабоченный, раздраженный. Он говорил даже не сердясь, а жалуясь:

- Ну, чего вы скандалите? Ну, чего хотите? Ну, я понимаю, ну, оправданный, ну, офицер. Но и вы ж имейте понятие, вас же тут 25 тысяч, а я один…

Я впервые услышал число. В Бутырках 25 тысяч арестантов! Доверчивость лейтенанта меня смягчила, и я согласился принять передачу, если он даст слово офицера, что я получу книги. Он посмотрел удивленно - должно быть, впервые услышал такое: «слово офицера» - и даже улыбнулся.

- Ладно! Даю. Сегодня еще получите. Берите и расписывайтесь. Там же волнуются. Жена, наверное… Жалеть надо.

Я старался есть понемногу, как должно после голодовки. Принесли книги: Вальтер Скотт - «Роб Рой», Куприн, других не помню.

Через десять дней книги сменили. Тогда я получил «Пармскую обитель» Стендаля, воспоминания Панаевой. Днем я читал, ходил по камере, отсчитывая перегоны, перекладывал спички на тумбочке, делал зарядку, спал. Ночи были бессонными вопреки всем самоуговорам и приказам себе. С вечера засыпал, потом будил толчком внезапный голос, то ли приснившийся, то ли реальный, или шаги у двери. Сердце колотилось у самого горла. - Закуривал. - Пытался читать. - Сочинял, - Придумывал алгебраические задачи. - Несколько ночей упрямо занимался построением разных вариантов золотого сечения. - Все стихи, возникшие в этой камере, забылись начисто; помню только, что сочинял поэму о Германии и большое торжественное послание Наде.

Вдоль наружной стены внизу тянулись две параллельные темные трубы отопления. Верхняя проходила чуть ниже изголовья койки. Однажды я услышал в трубе настойчивый вопросительный стук «по клетке» 2-5… 4-3… 3-4… 2-5… 4-3… Кто? Кто? Я лег ничком, стал тоже стучать и вдруг услышал в трубе женский голос. Он звучал издалека, слабо, но достаточно внятно. Чередуясь с постукиванием, повторял:

- Я тебя слышу… Возьми кружку… Слушай кружкой… Не стукай… Говори через кружку… Слушай ротом… Найди точку…

Хорошую точку, где лучше слыхать.

Из рассказов ветеранов я уже знал, что по трубам отопления можно переговариваться, установив алюминиевую кружку в подходящей точке так, чтобы говорить в кружку, а прижав к ней вплотную открытый рот, слушать.

Так оно и получилось. Собеседница оказалась в камере через две от моей - в промежуточных никто не откликался.

Она представилась: Тоня, Антонина; рассказала, что сидит еще с тремя женщинами: Анька-полуцвет и две бытовые тетки… У всех следствие кончено, ждем суда… Я по 163-1 гэ, но только это шьют дуриком, вроде государственная кража с компаньенами… Там один мальчик гулял с моей подругой, и его где-то попутали… Шьют, будто он магазин работал с партнерами или сберкассу… Мне это без интереса, я училась на портниху и на парикмахера… Живу с мамой. Она вдовая, служащая в одном тресте по хозяйственной части, там, знаешь, кладовая, гардероб, уборка помещения… Ну вроде завхоза, я точно не скажу… А я с 26-го года… Я еще взамуж не ходила. А ты кто? По 58-й? Ой, значит, фашист? Оправданный? Не свистишь? Так ты зайди к моей маме…

Она подробно растолковала адрес и в последующие дни несколько раз переспрашивала, не забыл ли.

- Ты ей скажи, чтоб адвоката взяла хорошего, а какого и насчет грошей, чтоб спросила у дяди Васи. Так и скажи - дядя Вася, что мне родич, он папин двоюродный. Он самостоятельный, на большой работе, не знаю точно какая, потому что очень секретная… Так что ты и не спрашивай, а скажи, что я велела, чтоб пошла к дяде Васе, а мне пускай передаст четыре головки луку и три головки чесноку… Значит, ты был и она поняла. А ты правда фашист? Или, может, фраер и только косишь под фашиста?

После первых же бесед было ясно, что Тоня либо чистая «жучка», «воровайка», либо на пути к этому - «полуцвет», «приблатненная». Разговаривала со мной только она, от сокамерниц передавала приветы.

- Они вертуха боятся, чтоб в трюм не спустил. Нервные дамочки. А я девочка московская, мне вся милиция знакомая. Я и днем никакого мужика не боюсь, а ночью пускай он меня боится…

Назвался я предусмотрительно Лешей Кошелевым, не хотел «серьезного знакомства», а на случай неожиданной встречи - значит, плохо расслышала.

Утром, сразу после поверки, труба нетерпеливо цокотала - дежурные прошли и до раздачи хлеба коридор пустел. Стуком

определяли точку.

- Доброе утро, Леша. Еще не выгнали?… Чего снилось? А мне снилось, что я вроде на танцах или в клубе и тут кого-то хоронят. А в гробу лежит один знакомый мальчик, но только он живой и вроде надсмехается… Вот тут женщины говорят это хороший сон - если похороны видеть… А ты как понимаешь?

Когда их водили в уборную, Тоня успевала заранее предупредить и просила, чтоб я стал посреди камеры лицом к двери. Несколько раз она ухитрялась заглянуть ко мне в волчок. Тогда я слышал за дверью басовитое хихиканье.

- Лешенька!… Ой, гражданин дежурненький, я ж думала, там никого нет.

И топот.

Потом она кокетливо лопотала в трубу:

- А ты не такой, как я воображала… Я даже не мечтала, что ты такой черный, солидный… Я обожаю, чтоб король крестей. А ты не с Кавказа будешь? А вроде на нацмена похожий и усы, как у товарища Сталина. У тебя мама еврейка? Ну и что, у них тоже бывают хорошие люди. Я одну евреечку-маникюрщицу знаю, такая самостоятельная, и мы с ней как подруги… А ты, когда пойдешь на прогулку, стукни. Я спичкой волчок открою, у нас стеклышка нет и ты посмотри: я в красной кофточке.

Однако я мало что видел при таких смотринах по близорукости и в спешке. Выводные обычно сердито кричали, грозили оставить без прогулки. В камере чуть больше моей теснились четыре койки. Над красной кофточкой угадывалось широкое лицо и лохматые серо-русые волосы.

- Ну, видел? Как я тебе показалась? Точно дама бубей, только это ж я неприбранная, а ты б видел, когда я с перманентом, бровки наведу, губки подмажу, такая девочка, хоть с генералом гулять. - И внезапно еле слышно: - А вот и бубновая… Что ты, зараза, понимаешь, ты на себя посмотри, жаба. Вот закатаю в лоб, так узнаешь, кто червей, а кто бубей… Падло червивое… Ой, Лешенька, у нас тут разговор между собой. А ты анекдоты знаешь? Расскажи какой повеселей. А потом я тебе спою…

Анекдоты она и сама рассказывала, густосальные, иногда приговаривая «извините за выражение». Пела цыганисто «Мой костер», «Соколовский хор у яра».

- Тюремных я не знаю, ты что, думаешь, я блатная жучка? Это я только шутю, вроде как артистка… Насмотрелась в тюрьме. А ты не думай, Лешенька, я хорошая девочка, самостоятельная мамина дочка… Я мечтаю на доктора учиться…

Мы скоро убедились, что их камеру и меня всегда водят в одну и ту же уборную, и там нашли «заначку» - щель за батареей,

обтянутой прохудившейся проволочной сеткой. Я стал класть туда «передачки»: узкие свертки с конфетами, печенье, мамины пирожки, сигареты, а Тоня мне к Новому году две «марочки» - носовые платки. По углам незабудки и пестрая мережка.

К Новому году я уже стал свыкаться с мыслью, что оправдание не утвердили и теперь меня опять передадут на О СО - это значило опять лагерь. Но ведь не может быть больше пяти лет, а я уже скоро два года - почти полсрока, и поэтому далеко не должны угонять… А что, если просто не хотят полного оправдания, дадут три года, применят амнистию, но чтоб жил не в Москве, не на идеологический работе… Буду заниматься всерьез медициной, писать… Если уж остался жив после такой войны, значит выживу и в лагере. Или амнистированный завербуюсь в Заполярье, на Дальний Восток, там докажу…

Коридорные уже привыкли ко мне. Благодушный толстяк каждый раз, объявляя отбой, говорил:

- Давай спать, чтоб напоследок выспаться, а то дома жена спать не даст…

Но злой коротыш, который дежурил, когда я добивался книг, вывел меня на вечернюю оправку после всех и приказал:

- Мой туалет!

Я не стал возражать, полагая, что дошла очередь до моей камеры. Орудуя шваброй и ведром, я добрый час провозился в большой уборной: шесть очков, длинный бетонированный ровик - писсуар, четыре умывальника с восьмью кранами. Нужно было выгрести окурки из-за писсуара, смыть грязь с пола и со стен.

Но через два дня тот же дежурный опять вывел меня последним и опять: «Мой туалет!»

Я сказал:

- Не стану, я уже мыл два дня назад.

- Ну и что? Значит, умеешь. Мойте, потому что и теперь обратно очередь. Или вы офицер и ручки не хотите пачкать?

Он оскалился с такой злобой, что меня просквозило холодной безнадежностью: этому ничего не объяснишь, не убедишь и уж, конечно, не разжалобишь.

- Не буду мыть, не моя очередь. Не имеете права издеваться.

- Ну и сиди всю ночь в говне. Офицер! Он захлопнул дверь.

Я стал стучать шваброй в железную дверь и кричать:

- Дежурного! Требую дежурного по тюрьме. Прекратите издевательство!

Через несколько минут он открыл глазок и сказал торжествующе медленно:

- Был отбой. Будешь стучать и шуметь, свяжем и тут же, в сральне, до утра валяться будешь. Хотишь так ночевать, офицер?

Потом можешь жаловаться хоть в Верховный Суд…

Выбора не было. Ночевать в уборной, даже не связанным, в сыром зловонии, а потом жаловаться и чего добиться? Если мне поверят, ему сделают замечание. Но поверят ли? У меня свидетелей нет, а у него в соседнем коридоре найдутся приятели - охотники потешиться над «офицером». Я даже не стал ругаться, молча принялся убирать. Через час или полтора он пришел за мной. Я услышал, что идут двое, но он открыл дверь так, словно был один: я не мог видеть второго…

- Не халтурил? Все помыл?

- Можете проверить.

- Ведро и швабру ставь в угол.

Я шел молча, как положено, впереди него, сцепив руки за спиной. Но у открытых дверей камеры повернулся. Его партнер-свидетель уже не прятался, а стоял на площадке, курил. Я остановился на пороге и стал пристально глядеть на моего воспитателя, но так, чтобы взгляд был любопытным и даже жалостливым.

- Давай, давай, чего стал… Давай, проходите в камеру… Ну, чего глаза пялишь, чего не видел…

- Я вижу, что вы опасно больны.

- Кто больной? А вы что, доктор? Вы ж офицер!

- Можете посмотреть в моем деле. Я имею медицинскую подготовку и опыт. В лагере работал в больнице. И я вижу по вашим глазам, может быть, вы еще сами не знаете, но вы очень больны. Такой цвет лица, такие глаза бывают при язве, при раке желудка или печени…

Я говорил тихо, ласково.

- Ладно, ладно, тоже еще медицина. Давай спать. Отбой был. Разговоры не положены.

В следующее его дежурство мне показалось, что днем, выпуская на прогулку, и вечером, принеся передачу, он был словно даже приветлив. Я ждал медицинских вопросов и начал подумывать, не потребовать ли гонорар за консультацию, чтобы он пустил ко мне Тоню… Поэтому и не торопился на вечернюю оправку и опять оказался последним. И он победно ухмыльнулся:

- Давай, доктор, мойте туалет!

Я злился на собственную глупость, оказался таким дураком. А его ненавидел. Возвращаясь в камеру, я успел сказать елейным тоном:

- А все-таки мне очень жаль вас, гражданин начальник. Очень трудно вы умирать будете, в страшных муках…

У него глаза стали щелками;

- Не разговаривать!

И уже закрыв дверь, яростно клацая ключами, хрипло шептал с той стороны:

- Сам подохнешь раньше… твою бога мать… Подохни ты сегодня, а я завтра.

В следующее его дежурство я уже был начеку и вечером отказался выходить на оправку.

- Не надо, потерплю до утра.

Приятно было видеть его на мгновение растерянным - этот простейший ход не был предусмотрен, а заставить меня выйти из камеры он не мог.

В новогоднюю ночь я поздравил Тоню. Мы к тому времени уже вполне подружились. Но я все-таки стеснялся в выражениях, она же, расстроенная тем, что Новый год встречает в тюрьме, сказала:

- Эх, оттолкнуться бы, а? Как у тебя, маячит? Может, попросим вертуха? Дай ему на лапу там вантажей каких, а я скажу, что голова болит, в грудях тоска. И пульнусь к тебе. Оттолкнемся хоть разок для Нового года.

Я долго осторожно стучал, пока услышал коридорный - благо, то был не мой враг, - угодливо поздравил его с Новым годом и стал объяснять, что у меня через две камеры невеста. Если б можно было на полчаса. Никто ж не узнает… А я ничего не пожалею… вот свитер… чистая шерсть. Новые американские носки…

Он отмахнулся, не сердито, но решительно.

- Да что вы охреновели?! Это чтобы я на ваше место. Да не на ваше, а похуже. Нет, нет, и не думайте. Это вам легче луну с неба… Тут же Бутырка! Понимаете, Бутырка?! Тут во всех стенах ухи, а во всех дверях и потолках глаза… Нет, нет, лягайте и спите и скажите спасибо, что я ничего не слышу, как вы с той невестой по трубе разговоры разговариваете… За это же и вам и ей карцер положено. И невеста она такая, как я жених. Вам вот на волю, может, сегодня-завтра, а это же проститутка и вся гнилая…

На Новый год принесли необычайно роскошную передачу - жареную курятину, сладкие пироги, шоколод, сигареты. Обилие лакомств огорчило, видимо, они там уже знают, что мне еще долго сидеть и хотят подсластить горькую новость, которую я скоро должен буду узнать.

Я приказал себе быть готовым. Первую ночь в новом году спал уже не просыпаясь. И вторую тоже. Удвоил число движений зарядки, подолгу боксировал с тенью, истово колотил по железной раме койки ребрами напряженных ладоней, чтобы затвердели, если придется драться на пересылках. Вечером ходил и ходил, стараясь устать по-настоящему. И уже не складывал на

ночь все вещи в мешок, чтобы не возиться, если вызовут. Я запретил себе надеяться и ждать…

Но в ночь с 3 на 4 января, едва только защелкал ключ, я мгновенно проснулся. В двери - широкое лицо. Незнакомый смотритель подмигнул и, как-то весело махнув головой в сторону, сказал негромко: «А ну, давай…»

В несколько мгновений я был готов, хотя все еще не позволял себе надеяться, только что не вслух твердил: «Переводят в другую камеру… за ОСО… переводят в другой корпус…»

Но дверь осталась незапертой. Это было необычно. Я осторожно приоткрыл ее.

- Готов? Ну, пошли… Иди, не оглядывайся, чтоб тюрьма не снилась!

Неужели он мог бы так пошутить, этот славный, добрый, веселый человек, если бы просто переводил в другую камеру?

Мы прошли в соседний коридор, там уже стояли несколько человек с мешками, лицами к стене, руки назад. Меня прознобило - так собирают на этап.

- Становись сюда.

Я оказался во втором ряду один. Передо мной затылки. Щепотом, сдавленно:

- Куда этап, мужики, не знаете?

- Не разговаривать, а то обратно пойдешь! Окрик обычный, но угроза не обычная. Один из стоявших впереди хихикнул:

- Этап на станцию Березай, кому надо - вылезай.

Привели еще нескольких. Молодой парень громко спросил:

- Это, значит, все, кто срока отзвонили? Потом опять был бокс на «вокзале». Но я не запомнил никого из тех, кто в ту ночь освобождался, ни одного лица, ни одной судьбы.

Меня вызвали, и я отвечал, стараясь, чтоб не слишком громко, не так явственно ликующе:

- Оправдан… Родился в Киеве… Семья в Москве, по адресу…

Мне принесли ремень, ботиночные шнурки, деньги, карандаши.

Опять «играл на пианино»: сверяли оттиски пальцев. Но теперь дали мыло и щетку - отмыть руки; на волю надо чистым.

Сонный подполковник в канцелярии выдал справку об освобождении.

- Жалоб нет? Распишитесь, вот в неразглашении режима. Понятно? Никому чтоб не говорить про тюрьму, про следствие, ни жене, ни мамаше… Подписку даете, значит, в случае нарушения - ответственность по всей строгости… А вот пропуск на выход.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь торжественное, значительное и услышать такой же ответ. Но я ничего не

придумал, только встав, лихо щелкнул каблуками и этак, ухарски-бодро сказал:

- Желаю счастливого Нового года, товарищ подполковник!

Он посмотрел удивленно, но улыбнулся:

- Взаимно.

Потом с мешком я вышел из больших темных дверей на заснеженный двор. Дежурный сказал:

- Предъявите пропуск на проходной. Иди, не оглядывайся.

- Всего хорошего. Прощайте.

Через двор меня повел угрюмый смотритель, зябнувший в черной шинели. В проходной сидели розовомордые в тулупах. Опять вопросы: имя, отчество, год рождения, место рождения, адрес жены… Какой-то шутник напоследок спросил:

- А может, еще побудешь? А то там холодно и еще темно… Может, посидишь в тепле?…

Все загоготали, и я смеялся. Пожелал им счастливого Нового года. Опять услышал: «Иди, не оглядывайся». И вышел за ворота.

Было шесть утра. Широкую пустую улицу продувал морозный колючий ветер. Летела снежная пыль.

Дома стояли темные, но кое-где уже вспыхивали розовые и желтые окна.

Катили редкие грузовики.

Я шел не спеша, знал, что до дома, где жила Леля, недалеко, нельзя же в такую рань.

На стенах белели плакаты - предстояли выборы, я прочел биографию кандидата, помню только, что сразу поверил: прекрасный человек…

Появились первые прохожие. Было очень холодно. Я шел по московской улице. Шел, куда хотел. Мог дойти до метро, мог повернуть, мог идти прямо.

Скоро - теперь уже через час-два - я приду домой, увижу всех.

О чем я думал тогда? Не знаю. Наверное, и тогда не мог бы толком сказать, о чем думал… Когда уже можно идти к Леле?… Где ждать? Зайти ли в подъезд или почитать афиши и вчерашнюю газету на стене… Я успел только телеграммы просмотреть.

Мерзли ноги, поддувало под бушлат. Поскользнулся, чуть не упал и вдруг испугался до ужаса - ведь мог здорово расшибиться, сломать ногу или руку. То-то было бы свободы. Пошел еще медленней, ступал осторожно. Читал афиши. Курил, промерз. Считал загоравшиеся окна. Опять прочел биографию кандидата…

И был счастлив. На мгновение даже понял это - я счастлив.

Глава тридцать четвертая
ИНТЕРМЕДИЯ

По тускло освещенной лестнице - на улице было еще темно - я взбирался, промерзший и счастливый, с трудом подавляя нетерпение, медлил, прислушивался; в квартирах было тихо, там еще спали; останавливался на площадках, курил, снова и снова повторял себе: а ведь это воля, вот она воля…

Почему же я спокоен и ничего особенного не ощущаю? Ведь вот оно, то самое мгновение, о котором столько мечтал, в стольких снах видел, верил и не верил, отчаивался и надеялся. И вот серая лестница; желтые грязные стены; пахнет кошачьим дерьмом; откуда-то радио; звонит будильник…

Сейчас я постучу, войду, и за мной не запрут дверь, не будет поверки, не будет «руки назад!», решеток, намордников; не будет застойной духоты - унылой смеси из кислого пара баланды, парашной вони, терпких запахов прожарки и густого дыхания махорки, при котором дымы всех Табаков пресны или плесневело-слащавы. Не будет столыпинских вагонов, боксов, не будет конвоиров и вертухаев, ни добродушных, ни злобных…

До Бутырок пятнадцать минут - тысячи полторы шагов, а ведь там - другая планета, тот свет… А здесь воля…

Хлопнула дверь. Женский голос. Еще входя в дом, я решил, что позвоню Леле лишь после того, как хотя бы из одной квартиры выйдут. Часов у меня не было. Прикидывал: скоро уже семь. Не рано ли еще? Вот она, дверь: «Е. Арлюк». Кажется, там шаги, скрип дверей. - Жду. - Голоса. - Музыка. - Радио. - Зарядка. - Звоню.

Леля в халате. Она будто не изменилась. Близорукая пристальность доброго взгляда и нарочитая ироничность, чтоб никаких сантиментов.

- Ага, заявились, наконец! А мне уже надоело ждать.

Обнимаю ее и внезапно ощущаю: под халатом только сорочка. И запах мягкий, еще сонный. И кожа белая, ласковая. На миг словно глотнул стакан водки. Жаркое напряжение всего тела. Едва слышу, что она говорит. Сам лопочу какую-то чепуху, спохватываюсь, спрашиваю о сыне. Худой заспанный мальчик выглядывает из-за шкафа. Леля командует.

- Немедленно в ванную! На вас же смотреть страшно и противно! Невообразимое чучело. В ванне переоденетесь. Вот ваше барахло, ждет вас уже месяц.

Я многословно объясняю, что совсем недавно был в бане, что

у нас там гигиена, прожарки, вшей - ни-ни и быть не может…

В ванной зеркало. А еще лез целоваться, болван. Нелепые усищи, черная щетина закрывает лицо, глаза растерянные и воспаленные, покрасневшие - перекурился натощак.

Надеваю костюм, трикотажную рубашку с галстуком. Выхожу, знакомлюсь с Лелиной работницей, пью горячий и душистый чай в тонком стакане… Все время порываюсь к телефону, Леля разрешает позвонить только после чаю.

- Придите хоть немного в себя и не мчитесь сразу же домой. Ведь нельзя, чтобы Майка и Лена увидели своего папочку таким чучелом. Совершенный бандит, махновец. Сколько они вас не видели? Три года, Леночке тогда было четыре, она, вероятно, вообще ничего не помнит. Да и Майка не очень. Ваша мама и Надя могут потерпеть еще полчаса. Парикмахерская открывается в восемь. Сначала побрейтесь, потом езжайте.

Звоню домой. Слышу восторженные, ликующие голоса. Мама, конечно, плачет.

Леля укладывает мое тюремное имущество в чемодан.

- Вот, не забудьте конфеты. Вы должны привезти дочкам гостинец. Вы же приехали из командировки.

Серое пальто. Его я взял с собой, уезжая в августе 41-го года в Кубинку, там сменил на шинель. Старшина в каптерке велел уложить «вольные вещички» в мешок, надписать адрес семьи. Тогда это казалось нелепо наивным. Немцы уже в Смоленске, ночью опять бомбили Москву. И вдруг «вещички»… А какой адрес? Надя с девочками и с мамой еще в июле уехали в Пензу. За два дня до моего отъезда бомба угодила в почту на Ордынке, и в нашем доме вышибло окна, кое-где даже вырвало запертые двери. Сколько наш дом еще простоит? Но приказ есть приказ. На ненужном мешке надписал ненужный адрес. И оказалось, что его все же доставили через два года. Уже после того, как мама и Надя вернулись в Москву из Казани, куда их занесло эвакуацией и где они почти все вещи поменяли на хлеб, на молоко, на лук.

Это пальто было очень щегольским в 1940 году, впервые не купленное, а пошитое и впервые из заграничного сукна: мама купила отрез, доставленный из Львова или Белостока; ткань поразила ее и всех нас: очень плотная, с одной стороны в черно-серую елочку, а с другой в клетку и по меньшей мере четырех разных оттенков черно-серого.

Надев это мирное пальто, я вышел на утреннюю улицу, уже многолюдную, шумную. В парикмахерской опять зеркало - из мыльной пены постепенно возникал некто, смутно знакомый, тощий, растерянно ухмыляющийся.

И вот все та же, заставленная шкафами комната, веселые

голоса девочек. Майка выросла, говорливая, ласковая, черные косички; а Ленка похожа на японку, сдержанная, словно рассеянная. Мама очень похудела и постарела - на улице я не узнал бы ее. И Надя похудела, сутулится, старается быть безмятежно веселой, но вижу, что ей очень трудно и с мамой, и с девочками. Это и Леля успела мне сказать:

- Вы не думайте, что только вам было плохо… Я понимаю, вам было очень, очень плохо. Но вы должны помнить: Надя - подвижница, и героиня, и страдалица. Ей с вашей мамой и с вашими девочками бывало, ей-богу, часто не лучше, чем вам. Она сверхчеловечески терпелива, я бы на ее месте не выдержала и одного дня…

Отец неизменен; он убежден, что все прекрасно, а будет еще лучше; передает приветы от родни, рассказывает необычайно подробно, как меня ждали, что было вчера, позавчера, кто что сказал…

Еще до меня пришел Миша Аршанский, он поседел, посуровел, но стал настоящим красавцем - очень эффектен в кителе с золотыми погонами.

В первый же час приехал еще один старый приятель, Борис Сучков. Он изменился по-другому - розовый, гладкий, наодеколоненный, нарядный, шуба на меху с пышным воротником. И говорил как-то необычно, словно бы невольно покровительственно.

- Ну теперь за тебя надо взяться, запрячь в работу… Отдыхай не слишком долго, не запивай…

Он рассказал о планах своего издательства иностранной литературы: его недавно назначили директором.

- Будем издавать сотни, тысячи книг. Необходимо наверстать все, что упустили за войну… Мы, разумеется, должны быть первыми в мире во всех областях культуры.

Невзначай, между прочим, как о самом обычном:

- Позавчера, когда я докладывал Маленкову… Об этом мне звонил Александров, сказал, что лично товарищ Сталин интересовался. Тогда я обратился к Ворошилову, он ведь свой, простецкий…

Больше месяца я жил в суматохе: встречи, попойки. В промежутках обсуждал проекты, где работать. Белкин и Александр Аникст настаивали: иди преподавать. Николай Николаевич Вильмонт звал в журнал «Советская литература на иностранных языках». Звонили из Института международных отношений, предложили читать курс немецкой литературы на немецком языке.

Михал Михалыч Морозов, похудевший и обрюзгший, но все

такой же рассеянно-патетичный, убеждал возвращаться в Театральное общество в кабинет Шекспира: «Будете, как до войны, моим комиссаром».

В очереди к троллейбусу меня встретил Роман Самарин, обнял, растроганно пришепетывая:

- Я все знаю про вас, я так рад вас видеть. - Записал телефон. - Обязательно нужно встретиться, я столько хочу услышать от вас.

Исаак Маркович Нусинов расспрашивал о лагере, особенно о тех, кто сидел с 37-го года. Он потемнел, ссохся, эспаньолка совсем поседела. Но говорил так же категорично, как раньше. Он рассказывал, что нарастает антисемитизм, теперь уже и в партийным аппарате, даже в ЦК.

- Недавно вызвал меня этакий самоуверенный, молодой, но уже раскормленный чиновник, стал объяснять, что нужно ограничить количество евреев в идеологических кадрах, что этого требует ленинско-сталинская национальная политика и я как старый член партии должен это понять. Я ему сказал, что я, правда, больше тридцати лет в партии, но уже шестьдесят лет еврей и одно другому совсем не мешало.

Профессор Яков Михайлович М., тоже похудевший и постаревший, был тревожно-раздражителен, жаловался на склоки в университете, на шкурников, приспособленцев и тоже на антисемитизм. Он показал мне большую папку. Брошюра - составленная им программа по зарубежной литературе. Статья аспирантки Демешкан, которая врала с явно антисемитской целеустремленностью, будто в этой программе непомерно много места уделено таким писателям, как Гейне, Цвейг, Фейхтвангер, тогда как в действительности они только упоминались в обзорных разделах. Две студентки написали заявление о том, что Демешкан убеждала их в необходимости бороться против «засилия евреев» в университете и вообще в литературе.

Все это - я объяснял и ему, и себе - суть последствия нескольких объективных причин: ведь к нам присоединены еще недавно буржуазные западные области Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии - оттуда родом была Демешкан, к тому же и у нас в первые годы войны, пока гитлеровцы побеждали, фашистская пропаганда находила почву - сорняки живучи.

Впервые об антисемитизме у нас я услышал в начале 1942 года в латышской дивизии; а летом 42-го года, когда я на несколько дней приехал в Москву и зашел к Белкину в «Историю Отечественной войны», И. Минц (будущий академик) рассказал, как в университете уговаривали отказаться от заведования кафедрой старого беспартийного профессора-еврея, а он, Минц, написал в ЦК об этом и еще о нескольких подобных фактах,

имевших место в Наркомздраве, и лично товарищ Сталин наложил резолюцию «антисемитизм - это признак фашизма». Раболепный и трусливый приспособленец Минц тогда показался мне добродушным, даже несколько наивным ученым из тех старых большевиков, которые при любых обстоятельствах умеют видеть и «хватать главное звено», не ведают сомнений и вопреки всем личным бедам непоколебимо верят в партию, в торжество ее идей.

Он объяснял, и я был согласен с ним и сам так же думал, что все закономерно: война вызвала новое обострение классовых и национальных противоречий, которые осложнялись необходимостью национальной и притом именно великодержавной патриотической пропаганды, необходимостью и тактической, и стратегической. Это нужно было понять, отчетливо понять и, разумеется, противоборствовать неизбежным перегибам, крайностям.

Так же думал я и пять, и десять лет спустя. А невеселые рассказы Нусинова и М. казались мне брюзжанием усталых, несправедливо обиженных, но от своих бед поневоле субъективистски настроенных стариков. Ведь М. ругал даже Сучкова: тот по поручению ЦК разбирал его жалобу на Демешкан, в разговоре с ним возмущался грязным доносом, отлично все знал и понимал, но заключение написал «и нашим и вашим», а потом опубликовал статью в «Культуре и жизни», повторяя те же абсолютно лживые обвинения. Это было и погано и непонятно: я знал Бориса, верил, что он честен, разумен и смел. Он писал Руденко, защищая меня. Правда, я заметил в нем новые повадки, эдакую сановитость, барственность, нарочитую значительность. Однако М. и раньше бывал подозрителен; я помнил, как он ссорился с Грибом, с Пинским, может быть, он опять преувеличивает, а Борис, вероятно, знал что-то существенное, важное, чего ни М., ни я еще знать не могли…

Но все разговоры об антисемитизме и все литературные свары, как бы гадки и досаждающи они ни были, не могли стать главными проблемами. Ширилась разруха - нищета, бескормица, голод по всей стране, от Волги до Немана. Об этом я слышал и в лагере, и в тюрьмах. Сколько городов в развалинах. И нельзя было забыть Крещатик - ущелье в обвалах битого кирпича - и опрятно подметенные руины Чернигова, пепелища Рославля, Гжатска, сиротливые печи, торчавшие из груд обугленного мусора в сотнях сожженных деревень.

Еще в лагере я читал о враждебности бывших союзников, о гнусной политике Трумэна; и теперь, хватая газеты, я прежде всего искал, что там о боях в Греции и в Индокитае, об этих

чудовищных атомных бомбах; подтверждаются ли слухи, что Гитлер жив и его прячут американцы.

А тут еще наш явный нажим на Турцию. Какие-то грузинские и армянские академики осенью 45-го года опубликовали длинные письма, в которых, ссылаясь на историю царства Урарту, требовали «воссоединения» с турецкими землями, аннексии Босфора. Все это было отвратительно, едва ли лучше и никак не убедительнее, чем требования Муссолини и нацистов. Доклад Жданова и постановление ЦК о ленинградских журналах я прочел с чувством тошнотворного недоумения и обидного бессилия: зачем это нужно, так злобно, грубо? Кому могут быть опасны стихи Ахматовой, сатира Зощенко, пародии Хазина? Почему Гофман вдруг объявлен реакционером?… Но ведь это решение ЦК, и значит нельзя, нелепо возражать; не противопоставлять же себя партии из-за каких-то литературных несогласий, из-за разницы во вкусах. У нас во всем должно быть единое «за», единое «против», чтоб ни щелочки, ни задоринки…

Вероятно, именно ради этого, ради непроницаемой монолитности и нужно отсекать все, что не похоже, выбивается из единства, топорщится… Если командир полка, геройский, талантливый полководец заставляет солдат ходить строем и в баню, и в сортир и требует, чтобы они пели глупые или похабные песни, нелепо из-за этого начинать спор, пререканья, которые могли бы возбудить к нему недоверие или вызвать его гнев. И то и другое опасно для главного дела, для боя, для подготовки к бою…

Еще хмельной от долгожданной свободы, от надежд и замыслов, я все же не стал ни слепо-глухим верноподданным, ни расчетливым, циничным приспособленцем. И хотя иногда я и впрямь не мог, а иногда и нарочно не хотел, не пытался увидеть, услышать и последовательно осмыслить все, что происходило вокруг, однако я не мог забыть и того, что узнал в тюрьмах, не мог и не хотел забывать людей, оставшихся там, отмахнуться, отречься от них. Я старательно выполнял все поручения: зашел к жене профессора Виноградова, звонил и заходил к родственникам других сокамерников, через Красный Крест разыскал мать и дочь Эдит, оставшейся в Унжлаге. Зашел и к матери Тони: мрачная старуха с узким, поджатым ртом жила в грязном, старом доме в глубине старого, захламленного двора. Она выслушала меня угрюмо-недоверчиво, ни о чем не спросила.

- Ладно, ладно, сама знаю дядю Васю. Так и побежит он за ее платить… Ладно, пошлю ей луку, пошлю…

Ни она ни я не настаивали на новой встрече. Зато муж одной из унжлаговских медсестер, певец из хора Свешникова, навещал

меня несколько раз; мы вместе составили прошение. Он не хотел писать жалобы, а только прошение о милосердии, о великодушии.

Так я словно бы откупался от тех, с кем еще недавно, хотя уже казалось целую жизнь тому назад, лежал рядом на тюремных нарах, задыхался в столыпинских вагонах. Пытаясь помочь то одному, то другому, я давал себе отпущение. Зная, что голодают миллионы, я совал несколько сухарей ближайшим ко мне; спешил мазнуть жидким бальзамом по одной из несчетного множества страшных язв. А сам гулял по Москве, слушал Моцарта в консерватории, заходил в ярко освещенные дома, веселился с друзьями, пил водку, обнимал милую женщину, читал книги по своему выбору и опять шел куда хотел, и ел, и пил, и слушал музыку…

Утром я открывал газету и читал о моей социалистической родине, самой свободной в мире стране, читал о восстании в Африке, о безработице в Англии и в США, а вечером рассказывал друзьям о тюремных встречах и вспоминал войну. И слушал их рассказы. Демонтаж в Германии шел хищнически бесплодно - снимали оборудование целых заводов, вырывали с корнями великолепные механизмы, а здесь их сваливали, корежили, превращали в ржавый лом. На Украине начинался голод. Неужели опять, как в 33-м году? В Москве, в Ленинграде, во всех городах участились грабежи, шла бесстыдная спекуляция, продавали и покупали немецкое барахло, трофейное оружие, ордена, партбилеты… В Киеве была попытка погрома. Демобилизованный летчик хотел вернуться в свою квартиру, захваченную какими-то преуспевающими обывателями. Ему стали орать: «Жид! Где ордена купил?» и набросились бить чем попало. Он выстрелил, убил одного… Похороны превратились в черносотенную демонстрацию… В Прибалтике орудовали банды, на Западной Украине бендеровцы хозяйничали в целых округах. Американцы и англичане снабжали их оружием, забрасывали диверсантов. В Польше еще хуже… И опять и опять говорили об атомной бомбе.

Радость от свободы, от сытости, от всех удовольствий и наслаждений, мысли о книгах, которые буду писать, о поездках в другие города, в другие страны, ожидание все новых радостей не могли подавить тревог и сомнений.

Но каждый раз привычное сознание почти автоматически включало испытанные утешные заклятия о «летящих щепках», «дурных средствах для доброй цели», о «пути прогресса, который не похож на Невский проспект», о законах диалектики, о «варварских средствах преодоления варварства» и т. д.

И главное, хотелось верить, что все еще будет хорошо,

обязательно будет хорошо. Ведь такую войну выдюжили вопреки всему, ведь Сталин, конечно же, гений, и если даже ошибался в частностях, то в главном прозорлив и мудр; он осилил Гитлера, осилит и всех новых, куда менее страшных противников; ведь теперь наши границы пролегли на Эльбе, а в Китае уже начали продвигаться Красные армии. Я верил потому, что не мог не верить, и потому, что хотел. Я хотел верить и надеяться и радовался тем событиям, которые помогали моей вере и моим надеждам.

В один из первых дней я встретил молодую приятельницу - она похорошела и повзрослела, но все же не очень «одамилась». А ее муж, бывший полковник, воевавший на Ленинградском фронте, а теперь заместитель министра, показался отличным парнем - спокойным, приветливым, вполне свойским. Мы с ним пили водку, я рассказывал о лагере, а он о недавней поездке в Восточную Пруссию. Он там жучил директора совхоза, который издевательски эксплуатировал немцев-рабочих, превратил их в бесправных, безропотных батраков, мол, «так они привыкли и вообще: кто кого победил». Пришлось ему объяснять, что об этом говорил Ленин, что говорил и говорит Сталин, что такое классовая борьба и международная пролетарская солидарность. Директор краснел, потел, но, кажется, понял. Обещал и выходные дни, и сверхурочные, и красный уголок…

И сам этот замминистра, и его рассуждения мне очень понравились. Это был государственный человек нового типа - фронтовик, образованный коммунист, честный и здравомыслящий.

Однажды вечером, когда ко мне пришли несколько друзей, раздался телефонный звонок и нас всех пригласили на новоселье. Александр К., бышитий студент ИФЛИ, ставший ответственным деятелем, получил квартиру в новом доме, построенном военнопленными на Хорошевском шоссе. Это было первое настоящее новоселье в моей жизни. За шесть лет, которые я прожил в Москве до войны, никто из моих родных, друзей и знакомых не въезжал в новые дома.

Квартира К. показалась огромной еще и потому, что была пустой. Помню только одну большую тахту, застланную мягким ковром. Гостей было немного и пили немного. Разговаривали весело, дружески.

Кто-то рассказывал, как обсуждали книгу Александрова по истории философии: критика была резкой, но не в пример прошлым временам серьезной, товарищеской, без разгромных, политических, уничтожающих оценок и без оргвыводов.

Сотрудница ВОКСа рассказала, что Хью-летт Джонсон,

побышавший в СССР, ехал в поезде в Киев и заметил, что переводчик всячески старался отвлечь его, чтобы он не увидел на станциях толпы оборванных крестьян и крестьянок, пытавшихся штурмовать вагоны. Джонсон сказал смущенному парню: «Я вас понимаю, но вы напрасно опасаетесь за меня. Не думайте, что это печальное зрелище может дурно повлиять на мое отношение к вашей стране. Совсем напротив, видя это, я проникаюсь еще большим уважением, еще большей симпатией к вашему великому народу, к вашему великому государству. Видя это, я еще лучше понимаю, какие страдания, какие беды вы преодолели. Поражает не то, что у вас еще есть такая нищета, а то, что несмотря на нее, вы так воевали и так строили…»

Другой иностранец говорил, что, конечно, русские рабочие и крестьяне одеты хуже, чем американцы, и питаются менее разнообразно, но зато нигде в мире не бывает такого, как здесь, когда новая постановка в Большом театре или в Художественном или публикация новой поэмы волнует, как личное дело и рабочих, и членов правительства. В этом социализм проявляется раньше, чем в кастрюлях и платяных шкафах…

Домой мы ехали в машине заместителя министра, и мне понравилось, как он говорил с шофером: деловито и по-товарищески. А его жена очень возбужденно рассказывала: накануне она встретила Эйзенштейна, после того, как он был у Сталина, показывал ему вторую часть фильма «Иван Грозный». Сталин сделал много очень серьезных, дельных замечаний, а потом в непринужденном разговоре сказал: «Перед нами сейчас три задачи: во-первых, поднять культурный уровень всех народов СССР до уровня самых передовых слоев великорусского народа, во-вторых, преодолеть возрождение национализма, которое наблюдается у всех народов страны, и, в-третьих, преодолеть в человеке зверя, разбуженного войной…» И еще он говорил, что надо перестать пугать друг друга капиталистическим окружением, теперь пусть капиталисты боятся социалистического окружения.

Этот вечер я часто вспоминал в последующие годы. И когда в тюрьме на шарашке спорил с Паниным, Солженицыным и другими товарищами, друзьями, но вместе с тем «идейными противниками», то среди самых весомых моих аргументов были ссылки на рассказы Эйзенштейна о Сталине, на Хьюлетта Джонсона и свойского замминистра.

Шли дни, недели, а я не уставал радоваться свободе, все новым встречам с хорошими людьми, с друзьями и подругами.

В июле 41-го года я внезапно влюбился в девушку, с которой мы вместе дежурили в одну из первых бомбежек Москвы. Она

писала мне на фронт чудесные письма. Но прошло немного времени, и я уже на фронте был влюблен в другую, влюблен безоглядно и обреченно. Другая была так умна, что видела все мои недостатки и слабости и не раз очень зло говорила о них, и наедине, и при любых свидетелях. От этого я огорчался, мучился, но старался подавлять в себе изобличаемые грехи. Она и сама иногда лгала и лицемерила, но потом, без видимой нужды, вдруг признавалась, каялась и страстно доказывала отвратительность лжи и лицемерия. Пожалуй, именно благодаря ей я избавился от сохранявшейся с детства склонности врать, фантазировать, преувеличивать - и целесообразно, и вовсе бескорыстно. Она была эгоистична и откровенно до цинизма. Однажды, когда я уезжал на передовую, она сказала: «Береги себя, пожалуйста; помни, что я тебя очень люблю, я буду все время думать о тебе, но знай, если тебя покалечит - оторвет руку или ногу, или изуродует - не зови меня и не жди. Этого я не могу перенести и не могу притворяться… Ведь у нас с тобой должна быть правда, только правда, во всем…»

Тогда я разозлился: «Зачем ты говоришь такое, да еще на прощанье, это не правда, а бессмысленная жестокость…» Но потом простил и это, и любил ее, злую, лживую, неопрятную, чувственную. Порой ненавидел до исступления, но чаще любил, да так, что сам становился лучше и ради нее, и назло ей; понимал это и поэтому любил ее еще больше. Она без спроса читала мои письма. И когда летом 42-го года я впервые поехал в Москву, потребовала, чтобы я сказал «той девочке» всю правду, чтоб не вздумал сентиментальничать. Она отлично знала, что я не изменю ей, что «та девочка» хотя и в Москве, но не дома, а в казарме.

Подруга встретила меня таким счастливым и нежным взглядом, так порывисто обняла, что я не сразу решился объясниться. Мы несколько часов бродили по Москве, а потом я всучил ей дурацкое письмо - болтливые рассуждения о благодарности, уважении и необходимости правды. Она посмотрела печально и удивленно.

- Я уже начала догадываться. Но зачем ты спешил, ведь мы все равно врозь… Хоть на время осталась бы иллюзия. Мне было бы легче, а ей от этого не хуже… А так ведь только жестоко…

В тот счастливый январь 47-го года я встретил ее случайно, и она опять была доброй, любящей и все простила; вернула мне дурацкое письмо; я порвал его, и нам было очень хорошо вдвоем, и мы не думали, как будет дальше. Она знала, что я не уйду от Нади, от девочек, и я знал, что она никогда не попросит, не потребует этого…

А та, другая, была опять замужем - от первого мужа она уходила ко мне, - не хотела меня видеть. Некоторым знакомым она раньше говорила: он сам виноват в том, что посадили, наболтал такого, что иначе и не могло быть…

Когда мне рассказали об этом, я вспомнил зловеще туманные слова следователя о том, что в моем деле есть «особый пакет», который мне никогда не покажут, и что в нем есть такие изобличающие показания, о которых я и подозревать не могу… Один раз он внезапно спросил: а помните, как вы говорили, что, конечно, не верите, будто Троцкий и Бухарин получали деньги из кассы гестапо, хотя вроде и считаете правильным, что их ликвидировали?

Я отвечал решительно: это ложь, я этого никогда не говорил, кто это так врет?

Он еще раз переспросил меня: а разве вы так не думали? Ну, признайтесь честно, вы же называете себя честным коммунистом. Вы же знаете, что с партией нужно быть искренним до конца.

Тогда, глядя ему в переносицу, я, не мигнув, соврал: нет, нет и нет…

Хотя знал, что это были мои слова и я мог сказать их только очень близкому человеку. Мог сказать Нине Михайловне в пору наибольшей близости, или той - другой… Но Нина была свидетелем обвинения, следователь с ней не церемонился, на очной ставке даже приписал ей показания против меня. Почему бы именно эти сведения он стал откладывать в особый пакет? После допроса, когда говорилось об «особом пакете», я вспомнил, как та, другая, рассказывала, что в 1937-1938 годах ей пришлось давать показания против своих институтских подруг.

- Меня запутали, вынудили.

Она говорила общими и туманными словами: «Страшно стыдно вспоминать… я тогда не могла иначе… я верила, что это необходимо, я очень боялась… меня ведь исключили из комсомола, потом восстановили… это было так страшно, так жутко… Не хочу вспоминать. Потом я сразу все кончила. Муж сказал: «Ты просто не ходи к ним больше. А если позовут, скажешь - больна, психика подорвана»… Я так и сделала…»

А что, если она тогда не совсем покончила? Или ее потом опять нашли и «взяли на крючок»?

Когда мы ссорились, она не стеснялась никого, даже вовсе чужих, случайных людей и зло упрекала меня в легкомыслии, фанфаронстве, тщеславии. Беспощадно правдиво изобличала мои выдумки, утешительные для кого-то или шутливые, и все, что ей казалось выдумкой, преувеличением либо «пустой трепатней». При этом она не кричала, не бранилась, только говорила громче

обычного, и звеняще напряженный голос возникал где-то ниже гортани.

- Ты хочешь быть хорошим для всех и всем нравиться, чтоб о тебе говорили: «У него душа большая, такая широкая». Твоя душа - вагон, в который ты всех пускаешь и никого не хочешь выпускать, пусть едут до самого конца. А ведь это невозможно. В твоем вагоне всем тесно и неуютно, все равно из него выходят и будут выходить. А ты добренький от трусости, ты боишься, что кто-то обидится, боишься, что про тебя плохо подумают, плохо скажут. Ты не глуп, но и не слишком умен, и ты не умеешь отличать главное, важное от мелкого, случайного, не видишь сути дела из-за поверхностных узоров… Поэтому ты всегда будешь неудачником… А я за тех, кому везет, я не терплю несчастненьких. Жалость - это унизительно, я не верю в нищих гениев и в доблестных страдальцев…

Что, если она с такой же злой искренностью пересказала кому-то все то, о чем мы толковали с глазу на глаз, когда, урвав час-другой, уходили в густой ивняк над валдайским озером? Тогда она тоже, бывало, злилась:

- Я не нимфа, не влюбленная пейзанка, чтоб тешиться в траве-мураве, я хочу в чистую постель, и чтобы не прислушиваться, не оглядываться и никуда не спешить, и не думать: хватится товарищ батальонный комиссар…

Иногда мы спорили. Она уверяла, что любит Сталина больше, чем Ленина, что Ленина слишком заслюнявили домашними воспоминаниями. Ей это не нужно, она не хочет знать, с кем спал Пушкин и что кушал на завтрак Лев Толстой - ей нужны стихи, книги, а не сплетни об авторах, и она также не хочет знать, как Ленин слушал музыку, играл с детками у елочки и называл Крупскую Надюшей… Это все мещанская мишура, стеклярус, оскорбительный для алмазов. Сталин сказал о Ленине «горный орел». Наверное, кто-нибудь хихикал: как же так - лысый, картавый, книжный, кабинетный и вдруг «горный орел». Но это и есть настоящая правда, орлиная, сталинская…

А я возражал, говорил, что Ленина люблю больше, именно люблю с детства, как-то органично, семейно. А Сталина раньше даже недолюбливал, потом очень уважал, но эмоциональную приязнь к нему почувствовал только в первые месяцы войны, а всего больше, когда услышал его голос 6 ноября из Москвы, тогда полюбил уже по-настоящему и простил ему прошлые грехи; а грехи ведь были и в 30-м, и в 37-м.

Если она и это пересказывала, то могло набраться достаточно для «особого пакета»; я уже знал, как следователи умеют переставлять ударения, а то и вовсе наизнанку выворачивать

слова.

Когда меня освободили, она не захотела увидеться. Это можно было объяснить и нежеланием бередить прошлое, и ревностью мужа.

10 февраля был день рождения Белкина. Шумная, хмельная разноголосица множества гостей; Нина Петровна вальяжно приветлива. Боба с лукавой улыбкой усадил меня рядом с чернявым крепышом в морском кителе с серебряными полковничьими погонами.

- Это мой двоюродный брат Миша, познакомьтесь, вам будет любопытно друг с другом поговорить.

Миша оказался заместителем военного прокурора Балтфлота. Он подробно расспрашивал о моем деле, о людях в лагерях и в тюрьмах. Мы быстро перешли на «ты», он рассказывал, как помешал пришить дело невинному, как спас от расстрела несправедливо заподозренного в убийстве. Потом мы, хмельные, ехали вместе в метро. Мы с Надей выходили раньше; когда уже стали прощаться, он, крепко и дружелюбно пожимая руки, сказал:

- Я очень рад, что с тобой познакомился, очень рад за тебя, ты хороший парень, и Боба тебя очень любит… Но должен сказать: твое дело вели халтурщики… это я тебе искренне говорю, будь я твоим прокурором, я бы такой халтуры не допустил… 58-ю нужно дожимать…

Я не сразу понял… За окнами вагона уже посветлело, мелькал розовый гранит. Неужели это он спьяну? Но Миша, все так же приветливо улыбаясь, повторял:

- Я за тебя очень рад. Но у меня ты отхватил бы не меньше пяти лет. Нет, 58-ю нужно дожимать…

Я не успел ничего ответить, вдруг захотелось двинуть смаху кулаком, оранут по-лагерному… долбаный в рот, гнилую душу, гад… Но Надя уже тянула к выходу. Он весело помахал на прощанье, и я промолчал.

В один из первых дней свободы я подал заявление в Парткомиссию Главпура, прося восстановить меня в кандидатах партии. Партследователь при первых встречах был дружелюбно любопытен, потом, когда я по телефону узнавал о дне заседания Парткомиссии, он отвечал все более холодно, едва ли не раздраженно и наконец потребовал, чтобы я представил полный текст оправдательного приговора.

Для получения денежной компенсации за необоснованное заключение и для того, чтобы демобилизоваться, достаточно было простой выписки из решения трибунала. Но, оказывается, нотариальные конторы не снимали копий с документов, приходящих из трибуналов. Нужно было просить копию

непосредственно в трибунальской канцелярии.

В первый раз, когда я снова прошел по знакомому коридору, я испытывал неотвратимую тревогу. Увидел: конвоиры вели под руки кого-то в темном бушлате - и сразу представил себе, куда и откуда его вели, словно внезапно дохнул злой тюремной вони.

В кацелярии серьезные щеголеватые девицы и развязные люди в мундирах с серебряными погонами рассматривали меня как диковину; почти не стесняясь, одни уходили, приводили других.

- Этот? Ага, тот самый…

Так я получил выписку. А потом пришел за копией приговора для Парткомиссии. Опять было щемящее, унизительное ощущение то ли страха, то ли тревоги. Опять приходили глазеть на меня штатские и мундирные. В канцелярии сказали, чтоб за копией пришел через несколько дней.

Но уже на следующий день меня вызвали на заседание Парткомиссии. В старом доме на Знаменке (ул. Фрунзе) некогда было юнкерское училище, потом Реввоенсовет и наконец Главпур, белые колонны, красные ковровые дорожки. За длинным столом сидели поблескивающие погонами, пуговицами, шитьем и орденскими колодками полковники, подполковники, какие-то морские чины, кажется, и генералы. Меня посадали у торца. Докладывал партследователь. Нудным, бесцветным голосом он читал по бумажке, словно бы написанной Забаштанским. А потом мне задавали вопросы - и вопросы были злобные, не нуждавшиеся в ответах:

- Так как же вы могли заступаться за немецких солдатов, как вы могли забыть об их злодеяниях?

- Что же вы себе думали, когда вместо того, чтобы выполнять боевое задание на территории противника, вступали в пререкание с командованием, мешали солдатам и офицерам?

- Ваша боевая задача была - разлагать войска противника, так? А вы, значит, разлагали свои, советские войска? И после этого еще посягаете, чтоб вам вернуть партбилет, а еще, может, и наградить?

Моих возражений никто не слушал. Когда я отвечал, они переговаривались между собою, листали бумаги, курили. Когда я сказал о решении трибунала, кто-то крикнул:

- Трибунал освободил вас от уголовной ответственности, это еще не означает рекомендации в партию… Где этот приговор, почему его нет в деле? Ага, не представил!

Моя голова была словно наполнена кипятком до самой макушки, в глазах, в ушах пульсировал жар. Я пытался говорить о фактах, о том, как изобличили клеветников, почему им удалось

тогда обмануть партсобрание и почему я недостаточно спорил.

- Он еще называет клеветниками честных коммунистов, которые с ним возились. Какая наглость!

- Как же так получается? Вы осмелились выступать против решения ГКО, против решения советского правительства и Верховного командования и теперь имеете, так сказать, смелость требовать, чтобы вам вернули партбилет?

Я сказал, что это клевета, что в партийном деле есть материалы, убедительно опровергающие эту клевету, - заявление майора Гольдштейна который присутствовал при разговоре, когда по лживому доносу Забаштанского…

- Ну, конечно, Гольдштейн за него заступается… - сказал как бы в сторону, но достаточно внятно широкоскулый белобрысый полковник. - Гольдштейну мы, значит, должны верить, а боевого русского офицера признать клеветником…

- Как вам не стыдно, Гольдштейн такой же советский офицер и никак не менее боевой… Я не ожидал здесь услышать такие речи…

Председательствующий застучал карандашом, издали я не видел его лица, слышал, только сытый, самодовольный голос:

- Призываю вас к порядку! Вы собираетесь поучать Парткомиссию Главного политического управления Вооруженных сил? Вы там немцам лекции читали, а теперь собираетесь нам тут читать лекции по гуманизьму…

Вокруг засмеялись, захихикали, захохотали…

- А я так думаю, мы в ваших лекциях не нуждаемся. Что вы еще можете добавить? Но чтобы по существу, только по существу, только конкретно…

Я пытался повторить свое последнее слово подсудимого - сокращенно. Я слышал, как говорю чужим, сдавленным голосом, но на несколько минут я все же заставил их слушать. Стало тихо; больше не прерывали. Кончил я патетически, мол, никогда не боялся признаваться в своих ошибках или провинностях, но в этом деле нет на мне вины ни в словах, ни в мыслях, я жил, живу и до последнего часа буду жить для партии Ленина-Сталина…

Председательствующий сказал:

- Вы можете быть свободны, решение Парткомиссии узнаете завтра у товарища такого-то (партследователя).

На следующий день я услышал по телефону казенно-неприязненный голос:

- Окончательное решение Парткомисия отложила до получения полного текста решения военного трибунала по вашему делу.

20 февраля, ровно через полтора месяца после первого дня

свободы, я опять пришел в трибунал. Тот же коридор, та же канцелярия, те же штатские и военные канцеляристы, но что-то неуловимо изменилось вокруг. На меня смотрели с любопытством, но иным, настороженным или неприязненным.

Хмуро вежливый капитан завел меня в боковую комнату.

- Посидите здесь несколько минут…

И я сразу же явственно представил: вот сейчас войдут с ордером. Что у меня с собой? Рублей 30, не больше, и папирос не полная пачка… За одно мгновение я стал опять арестантом. Опять перехватило глотку отчаяние… И опять начал приказывать себе: не распускаться, хуже не будет, чем уже было.

- Решение трибунала по вашему делу отменено по протесту Главного военного прокурора как недостаточно обоснованное. Военная коллегия постановила передать на новое рассмотрение со стадии судебного следствия в новом составе трибунала.

- Что это значит? Я опять арестован?

- Нет. Решения о мерах пресечения не принималось. Но вы должны дать подписку о невыезде.

Ощущение такое, словно нырнул, было, глубоко в омут и опять вынырнул… Вокруг свет, звонкость, простор…

- А когда будет новое слушание?

- Пока неизвестно. Вероятно, скоро. Ухожу, и по дороге снова наваливается ужас. Это у них просто сейчас не было ордера, а потом придут. Может быть, еще сегодня.

Прихожу домой, задыхаясь от быстрого шага, от панически мечущихся мыслей. Маме стараюсь объяснить возможно осторожнее, чтобы не завопила, не напугала девочек: они уже вернулись из школы. И соседям не надо знать. Начинаю рыться в бумагах, в книгах, отбирать на уничтожение - немецкие трофейные газеты, журналы и книжки, сохранившиеся еще от моих приездов с фронта, издания двадцатых годов, книги «врагов народа» - Пильняка, Бабеля, Бруно Ясенского, конспекты, письма, которые могли бы показаться подозрительными. Все это я рвал на мелкие клочки, выбрасывал в уборную, жег в старом тазу… Разумеется, украдкой, чтобы не заметили.

Пришла с работы Надя, стала мне помогать. Мама побежала к адвокату. Звонили друзья и знакомые. Что-то говорили о работе, приглашали в театр, на дни рождения. Что я мог им отвечать?

Вчера еще это была и моя жизнь, а теперь?

… Когда в феврале сорокового года смертельно заболел Владимир Романович Гриб, друзья пришли к нему в больницу проведать. Он спросил:

- Как у вас там дела на том свете?

Эти слова тогда поразили меня и прочно застряли в памяти,

хотя я не мог объяснить почему. В подъезде больницы на Пироговской все время толпились его друзья, студенты и аспиранты. То и дело кто-нибудь убегал добывать лимоны, аскорбиновую кислоту, тогда она была еще редкостью, ее доставали через летчиков, водивших самолеты в Берлин. В просторном вестибюле мы сидели, стояли, курили, тихо разговаривали, все уже знали, что надежды нет, что чудес не бывает… Белокровие. Но мы расспрашивали выходивших от него родственников, радовались, когда температура поднималась с 35,7 до 35,9, когда уровень гемоглобина сохранялся вот уже вторые сутки. Ведь он был еще жив… В подъезде больницы мы говорили об институтских событиях, о сообщениях из Финляндии - наши войска наступали на Выборг, - в театре Ленсовета премьера «Марии Стюарт», поразительно играет Половикова.

Владимир Романович был еще жив, но уже вне жизни - этой нашей и всякой жизни. Уже на том пороге, за которым черное ничто. Почему черное? Но именно так всегда ощущалось - черный холод без дна, без краев…

О последних днях Гриба, об этом «как там у вас дела, на том свете?» я вспоминал тогда, разрывая книжные страницы и механически откликаясь на телефонные голоса.

- Да, да, конечно, буду. Очень рад. Приду, если буду свободен.

ЕСЛИ ТОЛЬКО БУДУ СВОБОДЕН.

- Нет, я в общем здоров. Просто что-то голова болит. Устал, да, да, с похмелья.

- Конечно, позвоню и приду. Если только буду свободен. Спасибо, привет вашим.

ЕСЛИ ТОЛЬКО БУДУ СВОБОДЕН.

Все они были тот свет, а я не знал, где буду завтра. Может быть, уже через час опять в бутырском боксе и все сначала…

Эту ночь я не спал, слушал сонные шорохи комнаты; мы жили вшестером: родители, девочки, Надя и я - на 17-ти метрах, в закутках, перегороженных буфетом, шкафом, ширмой. Я выходил курить на кухню, холодел от ближнего урчания машин - за мной?

А что, если просто одеться и уйти? Деньги еще есть. Одеться потеплей. Паспорт сохранился довоенный, я не сдал его тогда, в 41-м, позабыв дома, а после освобождения мне его продлили по справке. Пойти на вокзал и уехать… На восток, на север, куда глаза глядят. Завербоваться к геологам, я ведь могу и фельдшером.

Всесоюзного розыска быть не должно - знал, что розыск назначался только по делам о шпионаже, терроре, тяжелой измене родине или об активном участии в контреволюционных

организациях. А там начну другую, совсем другую жизнь. Сменю имя - потерял документы. Буду жить в лесу, в глуши, работать за десятерых. И потом выложу: вот мои книги «Об основах коммунистической этики» и «Почему фашизм победил в Германии».

А что будет с Надей? Ей недавно предложили быть председателем завкома, она член партии, и ведь, конечно, ее обвинят, что содействовала побегу. И отца тоже. Что с ними сделают? Что будет с друзьями, которые за меня заступались?

Если не станут меня ловить, на них еще злее отыграются. А если поймают, как я тогда докажу, что я прав? А если и не поймают, ведь бегство пуще, чем самоубийство - признание вины, подтверждение того, что говорили мерзавцы.

Нет, я не мог убежать, не мог убежать от себя.

Еще несколько ночей я плохо спал, вскакивал, внезапно разбуженный шагами на лестнице или во дворе - опять вернулся тюремный сторожевой слух.

Адвокат успокаивал: вряд ли арестуют, по всей видимости, нужно только изменить формулировку приговора, чтобы не восстанавливать в партии, не затевать дела против обвинителей. А нам нужно подтвердить прежнее решение, нужны новые объективные свидетели.

Я ходил к Исбаху, выпросил у него экземпляр фронтовой газеты «За Родину» с моей статьей о Восточной Пруссии - полный набор военно-шовинистически крикливых бранных слов, отличавшихся от речей Забаштанского только грамотностью, претензиями на стилистические красоты и робкими напоминаниями о немецких трудящихся.

Ходил я и к кинооператору Владиславу Микеше, он был в Грауденце и наблюдал всю нашу работу, присутствовал при том, как командир дивизии генерал-майор Рахимов огласил приказ - благодарность нашей группе за решающую помощь при взятии крепости - и представлял нас к наградам.

Михаил Александрович Кручинский, тот самый друг моего отца, который в 1929 году помог ему взять меня на поруки, в эту войну снова командовал тем же Богунским полком, что и в гражданскую. Он был тяжело ранен в Сталинграде. Жил в Москве, гвардии полковник в отставке. В 45-м году он писал обо мне Руденко: «Знаю его с детства, знаю семью, ручаюсь».

В один из первых дней после моего освобождения он пришел с женой и тремя дочерьми, потом и мы всей семьей ужинали у них, пили водку домашнего настоя; он вспоминал о Щорсе, о гражданской войне, о Сталинграде.

Узнав об отмене оправдательного приговора, Михаил

Александрович сказал, что готов быть свидетелем.

Постепенно я привыкал к мысли, что предстоит борьба только из-за формулировки, что какие-то влиятельные покровители генерала Окорокова и полковника Забаштанского заботятся о чести мундира и не хотят их срамить. И для этого нужно, чтобы суд признал: мол, тогда, во время войны, они все же были правы.

Я не собирался уступать. Парткомиссия Главпура напоминала о том партсобрании 17 марта 45-го года, когда я так постыдно, непоследовательно защищался, признавая свои мнимые ошибки и на вопрос «а почему же они, Забаштанский и Беляев, говорят то, чего не было», только твердил: «Они меня неправильно понимали, не знаю почему, но совершенно неправильно…»

Я ни разу ни на бюро, ни на общем собрании не назвал их клеветниками. Я так боялся обвинения в склоке, мне так хотелось уйти от всего, от политуправления, от плешивого генерала с его шпорами, звеневшими по кабинетам, от золотопогонных охотников за трофеями и орденами, от всех этих наглых, самодовольных, ненасытных иждивенцев победы, которую завоевали не они. Я хотел уйти вперед, в действующие части, где еще шла настоящая война, надеялся, что там можно будет отделаться от мародеров, что там незачем врать, приспосабливаться к подлости. Но всего больше я хотел прочь из армии: войне вот-вот конец, долг выполнен: теперь надо было осмыслить все, что произошло, надо было понять, как, из чего это возникало.

От страха, чтоб не обвинили в склоке, от желания уйти, отстраниться я только оборонялся, но так лишь подыгрывал тем, кто кропал политические доносы и таким образом сам помог им загнать меня в тюрьму. Нет, теперь это не повторится, я не уступлю ни полслова правды, я не буду идти ни на какие соглашения. Тогда Мулин, пустоглазый подхалим, уговорил меня: «Не лезь в склоку, не нападай на подполковника, признай частично свои ошибки, он пойдет навстречу. Получишь выговор, потом опять заслужишь».

Теперь уже не стану договариваться с подлецами. Два года тюрем и лагерей были, пожалуй, заслуженным наказанием за то, что все же врал и унижался до таких соглашений. Пусть слишком сурово наказан, но заслуженно - не надо было лавировать… А может быть, я просто неумело действовал? Может, следовало если уж врать, то хитрее, целеустремленнее, чтобы их обезоружить, столкнуть между собой? Но ведь этого я не мог бы ни при каких обстоятельствах, не мог потому, что перестал бы быть самим собой.

Тогда я рассуждал так: есть этика микрокосма и этика макрокосма. В «макро», то есть в классовой борьбе, в революциях, в войнах, действует только закон целесообразности: цель оправдывает любые средства, лишь бы действенные. А в «микро», в отношениях между людьми, необходимы твердо определенные нравственные законы, догматы, необходимы правда, бескорыстие, человечность. Этот сплав христианского коммунизма и прагматического здравого смысла стал моим символом веры на много лет.

Дни и вечера были заполнены поисками новых свидетелей, добыванием новых документов для защиты, я собирал старые статьи, опубликованные или подготовленные к публикации, отзывы о научной работе. Я старался не встречаться с теми людьми, которым не мог рассказать об отмене приговора, потому что не знал, как отнесутся, а вдруг испугаются или подумают: «Значит, все же дело нечисто». Зато я чаще бывал с подругой, которая водила меня в концерты, в последний раз мы слушали «Реквием» Берлиоза. О работе я думал меньше, откладывая на после суда; вряд ли теперь позволят преподавать.

А по ночам просыпался, задыхаясь от ужаса, мерещилось: во двор въехал воронок, по лестнице уже идут… И днем иногда одолевал тоскливый страх - что будет завтра, послезавтра? В консерватории, читая программу предстоящих концертов, думал, буду ли я еще на свободе в этот или в тот вечер?

Тоскливый и злой я стоял однажды у станции метро «Охотный ряд». Куда направиться?

К подруге или домой, или к Бобе, или пройтись по Красной площади; вечер только начинался, в морозных сумерках сквозило весенней легкостью… И внезапно подумал: ну чего ты, дурак, злишься, ведь вот стоишь, выбираешь, куда пойти, куда поехать. Выбираешь, что хочешь. Ведь это и есть воля. Что бы там ни было потом, но сейчас - воля! И я засмеялся вслух. И, спускаясь в метро, заметил удивленные взгляды встречных - смеется в одиночку, пьяный что ли. От этого стало еще смешнее…

17 марта я обедал у Белкина, мы основательно выпили. Нина Петровна что-то вязала или вышивала, а мы с Бобой мирно рассуждали, философствовали.

Я заторопился домой, накануне заболела Майка; воспаление среднего уха, жар. Тогда, десятилетней, она была смешливой, ласковой, восторженно рассказывала, как они всем классом плакали, когда учительница читала им вслух «Четвертую высоту»: «Это лучшая, самая лучшая книжка на свете…» С малышечных пор у нее осталось нежное словечко «ма-колесеньки» - мой хорошенький.

Мне очень хотелось дружить с дочками. Но виделись мы урывками, чаще всего на людях, и я надеялся, что летом, на каникулах буду больше времени с ними. Еще в тюрьме начал сочинять для них сказки деда Непоседа - доброго чудака, книголюба и волшебника, который запускает детей внутрь книг: в «Одиссею», «Дон Кихота», «Гаргантюа и Пантагрюэля», романы Толстого и Диккенса… Эти сказки должны были разбудить любопытство, желание читать самим. Но каждый раз, когда я собирался рассказывать их Майке или Ленке, раздавался телефонный звонок или кто-нибудь приходил, или мама должна была поговорить со мной о важном и срочном деле.

От Белкина я позвонил домой: у Майки снова поднялась температура, нужно было купить бинты и вату для компресса.

Дома я еще не успел даже снять пальто и подойти к Майке, раздался звонок и вошли двое в темных пальто.

Один из них, не снимая шапки, сказал: «Здравствуйте, Лев Залманович!»

Мое «паспортное отчество», ставшее привычным в тюрьме (на воле и позднее, на шарашке, меня называли по отцу «Зиновьевич»), - сразу пинком в мозг: «Они».

- Вот, пожалуйста, ордер… Вы задержаны. Обыска делать не будем. Давайте только документы, какие при вас.

Мама заломила руки и начала патетически доказывать, что он же оправдан, он же любит родину и партию больше, чем родителей, чем семью. Очень болен ребенок…

Мне было так худо, что даже не мог рассердиться на маму и злился на себя - распустился за последние дни и теперь совершенно не готов. Что брать, как одеваться?

- А вы не беспокойтесь, все выяснится. Можете дать поесть. Вещи там какие соберите. Можно переодеться. Не хотите, чтоб соседи слышали, и не надо, конечно… Мы здесь подождем.

Надя наигранно веселым голосом говорила Лене и Майке, лежавшей за шкафом:

- Папа поедет с дядями в командировку, а потом скоро приедет.

И начала укладывать мешок.

Мама совала мне еду, я заставлял себя не торопиться, думать спокойно. Переодел старое теплое белье, ватные штаны, успел шепнуть Наде: «Число, когда суд, сообщите луком и чесноком: чесночины - десятки, луковицы - единицы; например, 25 - две чесночины и пять луковиц». Поел через силу, выпил водки. Один из пришедших сидел у двери, другой у стола и нетерпеливо поглядывал на часы. Я стал прощаться. Майка в жару, полусонная, обняла меня горячими ручонками:

- Маколесеньки, ты скоро приедешь, да?

- Скоро! Постараюсь. Будь здорова. Обязательно будь здорова.

Мама кусала губы, чтоб не плакать. Надя старалась бодриться.

- Помни, что мы с тобой всегда и везде, что все будет хорошо.

По лестнице шли молча. Один впереди, другой сзади. Во дворе стояла «эмка». Меня посадили в середину. Ехали молча. Приехали на Кропоткинскую, в «Смерш». Сюда я приходил месяц тому назад получать воинские документы, изъятые при аресте на фронте.

Сперва завели в обычную канцелярскую комнату, с час я сидел в углу на стуле. Потом старший из пришедших, сказал:

- Ну вот, задержались из-за вас, сегодня уже поздно отправлять куда следует, переночуете здесь…

Повели в подвал, в полутемный коридор. Розовомордый старшина отобрал у меня папиросы и спички: не положено. Ремня я предусмотрительно не взял, о ботиночных шнурках он не вспомнил. Обыскивали поверхностно.

Камера оказалась почти совсем темной, очень холодной и очень грязной: видимо, еще недавно там сваливали уголь. Окна у потолка были заложены кирпичом, но плохо скрепленным, в щели тянуло холодом. В одном окне осталась отдушина в целый кирпич, затянутая колючей проволокой, и оттуда несло мерзлой сыростью.

Вдоль одной стены двухэтажные дощатые нары, в углу у входа ржавая, смрадная параша. На нарах сидел скрючившись молодой парень в драной грязной шинели и засаленной шапке с опущенными наушниками. Круглолицый, курносый, все лицо почернело от угольной пыли.

- Ты что, трубы чистил?

- Та я залез вот тут подальше от окон, видишь, как темно. А там, должно, уголь был.

Он говорил тихо, медленно, простуженно похрипывал и дул в ладони, тоже черные, потом затискивал их под мышки, охватывая крест-накрест узкую, маленькую грудь, весь дрожал мелко-мелко и смотрел голодными глазами на мой мешок - почуял запах съестного: мама напихала туда хлеба, мяса, лук и сахар.

Он ел жадно и бестолково, как оголодавший щенок, сначала хлеб и сахар, а потом уже мясо. Сказал, что из Белгорода, звать Володя, немцы угнали его с другими парнями в Германию, а потом взяли в армию, в дивизию «Галиция», там солдаты были русские и украинцы.

- Знаю, эсэсовцы. Добровольцы.

Моя новая жизнь начиналась примечательно - в холодном

подвале вдвоем с эсэсовцем. Но я уже не бросался к дверям камеры.

- Ага, добровольцы, с под большой палки. Вот ты бы попробовал остарбайтером на карьерах по шешнадцать часов тачку возить… на одной брюкве… ты бы не то что в эсэс добровольно пошел, а в самую гестапо…

- Воевал?

- Да где там. Сначала учили, сильно учили; там у них не посачкуешь. От зорьки до зорьки гоняли. Но и харч был правильный. Каждый день приварок, булки, мармелад. Мундирчики справные.

- А воевал где? В Ковеле? В Варшаве?

- А ты откудова знаешь, тоже там служил? Меня в Ковеле в первый день сильно ранили в живот… на два метра кишки вынимали… потом я уже все по госпиталям и при тросе. Ну знаешь, обозы… и еще раз ранетый был от бомбежки. Правда, легче, под лопатку засадило… Так и не воевал, и когда наши пришли, не ховался, сам пришел, сказал: так и так было. Ну меня в лагерь филь… фильтурный, нет, не фильтурный, а вроде как революционный!… Ага! Ага! фильтрационный. Там один лейтенант по морде сильно бил. «Ты эсэс, у тебя наколка… тебя повешать надо». И жрать ни хрена не было. Набрали там в лагере наших - тех непатриантов больше тысячи… Кто понахальнее, те коло кухонь, такие, знаешь, лбы… А я видишь какой, два раза же ранетый. А за что? Да ни за что… Может, сам я в партизаны хотел… А тут война. Я, правда, в пионерах был… Но не сознательный… В Германию повезли, так поверишь, даже радовался, дурак… а как же - путешествие! Заграница!… А в эсэсах что я понимал. Мундир хороший, шерстяной… сапожки правильные, яловые на гвоздях, подошва как железная, хоть до смерти носи… А сознательности у меня ни хрена не было… Откудова ей быть? Папа умерли, я еще в детский садик ходил, я и не помню, какой он был… Он машинистом работал на паровозе «Феликс Дзержинский» может, слышал? Папа умерли от несчастного случая, заворот кишок. А мама уборщица в депе, и сестра старше меня на два года. Она еще в школу ходила, а уже маме помогала и в доме, и на работе, а я рос, как бурьян, с пацанами на улицах голубей гонял. Учился хреново. Какая у меня сознательность… А тот лейтенант - гад, морду бил и кричал: «Изменник родины, говори, кто другие изменники, всех, кого знаешь, а то повесим». Ну я и утек с того лагеря. Вот так, взял и утек. Домой на Белгород не поехал, понимал, там шукать будут… Работал где по деревням, где в городе. И в Польше, и в Белоруссии. Говорил, что с остарбайтеров иду и что семья

погибшая, деревня сгоревшая. Я знал, что у нас в области были сгоревшие деревни, так на такую и сказал. Работал ну и воровал… Тоже бывало.

Жрать-то хочется. И попутали меня тут близко, в Люберцах или вроде, там еще пацаны были, мы в вагон с мясом залезли, такой белый, чистый… А эти гады - стрелки на железной дороге - они, знаешь, хуже всей милиции, так били… Потом раздели, на снег выгонять… И тут увидели, у меня ранения, и еще один там был начальник, наколку на руке увидел - знаешь, группа крови. Сразу признал: «Ты сволочь, в эсэсах был». Еще хуже стали бить. Я плакал и сознался. Теперь вот сюда привезли… Ты как понимаешь, меня повешают?

- Таких дураков вешать - веревок не хватит.

Я утешал его и материл. Может, он и не врал. Хотя такие простачки иногда ох как ловко умеют сочинять самые достоверные небылицы. Но если и врал, ведь мальчишка…

Он рассказывал охотно, а сам ничего не спрашивал. Только: «А ты какого звания?» Услышав «майор», сперва недоверчиво хихикнул, но стал говорить на «вы».

Он сидел в этом подвале третьи сутки и уже знал некоторых часовых. Я сказал, что отобранные у меня папиросы старшина положил в ящик стола. Володя стал канючить у двери: «Гражданин начальник, дайте папиросы… это ж майор, фронтовик, они не были в плену…»

Дежурный солдат приоткрыл дверь. Была уже ночь, и начальник караула, видимо, спал.

- А ты правда майор? За что? С начальством ругался? Не врешь? Ладно, дам покурить, только чтоб до утра скурили, если карнач увидит…

Мы оба с Володей поклялись. Он разделил с нами одну пачку папирос, дал коробок спичек. Мы задымили. На мгновение блаженство. Потом легли вплотную, разумеется, в шапках и не разуваясь, на его шинель, под мое пальто.

И я уснул в обнимку с юным эсэсовцем, вздрагивавшим от холода и отрыжек.

Утром принесли кипяток в кружках, кисло вонявших ржавчиной и тухлой капустой, и по куску хлеба.

Потом Володю увели. Несколько часов я оставался один. Днем камера оказалась еще грязнее. Я ходил, ходил - по диагонали получалось шагов двадцать. Три километра… Потом надоело считать. Курил, забившись в угол, невидимый из волчка. Но здесь никто и не следил. Наконец вызвали. У стола караульного начальника трое конвойных с автоматами, командует младший лейтенант, молодой, нахмуренный,

твердоскулый. Я получил изъятые вещи, папиросы, распихал по карманам.

- Руки назад!

Привычно закладываю руки с мешком за спину, и внезапно правое запястье схвачено железным укусом. Наручники!

Резко отвожу левую руку, говорю, стараясь не кричать.

- Что это значит? По какому праву? Я оправданный офицер… Я был два года под следствием, меня никогда не заковывали. Я требую прокурора.

- Еще чего! Вас повезут в открытой машине. Есть инструкция: возить в браслетах. Я выполняю приказ. Вы говорите офицер, значит, должны понимать, что такое приказ.

- Тогда я хоть наушники опущу и шапку надену. По городу ведь повезете… И если уж наручники, тогда зачем руки назад?

Лейтенант несколько секунд размышляет: и сразу видно, что он очень серьезный и очень добросовестный дурак.

- Наушники давайте. А руки только назад, инструкция такая.

- А как же я понесу мешок, в зубах что ли?

- Возьми мешок, - одному из солдат. - Давайте прекратим разговоры. - В голосе металл. - Предупреждаю: шаг в сторону, вставанье в машине, разговоры или крики - конвой применяет оружие без предупреждения.

Ну что ж, испытаем и эту новинку - браслеты. Руки на спине стараюсь держать поудобнее, не напряженно. Короткий щелчок. Стиснуло.

- Больно! Вы что же, пытать собираетесь?

- Ладно, ладно, отпусти там на поворот-два.

Щелчок. Тиски расслабили.

- Ну как?

- Отпустите еще! Не собираюсь же я удирать!

- Разговорчики! - Щелчок. - Вот так! Свободнее нельзя. А если будете применять усилия, они сами теснее возьмутся.

Во дворе обыкновенная полуторка. Забраться я, разумеется, не могу. Лейтенант угрюмо размышляет. Потом озарение, солдат приносит табуретку. Откидывает борт, меня поддерживают с двух сторон. Забираюсь на табуретку, потом ступаю выше. Как на эшафот. Сел спиной к кабине.

- Не прислоняйтесь! Браслеты сожмутся! Один из конвоиров рядом, другой напротив. Лейтенант сел к водителю.

Поехали…

Гляжу назад. Прощаюсь. Назад откатываются мутно-розовая аркада метро «Кропоткинская», нахохлившийся чугунный Гоголь, Арбат, темный столпник Тимирязев… Все откатывается назад, назад в только что - вот-вот - мигнувшее мгновенье, во вчера,

когда еще ходил, куда хотел, когда мог прийти домой.

Вижу дома, в которых живут знакомые и незнакомыме «вольные» - вольные люди! Они и не знают, как они счастливы… Бульвары: серая пряжа деревьев и кустов чернеет - уже смеркается, - разматывается назад, назад.

Пушкин потупился над головой конвоира, темнолицего, раскосого - казах, должно быть, - равнодушного. Голоса людей, гудки, шумы машин. Все назад, назад…

На повороте толчок откидывает к стене. И сразу щелчок, железная боль стискивает запястья. Не могу удержать кряхтенья, стона.

Конвоир, который рядом, белобрысый, безбровый, сердито испуган:

- Ты чего? Чего?

- Наручники зажало. Отпусти.

- Нельзя. Ключ у лейтенанта. Молчи! Терпи! Скоро приедем.

Боль вгрызается вверх до локтя. Боюсь пошевельнуться, судорожно напрягаю ногу… Опять поворот. Слава Богу, без толчка, и, кажется, боль чуть слабее, но правая кисть затекает.

- Сидите аккуратно. Вам же лучше.

Въехали на улицу Чехова. Значит, в Бутырки. Хорошо! Теперь уже недалеко. Остановились. Должно быть, пробка или стоянка троллейбуса. Пьяный в черном треухе пытается лезть.

- Подвезите, солдаты… Мне на Савеловский.

Оба конвоира вскочили, отдирают его руки от борта.

- Нельзя… Нельзя.

- А чего нельзя? Порожняк же… Ага, арестованного везете. Еврей. Это хорошо, значит, их тоже арестовывают.

Он тяжело спрыгнул. Еще что-то галдит вслед. Какой проницательный. Под надвинутой шапкой угадал. По носу? По гримасе боли?

Наконец заворачиваем. Опять толчок и новый зажим наручников. Кусаю губы.

Медленно вкатываемся в знакомый серый двор. Второй двор. Затылком, через кабину чую приближение тех самых высоких дверей, темного портала. Слышу, как лейтенант выходит. Кричу:

- Снимите наручники! Ведь калечите!

- Ладно, ладно, уже приехали.

- Сними наручники! - Ору яростно, до визга. - Палач!… твою мать. Палач, будь ты проклят!

Конвоиры молчат. Лейтенант поворачивается. Тупо смотрит.

- Разговорчики! За такие выражения знаете что?

Но он не злился, он уже выполнил задание, доставил арестованного и теперь был в «чужом хозяйстве». Легко, одним

прыжком забрался в кузов. Спортсмен. Расщелкивает. Вытягиваю руки. Боль тупеет, медленно сползает вниз от локтей, пульсируя саднит в запястьях. Правой кисти почти не чувствую, затекла и кажется подушечно опухшей. Начинает покалывать. Шевелю пальцами. Слушаются.

- Ну вот. А кричать, выражаться не положено. Мы действуем по инструкции. А вы - «палач»… Конвой надо уважать.

Гляжу в безмятежно светлые, серьезные глаза лейтенанта, и мерещится, что где-то там на глубине, на самых донцах этих глаз или еще глубже теплится не мысль, нет, а просто обида или жалость. Но все-таки не злоба.

- Уважать?! Уважать нельзя по инструкции. Уважение надо заслужить, лейтенант. Вы еще молодой человек. Я старше вас по годам и по званию. А вы меня так мучите. Не может быть в советской стране такой инструкции, чтоб мучить.

- Ладно! Ладно! Разговорчики - не положено! Давайте, проходите!

И я прошел в знакомый бутырский «вокзал». И смотрители, кажется, знакомые. И опять Бутырки - избавление; после холодного подвала, после стыдной пытки браслетами.

«Санаторий Бутюр». И теперь я знаю все, что будет дальше, привычный, будничный порядок: шмон - баня - камера - поверка - оправка - пайка - сахарок и кипяток - прогулка. Разговоры: судьбы и судьбы. Книжки - передачи - шахматы - козел - баланда… Опять и опять разговоры и судьбы. Вечерняя каша. Вечерняя поверка. И ожидание… Ожидание. Ночами и днями ожидание…

В бутырской приемной канцелярии, где заполняют карточки новоприбывших, серолицый капитан сказал:

- Повторный? Был оправдательный приговор? Ну, значит, ошиблись! Поправят!

Он не злорадствовал и, видимо, не был ни ожесточенным, ни фанатично-истовым тюремщиком. Я вспомнил прокурора Мишу: «58-ю нужно дожимать». Оправдание было аномалией, вывихом естественного порядка. Бутырский капитан испытывал простое удовлетворение. Вывих вправят.

- А я верю, что буду опять оправдан!

- Ну что ж, верьте, верьте…

Бокс рядом с тем, из которого выходил на волю. Сколько же времени прошло? 72 или 73 дня. И словно бы только вчера. PI словно в другой жизни.

Интермедия кончилась.

Часть седьмая
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ

Глава тридцать пятая
ОПЯТЬ БУТЫРКИ. ОПЯТЬ ТРИБУНАЛ

После бани меня повели в новый спецкорпус. Бело-синие стены, синие металлические лестницы, синие «палубные» галереи с железными перилами и синие железные сетки между этажами. В большой каптерке выдали не только матрац и кружку, но еще и одеяло, постельное белье и даже нательное. Бутырки стали богаче.

Камера небольшая, три отдельные койки, окно под самым потолком, мутные стекла, направленные на металлические сетки и хитрые створчатые форточки, - едва-едва можно увидеть полоску неба, - пол из прессованной древесной массы, гладкий, глянцевый.

С койки слева поднялась голова, замотанная полотенцем:

- Пошальства… Папирос ест?… Табак? Курит?… Битте, пошальста…

Услышав в ответ немецкую речь и увидев пачку папирос, спрашивавший торопливо выбрался из-под одеяла, снял полотенце-чалму и, придерживая кальсоны, представился:

- Доктор-инженер Курт П., конструктор ракетных двигателей «Фау-2».

Очень приятно. Наконец-то образованный человек. Я уже месяц не слышу немецкой речи. И не помню, когда курил. Здесь вот ваш солдат, он служил в армии Власова… Очень примитивный субъект… Меня арестовали, хотя я не был членом национал-социалистической партии… Нет, никогда. Я всегда чурался политики… До переворота я голосовал за государственную партию Штреземана. Я знал ее кандидатов - деловые, порядочные люди, хорошие немцы, трезвые головы… Господин следователь сказал мне, что я военный преступник, потому что участвовал в производстве оружия, которым убивали женщин и детей… Это, конечно, ужасно. Но ведь это была война. Ваши союзники тоже бомбили немецкие города. Вы знаете, что такое бомбовые ковры? Гамбург, Кельн, Дюссельдорф, Берлин, Эссен, Дрезден… Этих городов больше нет. И там тоже были женщины и дети. Но разве моих английских и американских коллег-инженеров, которые конструировали гигантские бомбы и эти «летающие крепости» считают военными преступниками?… Да-да, конечно, Гитлер был негодяй. Я это всегда знал. Маньяк! Безумец! Гениальный оратор, великий организатор, но безумец - айн нарр! И, конечно, злодей, порождение сатаны. Но ведь он был

полновластным тираном, а мы - маленькие люди - могли только подчиняться приказам, либо погибнуть, страшно погибнуть. Вы знаете, что такое гестапо?… А я инженер. Я должен выполнять указания начальства, дирекции. Я конструировал двигатели. Признаюсь, я любил свою работу, это было увлекательно - шпанненд! Но я ведь не единственный конструктор, это была работа большого отряда инженеров… Теперь такие работы никто не делает в одиночку, как при дедушке Круппе, как некогда старики Даймлер или Дизель, Я делал свое дело на своем узком участке. Делал добросовестно. А как же я мог поступать иначе? Саботировать? Но любой саботаж был бы обнаружен в тот же день, и мне отрубили бы голову. Никому никакой пользы, а моей семье вечное горе. У меня жена, трое детей… Старшая дочь замужем и уже, кажется, вдова - зять пропал без вести на Востоке. Младшая дочь и сын еще в гимназии, едва удалось их спасти от тотальной мобилизации в зенитчики или фольксштурм. Эти звери у нас не щадили даже собственных детей… Конечно, я всегда работал добросовестно. Ведь я немецкий инженер. Господин следователь говорит, что у вас в России всегда уважали немецкую технику, немецких инженеров. Я не могу работать иначе как отлично и только в полную силу. И у вас я так же буду работать. Я это сказал господину следователю… Он очень корректен, господин полковник, отлично говорит по-немецки, а помощник у него капитан, вполне образованный молодой человек, видимо тоже инженер. Тоже вполне корректен. Нет, я не могу пожаловаться. Я был приятно поражен. Наша пропаганда так пугала, столько ужасов распространяла о русских зверствах… В первые дни были, конечно, эксцессы, многие женщины пострадали… Но я все понимаю: солдаты, ожесточенные войной… потом эти азиаты, монголы. Впрочем, и среди ваших есть еще примитивные, грубые парни. И у нас ведь таких немало. Мне рассказывали про СС - это же были дикие звери… Но после ареста все со мною корректны. Правда угрожали, и теперь вот говорят, что судить будут по каким-то новым нюрнбергским законам, так же, как Круппа, Геринга, Гесса. Но это уж совсем несправедливо, ведь они были властителями, а я скромный инженер; они распоряжались, а я только выполнял некоторые мелкие пункты их распоряжений. Почему же меня судить так же, как их?

И такое плохое питание. Это ужасно, ни мяса, ни масла. Супы здесь - дизе балянда - никаких жиров. Правда, хлеб хорош, очень хорош. Но я так похудел. Я потерял восемь, а то и десять килограмм. А я уже во время войны худел… Мы ведь тоже испытывали лишения: все по карточкам, очень мало жиров; кофе совсем не стало. Мне один знакомый врач говорил о полезности

голодной диеты. Очень может быть. Я и сейчас чувствую себя неплохо. Сердце, легкие, пищеварение в порядке. Раньше я, бывало, страдал запорами, бессонницами. Сейчас наладились и стул и сон… Однако голод - это все же слишком неприятно, и такое похудание - это уже слишком, брюки не держатся, начинается просто слабость…

С доктором П. мы оставались вместе шесть недель до дня моего суда. На третьей койке жильцы сменялись несколько раз. Вначале был угрюмый, молчаливый власовец. Он сам ни о чем не спрашивал, а на мои вопросы отвечал односложно или вовсе молчал, будто не слышал, однажды даже огрызнулся:

- А тебе зачем надо знать, где да кто? Ты что, прокурор? Шпрехаешь с ним, ну и шпрехай, а до меня тебе нет касательства.

Я понял, что он меня считает наседкой, уж очень обильные передачи я получал. Угощенье он принимал неохотно, пришлось объясняться грубо:

- Ты не вывертывайся, как трехрублевая шлюха. И не корчь фраера. Есть камерный закон - от передачи доля всем. Я ж тебе не за красивые глаза даю, а по закону.

- Ну ладно, я за тебя парашу вынесу.

Его сменил молодой парень. Он расспрашивал о лагерях, о судах, о законах и сам охотно рассказывал о себе: он был в плену, потом в Италии убежал к партизанам. Охотнее всего он говорил о том, что ел и пил в Италии - говорил долго, патетично, как все неопытные голодающие; и так же увлеченно рассказывал об итальянках, с которыми спали он и его кореши, и подробно описывал, как это происходило, сладострастно причмокивая, а потом залезал под одеяло и, кряхтя и сопя, онанировал.

Когда я получал передачи, он неотрывно, жадно глядел, восторженно, ласково приговаривая:

- Ух ты, яички… вкрутую, конечно… Сахарок-сахарок, это завсегда польза… А котлетки свиные или говяжьи? Булочка-то белая какая, эта ж какая сласть должна быть… Табачок! Опять, значит, покурим… Спасибо добрым людям!

Он не только не стеснялся брать долю, но хотел получить больше:

- А фрицу этому вы напрасно так много даете. Они, гады, знаете как нас мордовали… У него еще своего жиру на год хватит. А я видишь какой, один шкилет под тонкой шкурой…

Книги в малую камеру приносили по пять штук на десять дней. Один раз нас лишили книг за то, что пол был не чист. Его полагалось натирать воском, драить щеткой и насандаливать до блеска мягкой тряпкой. А тут мы не успели до поверки натереть, и к тому же дежурный обнаружил хлебные крошки, книги забрали

и не выдавали десять дней. Это совпало с моим тридцать пятым днем рождения, и, как часто бывает, именно такие малые недобрые случайности раздражали больше настоящих бед.

В спецкорпусе днем не разрешалось лежать на койках, то и дело шелестел глазок, коридорный проверял. Самые дотошные не разрешали даже сидеть на койках: для сидения табуретки. Мы по очереди ходили по узкому, короткому проходу - камера была длиной в десять шагов, шириной в три.

Большую часть времени, особенно в проклятые дни, безкнижья мы играли в шашки или в гальму. Моим главным, а чаще всего и единственным противником был П. В шахматы играть он не умел, в шашки я его обыгрывал, и он предпочитал гальму, играл азартно, подробно доказывал, что эта игра полезнее шашек, в ней сказывается инженерная конструкторская мысль, а для шахмат нужна фантазия, отвлеченная, артистическая.

Литературой он вовсе не интересовался.

- После гимназии я, кажется, ни разу не брал в руки беллетристических книг… В детстве любил Карла Мая - про индейцев, про дальние страны. Это ведь так свойственно юности - романтические мечты. Учил, конечно, Шиллера, как же, как же «Festgemauert in der Erden»… - «Песня о колоколе», да и Гете, разумеется, «Фауст» - это гениальное, неподражаемое произведение. Но потом уже не было времени: сперва учебники, а после института обязательно и постоянно техническая литература - в нашем деле нельзя отставать: развитие идет непрерывное, все время что-то новое, нужно быть ауф дем ляуфенден, - современная техника это как спорт - нельзя терять формы, прекращать тренинг. В свободные минуты просматривал газеты, журнальчик какой-нибудь иллюстрированный повеселей, миловидные девицы, розовые попки, стройные ножки. Нужно ведь и аусшпаннен - отпустить поводья. Вот музыку я люблю очень: мой отец и мать, вся наша семья музыкальна. Моцарт, Бетховен, Вагнер - ведь это божественно! До войны мы с женой ходили в концерты. Потом я так уставал, что божественные звуки меня просто усыпляли. Жена сердилась - это же просто неприлично, ты храпишь совершенно не в такт - ха-ха-ха! И она перестала со мной ходить. Но у меня был отличный приемник телефункен - роскошная штука, я перед сном всегда слушал что-нибудь оттуда, с Запада, ведь у нас джазы были запрещены как неарийская, негритянская музыка. Но я всегда был выше этих расистских доктрин. И даже во время войны слушал американские джазы. Та-ри-ра-ри-та-ти-ти!… В этом все же есть что-то такое экзотически-соблазнительное. Итальянская музыка слащава, расслабляюще

слащава, нежна, как мягкий мармелад, французская очень мила, игрива… пан-пан-лял-ля… Больше всего я люблю испанскую и американскую… Да, и, конечно, русскую… О, Чайковский! Как же, как же, сюита «Щелкунчик», «Борис Годунов» - это прекрасно, это мировой класс! И донказа-кенхор, «Муттер Вольга, Стэнка Разин»… У меня были пластинки. Но это у нас никогда не запрещалось, даже во время войны русская музыка допускалась, хотя и реже, чем раньше. А вот на джаз всегда был строжайший запрет, «арт-фремд» - чужеродно, разложение, декаданс… Но я слушал. И передачи Би-би-си слушал, как же: тум-тум-тум-тум. Позывные из Бетховена. Линдли Фрейзер так остроумно высмеивал фюрера и Геббельса. Английский юмор, этого у них никто не отнимет, суховат, с холодком - унтеркюльт, но режет, как бритвой… И потом джаз, прима!

Он иногда спрашивал о России, обо мне. Спрашивал вежливо и заинтересованно, однако если я отвечал обстоятельно, то скоро замечал, что оказываюсь в роли того анекдотического чудака, которого спросили «как вы поживаете», и он стал подробно рассказывать о своей жизни.

Слушая, он быстро сникал, глаза тускнели, начинали сновать по сторонам. Зато, рассказывая о себе, о своем доме, саде, о своих домашних привычках, он всегда оживлялся.

- С утра - сигареты, на работе - трубка, вечером - сигара. Домашние туфли должны быть из верблюжьей шерсти и неяркого цвета. Не терплю халатов-шлафроков, это филистерство. Хорошая, просторная куртка, вишневая или орехово-коричневая из вельвета - красиво и практично. Завтрак обязательно легкий: яйцо всмятку, немного масла, ветчина, копченая рыба, кофе - ни капли алкоголя! К началу рабочего дня голова должна быть ясной и живот не загруженным… Среди дня - ланч; тут уж нужен хороший кусок мяса, зелень и рюмочка коньяку - допинг и, разумеется, кофе мокко побольше. Обедал я дома поздно, по-английски - «диннер»: форшпайзен[20], пиво, суп, мясо или рыбу…

Он сладострастно, подробно описывал разные блюда, о винах говорил пристрастно, увлеченно, как о живых людях: «Либфрауен мильх» - дивный характер, нежность и сдержанность, как у хорошо воспитанной девицы, прекрасно к ужину, в обществе дам. Впрочем, и к обеду, к рыбе - отличная компания. А к мясу я предпочитаю итальянцев или французов. Кьянти - густо-красное, терпкое, мужественное и так располагает к простой дружеской беседе. Или Божоле - веселый, изящный, приветливый напиток.

Иногда я отмахивался или зло говорил:

- Перестаньте заниматься гастрономическим онанизмом.

Тогда он обижался и огорчался едва ли не до слез. Всего охотнее он говорил о том, какую построит виллу, когда вернется домой.

- Построю обязательно в Шварцвальде или в Тюрингии. Есть, правда, прекрасные места и в Баварии, но там люди уж очень грубоваты, ограниченны, воображают о себе: «Мы, баварцы, особенный народ». А по сути просто мужланы, фанатичные католики. А я северянин, протестант и вообще свободомыслящий, даже масон. Я принял посвящение в ложу Большого Востока еще студентом… Потом это приходилось скрывать. Нацисты преследовали масонов… Нет, дом я буду строить в Шварцвальде, там родина матери и в горах там дешевый камень. Я все время проектирую в уме в бессонные ночи. Это будет невысокое здание, два верхних этажа кирпичные, а нижний, цокольный, обложен диким камнем. Я хочу обязательно прислонить к горе его так, чтобы третий этаж был сзади первым… Сад будет большой, тенистый, и никаких искусственных версальских симметрических схем. Не люблю прямоугольных или по лекалу дорожек, посыпанных песком с каменным бортиком, не люблю геометрически правильных клумб, все это филистерство или претенциозный классицизм аристократов. Я романтик, я люблю природу - натур, нашу немецкую природу в ее первозданности… Конечно, у своего дома человек должен помогать природе, но со вкусом… Фруктовые деревья следует высаживать отдельно - они требуют ухода, но не обязательно же строить их в шеренги, как солдат. И траву я буду сеять хорошую, сочную, высокую, и цветы располагать живописными группами вдоль тропинок. И обязательно плавательный бассейн с хорошим стоком, чтобы не заболачивать и метра земли. Но только не круглый по циркулю, и не квадратный, и не прямоугольный. Это так уныло. Я хочу эллиптический, это спокойно, либо даже вовсе не симметричный, обложенный диким камнем. Чистый песок придется привозить, если все берега делать песчаными, получится дорого, но пляж, разумеется, нужен, и там необходим золотистый, бархатный песок… В саду, разумеется, не обойтись без керамических гномиков - гартенцверге, это уж наш давний народный обычай… Вокруг сада - никаких металлических оград: они так уродуют живую природу. Я хотел бы, чтобы границей моего владения был с одной стороны глубокий ров, как в старину. Мой склон сделаю покруче, наверху обсажу терновникам, а там, где рва не будет, я построю каменную ограду или насыплю земляной вал, засажу густым кустарником и в кустах проведу неприметный сигнальный провод, чтобы включать его только на ночь. - Если полезет зверь или вор, раздастся тревожный звонок в комнате садовника. У

въездных ворот не обойтись без кирпичей или камня и металла. Я предпочитаю вороненую, нержавеющую сталь, круппшталь уважает весь мир. И никакой бронзы - это пошло. А в доме будут камины. И на кухне я хочу, чтобы хоть один открытый очаг. Нельзя же кабана или косулю жарить на электрической или газовой плите. Да и пернатой дичи нужен живой огонь… Нигде не хочу обоев; столовую, кабинет, гостиную обошью до половины деревом: орех, бук, дуб, это и благородно, и по-немецки. А сверху - открытая кирпичная кладка, опрятная, специально очищенная - это естественно и красиво. И, разумеется, хорошие картины. Я не терплю никакого модерна, всех этих судорожных, истерических экспрессионистов, сюрреалистов и как их там называют… Я знаю, что это нравится французам и русским: о вкусах не спорят. Лягушек я ведь же не ем и не мог бы спать на печке, как принято у вас… Пусть люди живут, кто как привык, как хочет… У себя в доме я хочу видеть красивые картины, несколько барельефов, керамических и деревянных - прежде всего старые работы немецких, голландских, итальянских мастеров. Чтобы не слишком яркие краски.

Из более новых - романтические ландшафты, портреты моих родителей, их писал не очень известный, но хороший художник. В спальнях, в комнатах для гостей стены будут обтянуты тисненой кожей, в детских и коридорах - только простые масляные краски. И мебель буду подбирать для каждой комнаты в особом стиле, но прежде всего простую, прочную, как в крестьянских домах. А в спальнях и в гостиной «Бидермайер», но только не красное дерево, это претенциозно. В кабинете - мореный дуб, в столовой, пожалуй, можно более светлые тона…

Так он говорил часами и обижался, если я не слушал.

- Ну, отвлекитесь на несколько минут, ведь книги - выдумки, а мы говорим о реальной жизни. Я так давно не мог поговорить ни с кем из понимающих мой язык, ни с одним образованным человеком…

В конце апреля я получил в передаче четыре чесночины и пять луковиц, потом еще раз четыре и пять и сообразил, что суд назначен на четвертое мая. Дни, оставшиеся до суда, были заполнены неотвязными размышлениями: что говорить если спросят то-то и то-то, как еще убедительнее доказать, что Забаштанский и Беляев лгут, что все это - обман и подлость.

Сочиняя последнее слово, я вспоминал, что именно кричали на парткомиссии, ведь новых обвинений не было и новых аргументов к прежним не прибавилось, значит, я должен был рассчитывать на повторное оправдание.

П. составил мне гороскоп. Он спросил о днях рождения -

моем и моих родителей и жены, с часик бормотал вычисления, царапая на папиросном коробке обгорелой спичкой, а потом сообщил мне, что для меня особенно благоприятны числа семь и тринадцать, что в мае мне должно везти в делах, а в каком-то другом месяце в любви, сулил долгую жизнь и всяческие успехи.

Разумеется, я ничему не верил, но все же думал, что вотдетвертое мая - неблагоприятное для меня число, а тысяча девятьсот сорок седьмой год, если сложить цифры, получится двадцать один, то есть трижды семь, - скорее, благоприятные. И когда в суде во время перерыва меня посадили в коридоре напротив плафона с номерами комнат, я стал их складывать и прикидывать, делится ли сумма на семь или на тринадцать.

П. уверял, что меня освободят, и очень просил позвонить в посольство США:

- Поговорите с кем-нибудь из тех сотрудников, кто состоит в масонской ложе. В Америке все государственные служащие - масоны, тем более дипломаты. Рузвельт имел наивысшую, тридцать третью степень… Вы им просто скажите, что в Бутырках находится доктор-инженер такой-то, масон четырнадцатой степени, член ложи Большого Востока из Штутгарта. Пусть они только узнают это, они уж сами найдут способ помочь мне, а пока хоть раз в месяц пусть передают передачи, обязательно жиры и витамины, и, конечно, сахар. Теперь скоро лето, скажите, что я очень прошу овощей и фруктов, любых, но желательно картофель, лук, редис, помидоры, хоть это еще рано, но в июне уже может быть морковь… Пожалуйста, не забудьте - четырнадцатая степень, ложа Большого Востока, Штутгарт, просит у братьев помощи и передач…

Судебное заседание открылось в большом зале. Председатель - черноволосый, толстый полковник Коломиец, заседатели - худой седеющий генерал-майор и моложавый капитан. Они и тоненький лейтенантик-секретарь сидели на эстраде, за столом, покрытым вишневым сукном, в креслах с высокими «гербовыми» спинками. Скамья подсудимых помещалась в зале слева от них на невысоком помосте за дощатой перегородкой. Внизу я увидел седую шевелюру и сутулые плечи адвоката, он сидел за столиком спиной к загородке. Прямо напротив был столик прокурора; широкая, словно кубическая голова, короткая стрижка, угловатые очки, твердые скулы, твердый подбородок, и весь он широкий, плотно сбитый, в кителе с серебряными погонами и блестко начищенных сапогах. В зале на скамьях - свидетели; отдельно сидели Забаштанский и Беляев. Подальше - Нина Михайловна и Георгий, вместе держались Иван, Галя Хромушина, Михаил Аршанский, вблизи от них - седой чуб и усы Михаила

Александровича, он пришел в парадном кителе, при орденах, рядом сверкал регалиями Александр Исбах.

После вступительной процедуры все они вышли. Потом их вызывали по одному.

Председательствующий вел заседание неторопливо, ни разу не повысил голоса. В отличие от первого судьи, ворчуна полковника Хрякова, который покрикивал на меня, этот был почти флегматичен. Когда во время показаний Забаштанского я, не сдержавшись, достаточно громко сказал: «Ложь… бесстыдная ложь», он только постучал карандашом. Он позволял мне задавать вопросы свидетелям и даже комментировать их показания.

Забаштанский в этот раз говорил так же душевно, но с новыми вариациями; он явно учел опыт прошлого суда и в самом начале заметил, что каждый может ошибаться, вспоминая подробности, какой день, какой час был, кто был старшим один раз, а кто другой. Но ведь главное не в этом, а в том, как огорчали и оскорбляли солдат и офицеров неуместные разговоры за всякий гуманизьм, это копание в пакостях, когда человек вроде нарочно не видит ни величия победы, ни геройства, ни страданий, а только видит, где там какой хулиган прижал немку или солдат взял трофейное барахло. И вот с этого мелкого паскудства такой критик-гуманист делал картину на всю армию…

Он скорбно говорил, как вредили боевой работе «упаднические настроения» и недисциплинированность, несдержанность, нездоровые разговоры, неуважение к авторитету командования…

До того дошло, что, например, мог сказать: «Военторг - это самая страшная организация после гестапо», и сказал так прилюдно, даже при поляках, которые как раз в доме были, мы там кино показывали, допускали гражданских лиц. А когда я ему замечание сделал, он только смешки пускал: «Это ж надо понимать шутки, надо иметь чувство юмора». Я ему тогда сказал, что надо иметь чувство партийности, тогда не будешь такие шутки шутковать. А потом он прямо на открытом партийном собрании сказал: «Мы победили не благодаря, а вопреки отделам кадров».

В этом месте внезапно оживился заседатель генерал-майор. Он стал что-то быстро писать, глядя на меня очень сердито. И когда я комментировал показания Забаштанского, напоминая о том, как на прошлом судебном заседании он был дважды уличен во лжи, генерал-майор спросил:

- Вот здесь подполковник говорил про ваши высказывания о военторге, об отделе кадров, вы признаете, что они

действительно имели место?

- Да! Это, пожалуй, единственный случай, когда он не солгал. Я действительно так пошутил.

- Пошутил? Вы и сейчас оцениваете это высказывание как шуточки?

Генерал сердился. Он тоже говорил негромко, такой уж тон был задан в этом заседании с самого начала, но в его голосе внятно зазвучал тот привычно зловещий металлический тембр, который отличает речи разгневанных, но сдержанных начальников и уверенных обличителей.

- Конечно, шутки! Возможно, дурацкие и неуместные, но именно шутки, иначе этого расценить нельзя.

- Значит, вы не считаете, что это были вредные, антисоветские высказывания?

- Нет, потому что это были шутки, пусть и неуместные, но направленные против отдельных учреждений, а не против советской власти, это и в «Крокодиле» бывает, высмеиваются отдельные лица и учреждения…

В перерыве адвокат сердито шепнул мне:

- Экую глупость вы ляпнули, ведь этот генерал - начальник Управления кадров МВО. Уж лучше бы вы все отрицали.

Я возразил, что не лгал и лгать не буду. Он раздраженно отмахнулся.

Беляев повторил все то, что говорил раньше. Он был спокойнее, увереннее. Стараясь предупредить неприятные вопросы, он сказал, что, конечно, я, может, спасал немецкое население и спорил с солдатами и офицерами и не так уж много времени, но общее настроение у меня было подавленное, мрачное, и я воздействовал на него, мешал ему и не работал. И поэтому задание в Восточной Пруссии было выполнено не так, как надо.

Нина Михайловна и Георгий говорили мало, их показания в этот раз были скорее благоприятными для меня. Хромушина ответила на несколько вопросов точно, уверенно. Иван подтвердил свои прежние показания. Его ни о чем не спрашивали ни судья, ни прокурор, ни адвокат. Мне это показалось неправильным. Почему адвокат не использует по-настоящему его свидетельство, убедительно разоблачающее и Забаштанского и Беляева, но председательствующий спокойно отвел мои напоминания - ведь все это уже есть в материалах дела… «Если вы хотите напомнить, вы можете использовать свое последнее слово».

Вызвали нового свидетеля, майора, который сменил Беляева в должности начальника школы. Еще перед арестом я слышал о

нем от адвоката. Тот считал его своим очень удачным открытием, сокрушительным для основы обвинения.

Молодой майор начал очень резво рассказывать о том, как Беляев запустил хозяйство школы, вывез два, а то и три вагона личных трофеев, в том числе несколько ковров, шкафов и два рояля.

Прокурор перебил его:

- Какое отношение к делу все это имеет?

Майор, поморгав, сказал, что Беляев не заслуживает доверия. Он бросил жену и двух детей в Саратове, сошелся с переводчицей, не платит алиментов и его жена уже трижды писала в Главпур. Он имеет при себе копии писем, они прямо указывают, что Беляев - нечестная личность.

Прокурор спросил: какое отношение эти сплетни имеют к делу? Кто пригласил этого свидетеля?

Адвокат возразил неуверенно, что майора пригласил он, чтобы осветить моральный облик Беляева, главного свидетеля обвинения, поскольку он подвергает сомнению правдивость показаний Беляева, этот свидетель может помочь уяснить, насколько можно ему доверять.

Прокурор сказал брезгливо и решительно, что он дает отвод свидетелю, показания которого не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу и только отнимают время у суда. Речь идет о серьезных политических обвинениях. Семейная жизнь свидетелей не может никого интересовать.

Он впервые вмешался активно и решительно; до этого он только задал несколько вопросов, которые показались не слишком существенными. Он спрашивал меня о тысяча девятьсот двадцать девятом годе, о Марке Поляке, спрашивал, что именно меня привлекало в троцкистских лозунгах. Я понимал, что эти вопросы могут быть провокационными, отвечал правду, но очень осторожно, тщательно подбирая слова.

Прокурор слушал внимательно, записывал. Спрашивал он вежливо, настораживали только холодные, непроницаемые глаза за очками и едва уловимые интонации высокомерного пренебрежения. А давая отвод майору, обличителю Беляева, он рассердился или играл рассерженность.

Меня раздражала болтовня сплетника, но всего больше тревожило поведение адвоката, он явно боялся прокурора, говорил с ним заискивающим тоном.

Михаил Аршанский сказал, что знает меня много лет, знает близко, встречались и во время войны, когда мы оба оказались в Москве в январе 1944 года. Он хорошо знает мои настроения и взгляды, они всегда были по-настоящему партийными.

Прокурор спросил, что он может знать о тех настроениях и высказываниях, которые вызвали предъявленные обвинения, ведь он бы на другом фронте.

Миша ответил, что об этом ему подробно рассказали товарищи, бывшие на одном со мною фронте. На основании разговоров с ними, а также на основании всего, что он знает, он убежден, что эти обвинения не только лживы, но и просто абсурдны.

Потом он попросил разрешить ему сказать несколько слов дополнительно.

…Он много раз встречал меня за последние месяцы после оправдания, подробно расспрашивал о деле, о следствии, о жизни в заключении; разговаривал на самые разные темы - политические, литературные, личные. Он считает своим долгом коммуниста, гражданина, советского офицера сказать трибуналу, что на скамье подсудимых вследствие клеветы и нелепого стечения обстоятельств оказался человек…

Тут Миша стал меня хвалить. Но это были не стандартные похвалы наградных листов, некрологов и газетных славословий, а неподдельно живые и добрые слова. У него по-новому звучали и такие привычные понятия, как родина, партия, долг коммуниста и офицера; их обновляли и вовсе непривычные для этого зала обороты речи, и общая интонация, в которой явственна была открытая, бескорыстно правдивая душа. Я не запомнил отдельных выражений потому, что в те минуты очень напрягался, чтобы не заплакать. Миша стоял внизу в проходе между стульями, на которых сидели уже опрошенные свидетели. Он говорил, поглядывая то на судей, то на меня серьезно и печально. Его взгляд и его слова обдавали меня ощущением дружбы, душевной силы и мужества.

Вызвали свидетеля Исбаха. Он остановился, едва войдя в зал и зычно отрапортовал. Председательствующий попросил его подойти ближе. Он гулко отпечатал несколько шагов и стал в проходе. Председательствующий опять попросил его подойти ближе и потом еще раз… Саша, разрумянившийся и чаще обычного передергивая ртом по-заячьи, решительно взобрался на трибуну и едва не облокотился на стол. Председательствующий уже совсем не по форме замахал на него руками. Оба конвоира, сидевшие за мной, фыркнули.

Исбах отвечал трубным голосом, чеканя жестяные газетные слова. Но это были слова одобрения, он говорил, что знает меня как морально устойчивого, идеологически выдержанного, ценного политработника, неоднократно отмеченного благодарностями командования и правительственными наградами.

В 1948-м Исбаху все это припомнили, когда его исключили из партии, как «безродного космополита», а потом и самого арестовали.

Михаил Александрович Кручинский рассказывал о моей семье: «Настоящая советская патриотическая семья», о том, как в 29-м году он говорил обо мне со своими друзьями в прокуратуре и в ГПУ Украины; шестнадцатилетний парень, а его хотели привлечь как троцкиста. Тогда же выяснилось, что все это было мальчишеством, продолжалось несколько недель, парень оказался под влиянием старшего родственника, но потом вполне оправдал себя в последующие годы, в боевой работе…

Прокурор спросил, что товарищ гвардии полковник знает по существу данного дела, был ли он на фронте вместе с подсудимым? Ах, нет? Значит, все только по разговорам, так сказать, по слухам?

Адвокат попытался задавать наводящие вопросы, они наводили только на повторение тех же общих доброжелательных отзывов о моем детстве, семье.

Прокурор отстранил их пренебрежительной репликой.

Опрос свидетелей закончился, был объявлен перерыв до следующего дня. В Бутырках меня уже не повели в камеру, и я ночевал в боксе. Утром заседание открылось в том же большом кабинете, куда меня приводили в самый первый раз в октябре, когда суд был отложен.

Прокурор говорил долго, в том же тоне, который установился накануне - неторопливо, бесстрастно, рассудительно. Дело необычное, он впервые с таким сталкивается, сказано много хорошего об обвиняемом, нет оснований не верить этому, хотя положительные отзывы имеют более общий характер и относятся к иному времени, чем то, когда были совершены действия, квалифицированные в ходе следствия как преступления. Вот, например, отзыв, с которым здесь выступал этот заслуженный старичок…

Я едва не крикнул от злой обиды за Михаила Александровича, ведь он с детства был для меня олицетворением геройства гражданской войны, и вдруг брезгливо-снисходительное «заслуженный старичок»…

- Что же, нет оснований сомневаться: свидетели защиты - искренние, добросовестные товарищи… Но даже если поверить всему, что они говорят, значит ли это, что следует отказаться от обвинения? Народная мудрость гласит: кому много дано, с того много и спросится. Если бы на скамье подсудимых сидел рядовой солдат, простой рабочий или колхозный паренек… Впрочем, если такой парень иной раз и скажет, чего не следует, сморозит по

невежеству, по пьяному делу глупость - его не станут привлекать по статье 58-й. Но ведь тут перед нами научный работник, кандидат филологических наук, литератор, майор. Он-то должен знать цену каждому слову. Тут человек с авторитетом, даже из дела видно, сколько за него народу заступалось. И тоже все люди авторитетные - научные работники, офицеры. Значит, слова такого человека необходимо расценивать куда более требовательно.

Он многие из обвинений отрицает, пытается очернить свидетелей, но он сам признал, что высказывал антисоветские шуточки, хотя бы его слова об отделах кадров - каких кадров, товарищи судьи? Кадров нашей победоносной героической армии… Товарищ Сталин сказал, что кадры решают все. А подсудимый даже здесь позволяет себе называть шуточкой грубо клеветническое, антисоветское высказывание. В устах человека с таким званием, с таким положением и авторитетом подобные высказывания особенно зловредны, а подсудимый говорит «шуточки».

Мне могут возразить, это, дескать, были отдельные, случайные, неправильные высказывания. Выпил - он ведь тут ссылался, что свои антисоветские шуточки изрекал спьяну, - хотя, как известно из народной мудрости: что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. А когда мы имеем дело с образованными и умными людьми, нас должно больше всего интересовать именно то, что у них на уме, куда больше, чем то, что на языке. Такие люди ведь умеют красиво поговорить. Мы здесь вчера достаточно послушали. У подсудимого, как говорится, язык хорошо подвешен, за словами в карман не лезет. Но как раз это и должно особенно насторожить. Вот тут выступал вчера майор, приглашенный защитой, пересказывал какие-то сплетни о свидетеле Беляеве, мы все слышали это мощное бормотание; такое бормотание, каким бы оно ни было лживым, никогда не может столько навредить, как этакое хорошо отработанное красноречие, с эрудицией, с пафосом, со всякими красотами стиля.

Нам никак нельзя забывать, товарищи, о некоторых страницах истории нашей страны, нашей партии, о том, какой страшный вред принесли иные записные краснобаи, те враги народа, которые годами считались великими ораторами и на всех углах кричали о своей революционности. А ведь находились, чего уж греха таить, и честные люди, которые им верили и видели в них преданных революционеров. А между тем на поверку они-то оказались самыми опасными врагами, презренными наймитами контрреволюции, предателями, шпионами, убийцами.

Я, конечно, не провожу полной аналогии. Я не считаю, что подсудимый целиком и полностью подобен тем врагам народа, без разоблачения которых мы подвергли бы нашу родину смертельной опасности. Здесь, конечно, иной случай. Но этот случай - я позволю себе такую игру слов - все же не случаен. Нет, те антисоветские высказывания, о которых мы здесь слышали, не случайные оговорочки. В юности этот подсудимый был связан с троцкистами, и, рассматривая его разговорчики, его поведение в годы Отечественной войны, которое привело к этому делу, мы не можем не увидеть прямой связи с его разговорами и поведением в 1929 году. От того года до 1945 года ведет прямая линия, ведет, так сказать, мост… Что делал подсудимый в годы, когда вся наша партия, весь наш народ напрягали силы для социалистической перестройки нашей экономики, всей нашей жизни, в те славные, героические и трудные годы борьбы с кулачеством, в годы коллективизации, первых строек пятилетки? Что он делал во время великих подвигов, лишений, всенародного энтузиазма? В это время он был с теми, кто исподтишка поливал грязью нашу партию, нашего великого вождя, кто пытался посеять неверие в возможность построения социализма, кто клеветал, стращал, кто уже тогда втихомолку заряжал оружие гнусных убийц-террористов, кто вступил в сговор с империалистами и фашистами, злейшими врагами первой в мире страны социализма.

Могут возразить - он тогда был молод, он, разумеется, не знал этого, он хотел совсем другого… Допускаю, верю. Но ведь этот молодой человек и тогда не был безграмотным беспризорником; он читал Маркса, изучал иностранные языки. И он, видите ли, был так умен и так учен, что не мог поверить нам; не поверил ни партии, ни великому Сталину, ни истине социализма, а зато поверил шайке злейших врагов партии, презренных оппортунистов, поверил их краснобайству, их лживой демагогии. Тогда это сочли случайностью, просто он заблуждался. И тогда у него нашлись защитники, такие, как этот заслуженный старичок. Но теперь очевидно, что это все же не было случайностью. Нет, не случайно он был дважды исключен из комсомола в связи со своим троцкистским прошлым. И так же не случайно он оказался теперь на скамье подсудимых. Во время жестокой борьбы партии против контрреволюционного троцкизма он обнаружил симпатии к троцкистам, во время отечественной войны против германского фашизма он обнаружил симпатии к немцам, обнаружил германофильство. Нельзя не увидеть в этом определенной системы - именно идеологической системы. Очевидно, система в том, куда именно поворачиваются его мысли

и симпатии. А ведь он не какой-нибудь малограмотный, глупый обыватель, и, что особенно важно, он не одиночка. Мы здесь видели, сколько у него друзей-приятелей, видим, кто эти люди и как они относятся к подсудимому, как доверяют ему, даже уважают… Это значит, что его антисоветские настроения и высказывания могут оказаться особенно опасны, могут иметь особенно вредные последствия.

Поэтому оправдательный приговор, основанный на чисто формальном, поверхностном рассмотрении этого сложного, необычного дела, был ошибкой, серьезной политической ошибкой.

Поэтому в интересах партии, государства и армии, в интересах всех честных советских людей, кто так или иначе связан с этим делом, кто дал себя обмануть в силу излишней доверчивости или ложно понятого товарищества, в интересах подсудимого он еще не стар, еще может и должен серьезно пересмотреть свое прошлое, может и должен решительно перестроить свою идеологию, свою психику его нельзя оставить безнаказанным.

Учитывая все изложенное здесь, а также все смягчающие обстоятельства, учитывая, что наше социалистическое правосудие стремится прежде всего к исправлению, руководствуясь такими-то статьями УК и УПК, я считаю возможным применить более легкую меру наказания - пять лет исправительно- трудовых лагерей и три года поражения в правах…

Адвокат говорил так, что уже в тембре его голоса звучала неуверенность, он тянул бесконечные сплетения пустых, цветных слов, начинал с одного, перескакивал на другое, кончал мысли, искал в бумагах: «Вот здесь у меня убедительное свидетельство, несомненно положительно характеризующее… Товарищ прокурор, конечно, совершенно прав в своей политической, партийной оценке, так сказать, объективного смысла и значения в общих исторических масштабах и, так сказать, конкретных аспектов данной проблематики в целом, однако, с другой стороны, я прошу трибунал принять во внимание и учесть такие существенные свидетельства, характеризующие моего подзащитного с другой стороны…»

После этого он читал вслух большие куски из писем и заявлений моих друзей, из моих статеек; и как назло выбирал самые общие фразы, декларативные похвалы, не обоснованные фактами, читал с нарочито декламационной манерой, интонируя случайные словосочетания. И вдруг пустился в рассуждения:

- Товарищ прокурор говорил о германофильстве, ведь это не уголовно наказуемо. Вот у нас называют Эренбурга

франкофилом, а мой подзащитный германофил. Я согласен, что он не может считаться достаточно политически выдержанным и морально устойчивым, что он совершал ошибки, которые привели его к исключению из рядов партии… Я лично не стал бы давать ему рекомендацию в партию, как давали некоторые свидетели обвинения… Но исключение из партии еще не означает необходимости привлечь к уголовной ответственности. Я считаю правильным, что моего подзащитного исключили из партии. Как коммунист я понимаю, что допущенные им ошибки и неправильные высказывания сделали это неизбежным. Более того, я согласен, что он частично виновен в совершении деяний, предусмотренных статьей 193-й пункт 2 г УК, в том, что не обеспечил выполнения боевого приказа в Восточной Пруссии… Однако я считаю возможным просить трибунал оправдать по статье 58, пункт 10…

Он прочитал и стал многословно и бессвязно комментировать текст статьи…

- Поскольку в поступках и высказываниях моего подзащитного не было преднамеренных деяний в целях подрыва основ советского общественного строя, я считаю возможным и совместимым с моей совестью коммуниста просить трибунал учесть все обстоятельства, а также то, где именно мой подзащитный может быть наиболее полезен, товарищ прокурор здесь признавал его несомненные положительные стороны… Признавая частично обвинение, прошу об оправдании в смысле уголовной ответственности, но так, чтобы это не означало дезавуирования партийно-политического осуждения.

Прокурор взял слово для реплики и сказал резко и презрительно, что адвокат допустил недостойную передержку, согласившись признать вину своего подсудимого по статье 193. Он делает вид, будто забыл, что эта статья целиком подпадает под амнистию 1945 года, и, следовательно, вообще не может рассматриваться…

Когда председатель сказал: «Подсудимый, вам предоставляется последнее слово», я встал, думая о том, чтобы только не забыть ничего из тех фактов, мыслей, логических конструкций, которые выстраивал долгими неделями, но вынужден был перестроить за несколько часов, слушая прокурора и адвоката.

Я решил разделить свою речь на три части, различные по сути и по тону.

Сперва я возражал прокурору, стараясь говорить так же спокойно, так же уверенно, как говорил он.

- Меня не только огорчает и оскорбляет то, что говорил

прокурор, но прежде всего я очень удивлен, я даже не представлял себе, что именно прокурор, которому партия поручила блюсти закон и справедливость, может так странно обращаться с истиной, с фактами, которые очевидны и проверялись здесь же, в этом зале, по тем материалам, которые лежат на этих столах. Прокурор (я старался говорить безлично, я не имел права назвать его «товарищ», но и не хотел по-арестантски «гражданин») долго и патетично говорил, стремясь представить меня злокозненным пособником врагов народа в пору коллективизации и первой пятилетки.

Но ведь он не может не знать, что это неправда, что мои мальчишеские связи с троцкистами продолжались считанные дни и недели в начале 29-го года. Но зато потом я участвовал как раз в тех славных делах, в коллективизации, в социалистическом строительстве, и участвовал вполне сознательно и активно. Ведь именно тогда я стал комсомольцем - кандидатом комсомола в 1930 году, членом в 31-м. Прокурор говорил о каком-то мосте, о системе, которая позволяет ему связать мальчишеские проступки 1929 года с теми преступлениями, которые мне приписали клеветники шестнадцать лет спустя, настойчиво напоминал об одном давнем дурном факте, словно тот может сделать правдоподобными лживые обвинения, которые уже столько раз были полностью опровергнуты и на первом судебном следствии, и вчера опять. Давний мелкий факт и недавнюю большую ложь вы хотите связать в систему, вы говорите о мосте. Но где опоры этого моста? Вы не привели ни единого факта. Вы даже не упомянули, что знаете о них. А ведь моя жизнь за эти шестнадцать лет как на ладони. Все открыто, все можно проверить: что я делал, как работал. Есть десятки свидетелей, есть газетные архивы, есть статьи и заметки, которые я писал и которые писались обо мне, о моей работе.

Прокурор несколько раз напомнил о том, что меня дважды исключали из комсомола. Но почему же он забывает, что меня оба раза восстанавливали? Ведь меня восстанавливали именно потому, что были товарищи, которые знали обо мне правду и опровергали несправедливые, лживые обвинения… Да, меня дважды исключали из комсомола, но оба раза по доносу одного и того же клеветника, Бориса Кубланова. Раскройте папку со следственным делом, там едва ли не первая страница - письмо все того же Кубланова, направленное еще в 43-м году в редакцию «Красной звезды». Эта клевета была опровергнута в Харьковском обкоме комсомола весной 35-го года, а потом в Москве, в ЦК ВЛКСМ весной 38-го года. Однако семь лет спустя встретились два потока клеветы, скрестились доносы Кубланова и

Забаштанского, и так возникло уголовное дело.

Для того чтобы сделать правдоподобной абсурдную ложь о пропаганде жалости к фашистам, используют лживый донос, в котором шестнадцатилетний парень изображается едва ли не вождем харьковских троцкистов. Но ведь кублановскую брехню уже дважды опровергали мои товарищи по Харьковскому паровозному заводу, которые мне, комсомольцу, рабкору, доверили ответственную партийную работу. С 31-го по 33-й год я был редактором многотиражной газеты танкового отдела, самого боевого участка на заводе. Это была идеологическая работа, и вся она запечатлена в сотнях газетных листов. И сейчас еще живы люди, которые помнят, как мы тогда работали, в пору непрерывных штурмов, без отдыха, часто вовсе без сна, бывало, больными, с высокой температурой. Именно тогда я заболел туберкулезом легких и тяжелым холециститом, и только это позволило мне пойти учиться. Нетрудно найти документальные свидетельства и живых свидетелей того, как я работал в деревне, в Новоалексеевском районе в 30-м году, в Миргородском, Волчанском и Старо-водолажском районах в 32-м и 33-м годах, в комсомольских бригадах на хлебозаготовках, редактором выездных редакций…

Вспоминая свою молодость тогда на суде и еще много лет спустя, я гордился тем, что был причастен к событиям 30-х годов, которые воспринимал как трагедию - героическую и величественную. Вместо Древнего Рока действовала историческая необходимость. И в нее я верил более истово, чем в детстве верил в Бога. Поэтому я гордился тем, что помогал отнимать хлеб у крестьян, что двадцатилетний городской невежда поучал стариков, исконных хлеборобов, как им жить, как работать, что им во вред, а что на благо. Ведь я смотрел на них с высот единственно правильной, всеспаситель-ной науки об обществе. Правда, я никогда не относился к ним так высокомерно и неприязненно, как иные, более «боевитые» товарищи, которые во всех «дядьках-селюках», и особенно в тех, кто не был членом колхоза, т.е. оставался «надувальником», «индюком», «индусом», видели зловредных подкулачников или в лучшем случае темных, невежественных варваров, «несознательный элемент»; ведь я привык с детства уважать труд; почтение к мозолистым рукам у большинства моих ровесников было неподдельным. Но в собственничестве мы видели низменный, отвратительный грех, основу «мелкобуржуазного мировоззрения». Поэтому я был убежден в своем идейном превосходстве над крестьянами и стыдился чувств сострадания, когда мы их грабили.

Все было просто и ясно: я принадлежал к единственно

праведной партии, был бойцом единственно справедливой войны за победу самого передового класса в истории и, значит, за конечное счастье всего человечества. Поэтому я должен быть готов в любое мгновение пожертвовать своей жизнью, требовать любых жертв от моих товарищей, друзей и, конечно, не щадить никаких противников и не жалеть «нейтралов» в священной борьбе, которую вели многие миллионы людей; судьба одного человека и даже судьбы сотен тысяч были уже арифметически ничтожными величинами. Для того чтобы победила рота, необходимо, бывает пожертвовать одним-двумя, несколькими бойцами, для полка - ротой, для страны - армиями… А для торжества мировой революции можно было пожертвовать целыми странами и народами - Польшей, Финляндией…

Так я думал; так верил; так хотел чувствовать.

Споря с проповедниками нового шовинизма и «священной мести», отвергая их попытки оправдывать мародерство и насилия, я был убежден, что защищаю прежде всего чистоту идей, принципы марксистско-ленинского интернационализма и реальные интересы моего государства, моей партии и моей армии. Ведь это им угрожала деморализация, озверение, развязывание самых низменных инстинктов, собственнических и шовинистических. Я очень сердился, когда говорили, будто я «донкихотствую» во имя неких вечных нравственных принципов человечности, справедливости. Ведь я твердо знал, что не может быть таких абстрактных принципов, ибо нравственность всегда социально определенна, классова, партийна.

Даже в самые тягостные, мучительные дни в тюрьме, в лагере я ощущал себя частицей той партии, которая меня отвергла, того государства, которое превратило меня в бесправного раба - зэка. И готового снова и снова воевать за них на любом фронте, работать до упаду на полный износ, идти на любые опасности, на смерть. И был безоговорочно искренен, когда сочинял себе в утешенье стишки вроде: «Если ты один пока, то сам себе будь ЦКК. Пускай отобран партбилет, пускай решеткой забран свет… Не смей слабеть, жалеть себя. И твердо помни, что везде: в бою, в тюрьме, в любой беде, пускай клевещут, пусть хулят, - ты всюду партии солдат…»

И тогда, и еще много позднее я не понимал, не хотел понять, что должен был бы гордиться враждой Забаштанского, Мулина, генерала Окорокова, недоверием следователей и прокуроров, гордиться тем, что они не хотели меня признавать своим. Потому что именно они олицетворяли настоящую природу, действительную суть партийности и государственности.

Понадобилось много лет и множество новых разбитых

иллюзий, новых опровергнутых самообманов для того, чтобы я, наконец, начал понимать, что мои обвинители были по существу правы, что все мои попытки цепляться за букву доктрин, за идеалы, которые оказались безнадежно чуждыми действительности, были и впрямь последствиями интеллигентского, «мелкобуржуазного» воспитания. Ведь и в детстве, и в юности на меня влияли мои учителя-словесники Лидия Войдеславер, Владимир Александрович Бурчак, Николай Михайлович Баженов, и с ними, благодаря им, и сами по себе влияли Пушкин, Шевченко, Лермонтов, Некрасов, Диккенс, Шиллер, Лессинг, Никитин, Надсон, Бичер Стоу, Иван Франко, Леся Украинка, Лев Толстой, Короленко, Горький, Куприн, Андреев, Микола Кулиш, Тычина… Позднее, уже в студенческую пору, в мою жизнь вошли Достоевский, Гете, Томас Манн, Пастернак, Гумилев, Киплинг. Противоречивыми были влияния Маяковского, Есенина, Всев. Иванова, Пильняка, Багрицкого, Светлова, Хвыльового, Паустовского, Юрия Яновского, Ильфа и Петрова. Я их тоже почитал и любил, но они были для меня еще и живыми подтверждениями благодатности, праведности того мира, в котором и для которого я жил.

И теперь я убежден, что именно благодаря всем этим воспитателям я так и не стал достойным товарищем Забаштанского, Беляева, Мулина и им подобных.

Теперь я понимаю, что моя судьба, казавшаяся мне тогда нелепо несчастной, незаслуженно жестокой, в действительности была и справедливой и счастливой.

Справедливой потому, что я действительно заслуживал кары, ведь я много лет не только послушно, но и ревностно участвовал в преступлениях - грабил крестьян, раболепно славил Сталина, сознательно лгал, обманывал во имя исторической необходимости, учил верить лжи и поклоняться злодеям.

А счастьем было то, что годы заключения избавили меня от неизбежного участия в новых злодеяниях и обманах. И счастливым был живой опыт арестантского бытия, ибо то, что я узнал, передумал, перечувствовал в тюрьмах и лагерях, помогло мне потом. Вопреки рецидивам комсомольских порывов, вопреки новым иллюзиям и новым самообманам 50-х и 60-х годов, пусть годы спустя, но я все же постепенно освободился от липкой паутины изощренных диалектических умозрений и от глубоко заложенного фундамента прагматических революционных силлогизмов, от всего, что и самого доброго человека может превратить в злодея, в палача, от поклонения идеям, которые, «овладевая массами», становятся губительными для целых народов.

Но тогда, в мае 1947 года, я верил в историческую необходимость и справедливость этих идей и хотел доказать судьям и прокурору, что я с ними одной породы, что я «свой».

- Так где же тот мост, о котором говорил прокурор? Может быть, в моих статьях, в научных работах? Ведь речь идет об идеологическом мосте. Все эти годы я занимался идеологической работой. Где, когда хоть кто-нибудь обнаружил в моих работах идеологические ошибки?… Была одна попытка весной 41-го года: член комитета комсомола ИФЛИ был недоволен, что в диссертации о Шиллере несколько страниц заняла полемика с нацистскими литературоведами. Он говорил, что у меня «примитивный антифашизм», который не соответствует политике дружбы с Германией. Иных политических, идеологических упреков не было. Так где же опоры моста? Не в том ли, что я пошел добровольцем на фронт, когда мог получить бронь, или в том, что все годы войны упорно сопротивлялся любым попыткам перевести меня на более высокие должности в тыл? На фронте я вел политическую, идеологическую работу. Меня приняли в партию, награждали. Все это факты. И фактам противостоят только враки двух лжецов, многократно изобличенных…

Так где же опоры того моста, о котором прокурор говорил так красноречиво и так голословно, хотя в этой же речи сам же справедливо осуждал злоупотребление красноречием?

Нет и не было таких мостов, нет и не было у меня никакой системы антисоветской идеологии. Это доказано всей жизнью, это доказано письменными и устными свидетельствами людей, чьи партийные и гражданские достоинства бесспорны и для вас. Почему же прокурор считает возможным игнорировать их правдивые свидетельства и строит некий фантастический мост на показаниях явных лжецов?

Я внимательно слушал речь прокурора. Из того, как она построена, как произносилась, совершенно очевидно, что говорил умный и образованный человек. Но это значит, что он не может верить тому, что утверждает. И я просто не могу понять - и это столько же огорчает, сколько и поражает меня, - почему прокурор считает нужным говорить то, чему сам не может верить? Почему он требует такой расправы со мной, которую сам не может считать ни справедливой, ни полезной для партии, для государства?…

Потом я возражал адвокату. Я сказал, что решительно не принимаю такой защиты, что я не нуждаюсь в снисхождении, что не может быть и речи о каких-то частичных признаниях вины, ибо никакой вины не было. Я возражал против неправильного термина «германофильство». Это буржуазное понятие, а я верен

принципам пролетарского интернационализма, ясно выраженным в словах товарища Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается…» Мои взгляды, мои слова, мои действия определялись не сентиментальными чувствами, а именно этими принципами, которые выразил великий вождь нашего народа и всего прогрессивного человечества. О взглядах моих обвинителей не может быть и речи: у них нет собственных взглядов, а их речи и поступки противоречили основам ленинско-сталинского интернационализма.

Меня ободряла внимательная тишина, глаза друзей, пристальный взгляд прокурора. Он сидел неподвижно, уперев подбородок в прочно сложенные белые руки.

- Предоставленное мне последнее слово я хочу использовать не для защиты. На прошлом суде я просил не милости, а справедливости. И тогда решение было справедливым. И оно ничем не было опровергнуто. Поэтому я хочу не защищаться, а обвинять. Я обвиняю присутствующих здесь Забаштанского и Беляева.

Они сидели слева, отделенные от меня одним конвоиром и одним пустым стулом, и оба смотрели в сторону или в пол, а когда я начал говорить о них, то с удовлетворением увидел, как Забаштанский стал набухать бурячным румянцем, а Беляев дернулся и метнул испуганный взгляд.

- Я обвиняю их в двойном преступлении - против личности и против государства, - эту часть речи я вытвердил давно, отобрав, отполировав каждое предложение. - Они совершили и совершают преступление против государства, потому что на два года вывели из строя политработника, который и в последние дни войны, и потом на оккупированной территории в повседневной работе мог за одну неделю, за один день принести стране и партии больше конкретной пользы, чем оба они вместе взятые за всю свою жизнь - жизнь шкурников, клеветников, карьеристов. Они совершили и совершают преступление против личности тем, что сознательно и злонамеренно клевещут, выдвигая заведомо ложные тяжкие политические обвинения против честного гражданина, беззаветно преданного родине и партии, тем, что обрекли меня на незаслуженные, постыдные и мучительные испытания, а мою семью на горе…

Все же я переоценил свои силы. Внезапно горло перехватило спазмой, одеревенел затылок. И я услышал свой голос. Он сипло слабел. Я испугался, что упаду, сорвусь на крик, не удержу слез. Это покажется нарочной истерикой и я рывком кончил: «Это все. Прошу не милости, а справедливости, не защищаюсь, а обвиняю».

Суд остался на совещание. Все вышли. Меня опять отвели в

тупичок в конце коридора. Потом подошел адвокат, несколько смущенный:

- Вы напрасно так волновались. Вы должны понимать, что я партийный человек… Прокурор сказал, что ему очень понравилось ваше последнее слово. Он говорил о вас прямо-таки хорошо: толковый, грамотный. Вы должны понимать - у него тоже свои обязанности.

Прошло более трех часов. Я несколько раз поел - мясо, печенье, в мешке были остатки передачи, - видел издали Надю, маму, отца, они кивали, улыбались.

Потом, уже к вечеру, позвали обратно. Опять собрались все свидетели, они стали, сгрудившись в одном углу ближе к двери.

Председатель читал неторопливо, басовито, я сразу услышал опостылевшие, зловещие слова. И под конец: «…Три года заключения в исправительно-трудовых лагерях… и два года поражения в правах».

Поглядев на Ивана, Галину и всех, кто стоял рядом с ними, я громко сказал: «Прощайте, друзья!» И тут же мне стало очень стыдно дешевого, декламационного пафоса. Такие интонации бывали у мамы, когда она хотела вызвать жалость или вообще «произвести впечатление».

К рассвету следующего дня я уже был в «осужденке», в 106-й камере, рядом с той 105-й, откуда в декабре уходил на первый суд. Встретил несколько бывших сокамерников. Меня расспрашивали очень жадно. Я был совсем недавно с воли, и двух месяцев не прошло, как ходил по Москве, читал, слушал радио, а в этой камере не было никого «моложе» года. Всего чаще и настойчивее спрашивали, разумеется, о том, что слышно про новую амнистию, про указ или манифест. В тюремно-лагерных слухах - «парашах» - именно тогда появилось выражение «манифест», мол, готовится некий манифест: всех зэка, кто до пяти лет - на волю, кто до десяти - на высылку, а в лагерях останутся только самые рецидивисты и настоящие гады, кто убивал, пытал. Мне очень хотелось утешать, говорить приятное. Осведомленные люди - и мой адвокат и еще кое-кто - действительно рассказывали, что к 30-летию Октября ждут больших льгот и новой, более широкой амнистии, чем та, что была в 45-м году. Я это подробно пересказывал, факт, что человек вот-вот с воли, и необыкновенные обстоятельства моего дела - по 58-й, а был оправдан и потом только три года получил, - да и мои пропагандистские навыки утешительства придавали сообщениям о предстоящей амнистии дополнительную убедительность.

Два года спустя в марфинской шарашке, когда новоприбывшие зэки рассказывали, что к 70-летию Сталина

готовятся амнистия и манифест, я тоже хотел верить и надеяться, но уже невесело смеялся, повторяя бутырскую шутку: «Что такое ЖОПА? - Ждущий Освобождения По Амнистии».

В «осужденке» я не успел завести друзей, даже толком ни с кем не познакомился.

На третье утро веселое солнце пробивалось сквозь мутные намордники, окна были открыты всю ночь и в духоту битком набитой камеры сочилась приветливая свежесть. Вскоре после подъема внезапно залетел стрижонок. Он ошалело метался в радостном галдеже:

- Не пугайте его! Не лови! Не махайте, жлобы, он же расшибется! Вот это радость… Это сегодня на волю кому-то… Или письмо будет. Нет, нет, это значит воля отломится!… Не пугайте птаху, дуроломы!…

Стрижонок благополучно выбрался обратно в окно, а в камере еще долго обсуждали этот добрый знак.

Глава тридцать шестая
БОЛЬШАЯ ВОЛГА

В тот же день еще до обеда меня вызвали с вещами. Все уверяли: идешь на волю, ведь даже срок кассации не вышел, значит, прокуратура применила амнистию… Очень хотелось верить, но меня смущало время: я уже знал, что днем не освобождают, а только к рассвету. Я запрещал себе надеяться и все-таки надеялся. Повели вниз «на вокзал» одного, но привели в большое помещение «шмональной», где на скамьях вдоль стен сидело человек двадцать. Я подсел к молодому, угрюмому военному:

- На каком фронте был?

- На волховском.

- Осужден?

- Ага. Два года. 163-я статья «б», пропил казенное барахло, пришили кражу. А ты?

Общество вокруг было пестрое: несколько пожилых мужиков, но большинство явно городские - по виду рабочие, технари, мелкие служащие. В стороне сидел голый паренек, едва прикрытый куском грязной мешковины. Он тупо смотрел в одну точку. Мой сосед пояснил:

- Проигрался. Сопляк, играть не умеет, а лезет.

Не понимая, что значит это странное сборище среди дня, я был растерян. Об освобождении не могло быть и речи. Но ведь по закону я должен был оставаться в тюрьме до решения кассационных инстанций.

Вокруг говорили, что ждут «покупателя», то есть представителя лагеря, который набирает работяг.

Вошли тюремные офицеры с пачками «дел» и невысокий вольный, по виду кладовщик или завхоз небольшого учреждения.

Он заговорил деловито, приглашающе:

- Новый лагерь. Хороший. Недалеко от Москвы. Поживете на чистом воздухе, лучше, чем в тюрьме.

Весь наш этап, не больше тридцати человек, уместился в одном большом грузовике, покрытом фанерной будкой. Ехали несколько часов; в щели и в полуоткрытые двери сзади, за которыми сидели конвоиры с овчаркой, виднелись то лесная дорога, то деревни. Тянуло душистым теплым воздухом.

Остановились посреди леса - песчаные дороги, высокие сосны. В стороне за просеками угадывались красно-кирпичные, серо-бетонные остовы больших зданий и желтые бревенчато-

дощатые ребра - там строительная зона. В жилой зоне новехонькие бараки пахли смолой, везде лежали штабеля бревен, досок, виднелись едва начатые и почти законченные срубы. Мы с Николаем - так звали вояку - попали сперва в бригаду разнорабочих, копали рвы и канавы в жилой зоне, сгружали с платформ доски и бревна, убирали строительный мусор. Через несколько дней новоприбывших стали по одному вызывать к начальнику лагеря.

Капитан Порхов сидел в кабинете, не снимая фуражки, сдвинутой на лоб, так, что лаковый козырек закрывал брови и затемнял тяжелые, неподвижно-угрюмые глаза. Лицо у него было бледное, пригожее, но красный толстогубый рот кривился зло. Небрежно листая тюремные дела, он спрашивал отрывисто скучным голосом:

- Кандидат наук? Ученый, значит? А чего делать умеешь? Ну, все науки здесь на хер! Понимаешь? А топор держать умеешь? Не очень, так научишься, а не научишься - пайки не заработаешь. А не заработаешь - дойдешь и подохнешь. Тут не санатория. Так вот, будешь теперь кандидат плотницких наук. Давай, топай!

Таким же образом в плотники были определены еще несколько десятков новых зэка.

Бригада, в которую попали мы с Николаем, строила бараки в жилой зоне. Бригадир, пожилой, щуплый мужичонка из бытовых, назначал нам простые уроки - пилить по его разметкам бревна и доски, таскать, подавать.

- Ты с пилой поучись… Когда пилу поймешь, я тебе дам топорик. У настоящего плотника он за все - и за пилу, и за стамеску, и за рубанок. Я вот могу топориком доску вытесать, ложку сработать, могу наличник уголками насечь или карниз… А вот мой отец одним топориком такие узоры выводил, другой бы и лобзиком и шильцем не управился…

В нашей бригаде сразу же обнаружились «законные воры», которые считали, что им работать «не положено». Мой приятель Николай оказался Николой Питерским, «родичем» или «родским», то есть взрослым, заслуженным вором. Кроме него, были еще Леха Лысый, он же Леха Харьков, уже немолодой, тощий, яйцеголовый, глянцево плешивый, носатый, и Леха-Борода, или Поп, улыбчатый, говорливый, с окладистой русой бородой. Он с настоящим артистизмом изображал митинговых ораторов, руководящих товарищей, живописно жестикулируя, картинно опирался на «трибуну» и очень выразительно лопотал:

- Товарищи! На сегодняшний день, в этот решающий момент каждый должен как один… Я категорицки заявляю и обратно призываю… Как сказано в установке, чтоб никаких там уклонов,

ни туды, ни сюды… Сомкнемте ряды по-рабочему дружно, и только вперед, как мы есть передовые. И ни в коем случае не позволим… И чтоб наш интузиязм горел ясным огнем…

С Бородой был неразлучен Сашок Блокада, молодой из воров. Он был сыном и внуком ленинградских воров. Отца и деда расстреляли в тридцать седьмом, когда «чистили рецидив». Он тогда еще в школу не ходил. Мать умерла в блокаду, а его взяли в детдом. От блокады остались памятные шрамы на бедре и голени от осколков немецкого снаряда. Сашок был неразговорчив, угрюм. Я жалел его, 17-18 летний, он выглядел не старше 13. Развеселый Борода мне даже стал симпатичен именно тем, что покровительствовал малолетке.

Но однажды в бараке вечером здоровенный верзила из хулиганов пристал к Бороде, который казался незлобивым весельчаком. Маленький Сашок бросился на верзилу молча, стремительно, ударил носком ботинка в лодыжку, головою в подбородок, двумя кулаками в живот - тот грохнулся навзничь.

Тогда неторопливо подошли старшие.

- Ты, что, падло, малолетку обижаешь? Думаешь, раз ты лоб, так тебе все можно? А ну, ползи под юрцы, пока живой… Хулиган, в рот долбанный… Привык людей убивать!

Верзила послушно полез под нары. Воры деловито распотрошили его мешок. Сашку досталась «лепеха» - пиджак, который он вскоре проиграл.

Никола, оба Лехи, малолетка и еще несколько их приятелей не работали, они находили убежище в недостроенных бараках и там курили, играли в карты, толковали о своих делах. У них были сигнальщики, и если подходил кто-нибудь из начальства, они оказывались на рабочих местах, с «понтом» пилили, тянули бревно или покуривали:

- С утра вкалываем, гражданин начальник, всю норму перевыполнили, теперь законный перекур.

Бригадир и не пытался добиваться от них работы. На первых порах он даже удивлялся тому, что я работаю, несмотря на то, что воры ко мне благоволили, величали майором, угощали табаком, чем обычно не удостаивали чужаков. У меня уже было достаточно опыта и здравого смысла, чтоб не пытаться их перевоспитывать. Но я и не хотел подделываться под них. Никола поначалу соблазнял:

- Да брось ты, майор, рогами упираться… От работы кони дохнут. Пускай мужики вкалывают. Сидоры Поликарповичи, им так положено, они кроме пилы и топора ни хрена не знают. А ты ж вояка, заслуженный ученый человек, посиди с нами, покури, тисни роман… Бригадир сам сообразит, как нужно, и процент и

норму; он мужик битый, знает, как надо жить с людьми…

«Люди» - значило воры. В их языке слова «настоящий человек» означали только настоящий вор, он же голубая кровь, чистый босяк, честный жулик, в отличие от сора, малолеток, сталинских воров, - низших рангов того же сословия, а также от вояк, фраеров, барыг, мужиков и сук.

Но я возражал, что не привык и не хочу привыкать, чтоб за меня в артели работали другие.

- Ну что ж, живи, как хотишь. Я тебя, конечно, уважаю, как я сам фронтовик. Ты мне, конечно, друг, я никогда не забуду, как ты со мной кусок поделил, честный вор такое не забывает. Но я тебе скажу как друг, ты не обижайся, майор, ты - олень. Ну прямо как фрей небитый, наводишь мораль - «работать», «артель». Да ведь эти Сидоры Поликарповичи тебя и продадут и купят за полпайки. Это они сейчас добрые, потому как видят, что люди тебя уважают, что ты с нами кушаешь. Они нас боятся, а покажи ты слабину, они тебя без соли схавают.

Плотником я работал месяц, потом меня вызвали в санчасть; в тюремном деле нашлась справка, что в Унжлаге я был медбратом. Я получил назначение лекпома в штрафную колонну, которую заново создавали где-то на берегу Волги в гравийном карьере. Больше сотни зэка погрузили в трюм открытой баржи. У бортов были крытые ниши, а над серединой - только несколько распорных балок и небо. Тянулась наша баржа долго, больше суток, шлюзовалась, отстаивалась у безлюдного берега. (Двадцать лет спустя пассажирский теплоход прошел то же расстояние за три или четыре часа.)

Выгружались мы вечером, к закату. Надя еще накануне приехала в лагерь с передачей. Ей объяснили, куда нас повезли. Она добиралась на попутных машинах, ночевала у колхозников и целый день до вечера ждала нашего прибытия. Свидания нам сперва не давали. Капитан говорил: «Ничего не устроено, ничего нет, ишшо вахты нет, понимаете, ну и где я возьму конвой? И где надзиратели? Совсем нет кадров. Разгрузка идет, понимаете?»

Но потом он все же уступил и самолично конвоировал меня на какой-то пригорок, где позволил нам посидеть с полчаса: «Пока солнышко не будет совсем уходить, понимаете, пока еще светло… Так положено, понимаете. Я сочувствую, но вы-то должны понимать. Так положено».

Он тактично сидел в сторонке. Потом, на обратном пути я без особого труда упросил его принять в подарок четвертинку водки - Надя привезла мне две - и пачку хороших папирос.

- Это, понимаете, совсем не положено… Могут даже дело пришить, сами понимаете. Но если вы так по-человечески

просите… я, конечно, тоже понимаю…

Первую ночь мы спали в песчаном овраге вповалку на брезенте будущих палаток, при свете двух прожекторов - мертвенно-лиловатый, слепящий, злой свет, - под клокот и стук движка, питавшего прожектора. Среди ночи пошел дождь. Одни с кряхтеньем и бранью пытались пролезть под брезент, другие продолжали спать, где-то подрались, галдели, матерились. Часовые орали - они тоже мокли и злились. Овчарки нервно лаяли, возбужденные непривычным беспорядком… Наутро у меня было десятка два пациентов - жар, озноб. Накануне отправки всем делали прививку поливакцины - очень болезненные уколы в спину. Почти все старшие воры увильнули. Я тоже отказался, помня по фронту, что эта прививка может вызвать трех-четырехдневное заболевание, а мне предстояло быть единственным «медиком» на полтораста человек. Уже на барже у многих начался жар, на местах уколов набухали красноватые опухоли. Я кормил больных аспирином и стрептоцидом и благословлял завхоза санчасти. Бывший морской лейтенант, осужденный за хищения, выпросил у меня почти все папиросы - «тебе там с махоркой сподручнее будет» - и еще что-то, но зато взамен выдал без счету из аптечного склада все, что я заказывал, и даже еще больше: коробку пенициллина в таблетках, витамины, множество ампул тогда еще нового кордиамина и какие-то американские и английские лекарства.

Новый лагпункт соорудили за полдня, благо дождь к утру прошел. В узкой лощине, отделенной высокой косой от берега Волги, под крутым песчаным откосом огородили двумя рядами колючей проволоки квадрат примерно сто на сто шагов. Внутри поставили на дощатых основах две длинные палатки, каждая могла вместить человек семьдесят. В палатках сбили сплошные нары по обе стороны, а посередине - длинные столы из нестроганых досок. В левой палатке выгородили брезентом и фанерой две кабины: для санчасти и для канцелярии. В санчасти стояли белый шкафчик, белый столик с лекарствами, белая лежанка для больных - специальная мебель, привезенная из лагеря. Кроме того, под прямым углом вкопали две лежанки для меня и для бухгалтера. Он жил в санчасти, а работал в соседней кабинке - канцелярии, где жили нарядчик-нормировщик и учетчик, он же культработник.

В углу зоны вырыли яму и сбили из досок уборную, в другом углу, ближе к входным воротам, сложили большой очаг на два котла, вкопали кухонный стол с навесом, соорудили дровяной склад и нечто вроде шкафа. Палатки для охраны и дощатый домик для начальства поставили наверху, на откосе. Над углами

обкопали площадки для часовых - «попок» и установили дощатые грибки.

Пост над уборной был расположен так, что его почти не могли видеть сверху. Здесь велся товарообмен через худой навес. Между двумя рядами колючей проволоки проходила запретная зона. Но из-за крутизны склона в наружном ряду у поста был разрыв - щель, и часовой мог, зайдя в «запретку», получать из уборной товар: заигранные пиджаки, сапоги, белье, в том числе и недавно полученное казенное, или даже деньги, которые у воров никогда не переводились. Сменившись, часовой через два часа опять приходил на пост и приносил огурцы, помидоры, хлеб, картошку, а главное водку. Тарой служили грелки, которые выпрашивались у меня и всякий раз честно возвращались, причем и мне, и соседу-бухгалтеру подносили по сто-сто пятьдесят грамм и толику закуски. Бухгалтер, Андрей Васильевич, пожилой, неразговорчивый москвич, оказался очень спокойным доброжелательным соседом. Он уже был зэка, часто болел, - гастритами, холециститом, воспалением легких, и вместо инвалидного лагпункта его отправили бухгалтером на штрафной: работы немного, лежи, загорай. Нарядчик дядя Вася был директором обувного магазина в Москве. Он сидел уже третий раз и все по «хозяйственным делам». В этот раз он получил десять лет по указу от 7 августа 1932 года, который предусматривал очень суровые кары «за хищения социалистической собственности». Он носил опрятное военное обмундирование - офицерскую гимнастерку, бриджи, хромовые сапоги, но все его повадки и ухватки выдавали сугубо штатского и притом именно торгового человека.

- Нет, на фронте я не бывал, не довелось. По правде сказать, я никогда и не старался… Геройство я, конечно, уважаю и сознаю вполне, защита родины - святое дело. Если бы пришлось, я, конечно, свой долг исполнил бы как следует. Но самому лезть черту в зубы - это, по-моему, извините, просто глупость или, может быть, рисковая отчаянность. У молодых это, конечно, бывает, и это даже очень хорошо, в смысле патриотизма. Но я-то уже дедушка. Вы не смотрите, что пока что ни сединки и все зубы при мне. Это у меня здоровье от дедов и прадедов, ярославских волгарей. Они, конечно, старой веры были и крепкой породы, ни водки не пили, ни табаку не курили и жили до ста лет и уж, конечно, извините, без докторов… какого вы думаете, я года?… Вот, и не угадали, с 94-го я, еще перед войной двух сыновей оженил и дочку замуж отдал. Трое внуков у меня уже в 41-м было. А детей шестеро, от первой жены четыре и двое от второй. Старший сын с пятнадцатого года, меня тогда папаша оженили,

как та война началась, конечно, чтобы от призыва уберечь, но все же не удалось. На второй год потянули. Правда, близко к фронту не попадал. Работал сапожником, шорником, ротным писарем. Первую жену я схоронил в тридцать третьем году, от грудной жабы умерла в одночасье. Вторую взял тоже ярославскую, не какую там с улицы, родственники приглядели тихую, добрую девушку из хорошей семьи. Не в красоте, конечно, счастье, мне хозяйка нужна была в дом для детей… Сыновья и дочки тогда еще в школу ходили, старшего я потом направил в институт, на инженера. Сам-то я ведь, конечно, самоучка. У папаши до революции было обувное дело. А я в солдатском совете был, в партию вошел. Но работал всегда по хозяйственной линии, как имел еще от папаши квалификацию по сапожной части, в смысле обуви и, конечно, вообще в кожном деле. Если бы мне полное образование, я, может быть, и в директора большого треста вышел… Но где там было учиться - ведь семья, и папаше помогал. Их как разорили в революции, так они и при нэпе уже не могли обратно подняться. Года не те. Здоровы, конечно, еще работали в артелях, в кооперации, значит, но как началась пятилетка, пошли, конечно, трудности с питанием и вообще… А я как партийный - то одна мобилизация, то другая, на коллективизацию, на хлебозаготовки или где прорыв по линии снабжения. А у меня характер такой: сам никуда не лезу, но если что поручают, то, конечно, стараюсь добросовестно. После первой судимости меня еще в партии восстановили. Потом я опять был на ответственных должностях, тоже, конечно, по новой - «недостача». Как это в торговом деле бывает: заведется такая стерва, и ненасытная и подлая: ему все мало, он, как говорится, у нищего копейку отнимет и, конечно, пропьет, и еще куражиться будет. Он сам, дурак, нахальный такой, что его любой юный пионер уже за версту понимает как жулика. А потом он еще и других людей топит. Вот через таких негодяев и я получил срок по указу; хотя правду скажу - дело ведь уже давнее - я, конечно, там допускал, нельзя у воды жить и пальцев не замочить; но что мне тогда навешали целые миллионы, так это была чистая клевета. Отправили меня тогда в ближний лагерь, в производственную колонию от Бутырской тюрьмы. Но вскорости сактировали, язва… этой… двенадцатиперстной и, конечно, общий упадок сил. И вот опять взяли. В третий раз. Опять указ: десять и пять. А язва как была при мне, так и осталась, конечно. Опять одна надежда на медицину…

В нашей штрафной колонне было несколько «законных» воров. Старший у них - по старой «фене» это называлось «паханом» - считался Леха Лысый. Его ближайшее окружение

составляли Никола Питерский, Леха Борода, Никола Зацепа, Сеня Нога и др. Никола напоминал скорее матроса, чем профессиовального вора; Сеня был фронтовиком, инвалидом, на голени гноился незаживающий свищ от осколочной раны. Его я с первого же дня освободил от всех работ, кормил витаминами, старательно перевязывал, пытался лечить. Он говорил высоким, почти писклявым голосом, жаловался на тяжелую воровскую долю и, славя благородство честных жуликов, рассказывал фантастические истории об их подвигах, уделяя себе скромную роль очевидца. Предупреждая сомнения, он клялся: «Чтоб мне сгнить в тюрьме, если свистну… Век мне свободы не видать - чистая правда».

Леня Генерал пришел на прием в один из первых дней после открытия санчасти перед утренним разводом. У входа в кабину, где я накануне вколотил две скамьи для ожидающих приема, сидели несколько явно больных и косящих под хворь, зябко кутавшихся в мешки и «куфайки». Внезапно они загалдели: «Чего лезешь без очереди? Тут все больные!… Тебе что, больше всех надо?» Потом крики внезапно стихли. Брезентовый полог кабинки резко отмахнулся, и вошел рослый белокурый парень с ярко-голубыми глазами и еще по-ребячьи мягким красивым ртом.

- Доктор, я сильно больной, работать не могу!

На лежанке уже сидели двое с термометрами - каждый держал по два, чтоб обе руки были заняты и не удавалось «настучать» повышенную температуру.

- Чем ты болен? Что болит?

- А это ты должен мне сказать. На то ты и доктор. На, смотри!

Он картинно распахнул вольный пиджак, надетый на голое тело. Белая юношеская грудь «расписана» синими наколками. Из-за пояса торчал топор.

- Ну что ж, давай послушаю.

Я понимал, что это испытание на слабинку. Уступить было бы не только постыдно само по себе, но вело бы ко все новым унижениям, к порабощению. В животе мерзкий холодок страха, но отступать некуда, и выбора не было. Не спеша я взял стетоскоп, вставил оба конца в уши и с ухваткой заправского лекаря наклонился к пациенту.

- Дыши глубже!

Левой рукой я приставил стетоскоп к его груди почти у горла, а правой схватил топор, выдернул рывком и сразу же ткнул топорищем ему в живот под ложечку, не слишком сильно, но достаточно, чтобы он согнулся, задохнувшись. Тогда я повернул его, вытолкал за полог и наорал вдогонку по всем регистрам оттяжки: в рот, в нос и так далее. Он отдышался и откликнулся

довольно миролюбиво:

- Ну и хрен с тобой, если ты такой жлоб… А я все равно работать не буду, у меня сифилис.

И он действительно ни разу не вышел на работу. Получал штрафную пайку 300 граммов, но получал и передачи и подкармливался у дружков. Несколько раз он просил:

- Доктор ну, поимей жалость, запиши больным, а то дойду на трехстах граммах. Не положено? Хочешь на лапу? Тельняшку новую или прохаря хромовые, тут у одного фрея сорок пятый номер, тебе как раз будут. Я с него честно заиграю, бля буду. Не хочешь? Честняга, значит? Вам, доктор, значит, не жалко, что вот так, рядом с вами будет помирать от истощения молодой человек, юноша, который, возможно, тоже хотел быть честным советским гражданином, патриотом родины, но коварная судьба закинула его в преступный мир. Ведь мой папа генерал, Герой Советского Союза, а мама - заслуженная артистка, но мою молодость погубили мое доброе сердце и такая любовь, что, если про нее хорошие стихи написать или кинофильм накрутить - миллионы людей плакать будут…

Мой рабочий день начинался в четыре утра. Приходил повар, немолодой армянин, и говорил:

- Доктор, иди смотри закладку на завтрак. Эти биляди опять, наверное, зажали жиры…

Каптер конвойного взвода, белобрысый старшина, привозил на тачке мешок пшена, консервные банки - бобы и тушеное мясо, буханки хлеба, белесые комья комбижира, похожие на мыло, кусковой сахар, насыпанный в оберточную бумагу.

Несомненно, он воровал. Но ни я, ни меланхоличный повар ни разу не могли его уличить. Он бойко частил цифрами: сиводни имеешь гарантийных паек столько-то, премиальных столько-то, штрафных столько-то. Пересчитывать и перевешивать было невозможно, к шести утра должен был поспеть завтрак, к этому же времени повар и его помощник должны были нарезать и развесить больше сотни хлебных паек.

С половины шестого я начинал утренний прием: до развода, то есть до семи, принимал тех, кто еще не имел освобождения, или у кого освобождение кончалось. С семи до девяти у входа толклись ходячие больные, после десяти я навещал лежачих.

Командир взвода охраны, он же начальник колонны, курносый лейтенант, горластый матерщинник, сменивший благодушного капитана-киргиза, уже на второй день сказал:

- Вы, доктор, что такое допускаете? Ты охреновел, что ли? На пятнадцать человек освобождение написал. А тут еще сколько отказчиков без всяких… Это ж кто работать будет! Я не посмотрю,

что вы доктор, профессор, самого пошлю в карьер, иди, катай тачку, давай процент.

- Гражданин начальник, я освободил только явно увечных инвалидов и тех, у кого высокая температура. Можете поглядеть, что у них от прививки получилось, как спины раздуло. Они не то что работать, ходить не могут… Если я такому не дам освобождения, а он помрет в карьере, что тогда? Мне-то, наверное, новый срок дадут. Но и вам не весело будет, похуже, чем за малый процент.

- Это вы правду говорите. Нет, ты только подумай, какое блядство… надавали мне доходяг и калек, и чтоб я с ими каждый день сотню тонн гравия давал… Ты уж, доктор, старайся, лечи тех поносников, в рот их долбать и сушить вешать…

Вскоре после полудня закладывался обед, потом надо было снимать пробу.

В первый раз повар принес мне и бухгалтеру по большому котелку супа, заплывшего оранжевым жиром, с кусками тушеного мяса из банок. Произошло резкое и решительное объяснение. Бухгалтер и я были единодушны: объедать работяг - подлость. Сам повар может жрать от пуза, так уж заведено, а нам давай, как всем.

- Как всем? Так ведь никто же не поверит. Если вы - простите за выражение, но так все говорят - придурки, значит, вы имеете и питание лучше… Так все думают и все равно будут думать, хотя вы даже совсем не будете кушать с котла, а только свои передачи.

Мы запретили повару носить еду в кабинку. Четыре придурка: дядя Вася, учетчик-культработник, бухгалтер и я - должны были сами получать свои порции на кухне, на виду у всех, кто оставался в зоне, т.е. больных и временно прикомандированных к поварам дровоколов.

Весь час обеденного перерыва шел прием работяг: перевязки ранений, ушибов, раздача лекарств постоянным пациентам - желудоч-никам, малярикам. Выдавать лекарства впрок не полагалось, больной должен был принимать все в моем присутствии.

Потом начинался очередной амбулаторный прием, за ним второй обход, закладка и проба ужина, а вечером приходили внеочередные пациенты с сердечными приступами, с поносами и рвотой либо те, кому я назначал перед сном банки и клизмы.

Все же в течение дня выдавались и свободные часы; я мог даже полежать с книгой на траве перед кабиной, отвернувшись от уборной так, чтобы ветер с Волги перешибал хлорный смрад, в такие часы ко мне подсаживались дядя Вася, или Сеня Нога, Леня Генерал, или учетчик-культработник Миша. Это был молодой

адвокат-москвич, не по летам рано располневший, печально глядевший выпуклыми глазами в мохнатых ресницах. Он недавно закончил университет и получил направление в адвокатуру во Львов. Его отца, тоже адвоката и юрисконсульта, арестовали по крупному делу вместе с множеством разнокалиберных хозяйственников. Миша ходил к следователю, просил передать отцу, страдавшему диабетом, лекарства, а следователь написал рапорт, что Миша предлагал ему взятку. Его осудили на два года. Но тем временем его отец был оправдан и хлопотал о сыне. Миша учился в одной школе, в одном классе со Светланой Сталиной и говорил о ней с неподдельной симпатией. Так, именно благодаря ей он впервые прочитал Есенина: она принесла в школу книгу его стихов. Одноклассники читали по очереди. У одного из ребят учительница отняла «вредную книгу», началось расследование, все, разумеется, молчали, но Светлана сама пошла к ней: это моя книга, я у папы взяла. Тут сразу все тише воды стали.

В штрафной колонне законные воры вели себя иначе, чем в основном лагере. После бурного «толковища», на время которого всех, кто не в «законе», загнали в другую палатку и малолетки следили, чтоб никто не приближался к месту, где шло тайное совещание, они, вопреки обычаям, образовали свою отдельную бригаду и Леху Лысого выбрали бригадиром. Все они, за исключением одного-двух действительно больных и упрямого Лени Генерала, выходили с утра в карьер. В пасмурные дни после обеда большинство бригады оставалось в зоне, к тому времени дневная норма считалась уже выполненной или перевыполненной. Но в хорошую погоду они предпочитали загорать в карьере.

Дядя Вася и Миша объясняли, что тут, конечно, не без туфты, но все же и некоторые воры, и специально отобранные в бригаду работяги действительно вкалывали на совесть. С первых же дней прославился рекордами - огромным количеством тачек гравия, вывезенных из карьера на баржу - законный вор Карапет Аракелян, прозванный Бомбовозом. Невысокий, плечистый, он почти всегда блаженно улыбался и ничем не походил на вора. Он был приветлив, добродушно-услужлив, без угодливости и, что уж совсем не вязалось с блатными нравами, любил работать. Полуголый, медно-красный, руки и грудь бугрились мышцами, лоснились потом, он катил тяжеленные тачки гравия бегом, весело покрикивая: «Давай дарога, бам-бовоз!» И в зоне он тоже находил обычно работу у кухни. Ел он много, но честно отрабатывал дополнительные порции, на которые не скупился повар-земляк. Бомбовоз колол и пилил дрова, чинил очаг, пристраивал полки, выносил очистки и мусор. И тем не менее он

считался законным вором. А его рекордами гордилась вся воровская бригада. Но добродушного здоровяка возненавидел Гога-Шкилет, долговязый, тощий, чернявый мальчишка из малолеток. Играя с Бомбовозом в «буру», он передернул, и тот отказался играть.

- Так не хочу, вор с вором должен честно играть, я не фрей какой…

Гога ощерился и обругал его, что не полагалось по воровским законам, и к тому же обозвал толстожопым ишаком, что Бомбовоз воспринял как оскорбление национального достоинства и смазал его тяжелой лапой.

- Закрой гразный рот, сука ты малинька! Гога завизжал, размазывая кровавые сопли:

- Он вора вдарил… Сука… Падло… Землить его…

Взрослые воры окружили их. Хриплым тенором надрывался Никола Питерский:

- Кончай свару, вы забыли, кто вы есть! Разве вы не честные воры, не законные жулики?

Толковищ гудел до полуночи. Старшие отказались «землить» Бомбовоза, т.е. признать его нарушителем закона и тем самым лишить прав и привилегий, положенных ворам, в частности, права «курочить» фраеров и требовать любой помощи от любого вора. Гога не успокаивался, его ободряла поддержка молодых, роптавших на «взрослякoв», которые образовали свой кружок избранных и пошли на соглашение с гадами, т.е. с начальством, создав рабочую бригаду во главе с вором. Молодые видели в этом нарушение закона, а добродушного Бомбовоза, который резво таскал тачки, вырабатывая премиальные пайки не только братьям-ворам, но и мужикам и фреям, Гога и его сторонники считали чуть ли не штрейкбрехером, ронявшим достоинство блатной «голубой крови». Но в открытую спорить с вожаками никто не решался, хотя недовольных было много.

Больше всех больных меня тревожил Леня Генерал. Он пришел томный - «опять сифилис наружу полез» - и показал красные язвочки на члене. Я перетрусил до тошноты; в моем скудном медицинском опыте и не менее скудных познаниях вовсе не было раздела венерологии. В инструкции для санчасти значилось только, что больных сифилисом и гонореей надо по возможности изолировать, но от работы не освобождать. Я давал ему цинковую и стрептоцидную мазь, порошковый белый стрептоцид, чтоб присыпать, и бинт, чтоб перевязывать язвы, кормил таблетками белого стрептоцида, но прикасаться к нему не решался:

- Ты должен понимать, я других могу заразить.

Старшему по палатке, Лехе Лысому, я сказал, чтобы Лене отделили особое место на нарах в углу, подальше ото всех остальных, чтоб его миска и кружка - упаси Боже - не смешивались с другими, чтобы у него никто не брал покурить и не играл с ним в карты. Леха слушал словно бы внимательно и даже поддакивал, но скорее так, как взрослый слушает болтовню ребенка.

- Лады, лады, доктор, будь спок… Ясно-понятно, мы этого гумозника со всей бдительностью отшивать будем… Я его еще по воле знаю, молодой хороший босяк, чистый жулик… но уже гниет через любовь… Жаль человека, но свое здоровье тоже надо пожалеть. Только ты не переживай, доктор, я тебя понимаю, я сам имею образование, еще в двадцать восьмом году кончил техникум по железнодорожной линии, служба путей. Я понимаю, что это такое, все эти микробы, фузории и прочие, как говорится, бациллы. От них вся зараза, в рот их долбать. Но ты не переживай, доктор, когда кто тебя не слушает. Ты ж сам видишь, какой здесь народ - людей раз, два и нет, а все другие - так, мусор, дешевый полуцвет, косят под блатных, а сами обыкновенная шобла, хулиганы и сталинские воры. Он там от голода воровал или от нечего делать, а здесь хоть сейчас наседкой и гадом станет, так что их жалеть, перевязывать? Ты скажи им, что надо и как надо, и хрен с ними… Не хотят понимать, хай гниют… А то, если ты через каждого переживать будешь, так ведь сам поплывешь, нервы же не железные. Ты людям помогаешь, но должен свое здоровье беречь.

Почти ежедневно я посылал панические рапорты начальнику санчасти о сифилитике с «открытыми язвами», о нескольких тяжелобольных, у которых все нарастали опухоли на спинах, температура то снижалась от аспирина и стрептоцида и таблеток драгоценного пенициллина, то снова угрожающе росла. Одна опухоль прорвалась, густо шел зловонный зеленоватый гной, я орудовал борной кислотой, стрептоцидовой мазью, порошковым стрептоцидом, боялся пачкать ихтиолом открытую рану, наклеивал и набинтовывал огромные компрессы, кормил пенициллином.

Наконец прибыл сам начальник санчасти, вольный доктор Александр Иванович. У него было длинное тело на коротких ногах с короткой шеей горбуна, но горб был маленький и казался скорее сильной сутулостью.

Ему было под сорок; сын священника из Куйбышевской области, он сразу после окончания института был направлен в санчасть ГУЛАГа, уже лет десять работал в лагерях. Врач он был опытный, уверенно владел скальпелем, очень внимательно

выслушивал больных, точно диагностировал, но разговаривал с больными чаще всего брезгливо-равнодушно или начальственно-грубо, мог и по фене оттянуть…

На меня он поглядывал с ироническим любопытством. Диковинным было уже соотношение статьи и срока. При первом знакомстве он убедился, что у меня есть кое-какие старательно зазубренные медицинские знания и даже некоторый опыт. Он экзаменовал меня коротко, но целесообразно, остался доволен тем, что я быстро, уверенно пересказал приметы пеллагры, цинги, дистрофии, дизентерии, воспаления легких, грамотно выписывал рецепты. Когда я начал работать, мое рвение для него было естественным: кому не хочется с общих работ в санчасть, чтобы вместо кайла и лопаты - термометры и порошки. Но с другой стороны все это не вязалось с моими назойливо откровенными признаниями в невежестве: со штрафного я посылал рапорты, полные вопросов, умоляющих просьб, напоминал о еще неотвеченных вопросах; потом в основном лагере я также приставал к нему и, разумеется, сообщал о всех своих ошибках и упущениях, которые нужно было срочно исправлять. Ничего подобного не делал бы настоящий лагерный «лепила», которому всего дороже его авторитет и прочность завоеванного места, поскольку «день кантовки - месяц жизни».

Вместе с Александром Ивановичем на штрафной приехал главный прораб лагеря. Он сипло орал на местное начальство, а войдя в санчасть, стал орать на меня:

- Санаторий тут развели, ваш рот долбать, курорт! Только сегодня восемнадцать освобождений надавал, тоже мне лекарь! Видно, дрейфит здорово, в штаны наклал, его тут любой шкодник оттянет, он и пишет освобождение! Или, может, на лапу берет? За это самого в карьер или новый срок…

Я не выдержал и тоже стал орать, что-то вроде:

- Гражданин начальник, вы не смеете оскорблять и шить дела. Я требую расследования!… Немедленного расследования! Пусть начальник санчасти посмотрит, есть ли хоть одно липовое освобождение. Я сюда назначен лечить, а не выгонять на работу. Здесь советский лагерь, а не Майданек. И я себя оскорблять никому не позволю!…

Александр Иванович сухо, резко прервал меня:

- Хватит! Без истерик! Я сам разберусь. Никто вам дела не шьет.

Прораб только ухмылялся:

- Какой я вам «гражданин», я, правда, начальник, но такой же зэка, и не психуйте, я сам приличный псих…

Это был инженер Презент, родной брат главного подручного

Лысенко. Осужденный еще в тридцать седьмом году на 25 лет, он к сорок седьмому году стал уже настолько бесконвойным, что ездил в командировки в Москву и в Куйбышев, а конвоиры в штатском таскали за ним чемоданы. Он был груб, нагл и бесстыдно-циничен. Когда я вернулся в основной лагерь, он заходил ко мне иногда за пирамидоном, за витаминами. Однажды он взялся передать от меня письмо домой и действительно передал, но у моей матери он прямо потребовал денег: «Поиздержался в дороге, не дадите ли сотню-полтораста?» Об этом я узнал на свидании. Привезя мне из дому небольшую посылку, он сказал: «Ну-ка, вскройте сейчас, я не стал проверять как порядочный человек…» Увидев две плитки шоколаду и несколько пачек «Казбека», он просто взял одну плитку и две пачки - «на той неделе опять поеду, готовьте ксиву».

Начальник санчасти стал комиссовать моих больных и вообще всех штрафников. В комиссию он включил Презента и меня. Александр Иванович тут же ловко вскрывал опухоли, я ассистировал, поливал замораживающим анальгетиком, делал уколы.

Он утвердил все мои освобождения, отобрал еще несколько дистрофиков и цинготных для этапирования в стационар. Осрамил меня только Леня Генерал со своим сифилисом. Когда он, скорбно охая, разбинтовал и продемонстрировал язвочки, багровевшие сквозь мазь, Презент сплюнул: «Вот падло, гумозник, как его на этап пустили». Но Александр Иванович усмехнулся:

- А ну-ка, дайте йоду или зеленки!

- Ой, доктор, жгет!

- Я тебе еще не так прижгу! Меня хрен огребешь! Чем замастырил, марганцовкой? Стрептоцидом? - И ко мне: - Вы ему давали марганцовку или красный стрептоцид?

- Н-н-нет.

Все же я соврал, так как я давал красный стрептоцид его дружку Седому. Этого щуплого пацана я лечил от жестоких поносов. Каждого поносника полагалось провожать в сортир, чтобы убедиться, что он не косит, не притворяется. Седой болел по-настоящему, он был истощен - ребра тонкие, рыбьи, вместо ягодиц - вмятины. Я давал ему бесалол, поил марганцем, ставил ромашковые клизмы, велел повару сушить сухари и готовить ему и еще двум-трем постоянным поносникам диетические каши из разваренного пшена или перловки. Несколько раз давал им освобождение, но и Седой, и его приятели предпочитали выходить с воровской бригадой за зону, чтобы там, нарушая диету, «дойти» так, чтобы их «сактировали». Не помогали никакие увещевания, никакие грозные предупреждения: «Подохнете,

фитили, дерьмом изойдете, сактируетесь в деревянные бушлаты, ногами вперед за вахту понесут…»

Седой был к тому же болезненным онанистом.

- Доктор, не могу я не трюхать… Сколько раз? А я не считаю. Ясно, что кажный день, ну не сто, а десять раз, может, и бывает. Но скорее меньше. Я же с мала-мала трюхаю. Бабу я ни в жисть и не пробовал, бабы - они все гумозные суки. И жопошников я ненавижу. Меня один бандит угреб в камере, еще в первый срок, я тогда совсем малолетка был, я же с тридцать первого года. Так я его кусал, веришь, как собака, в кровь. А он, сука, мне рот заткнул и гребет, аж все кости трещат, все кишки рвутся. Я потом больной был. Может, и теперь у меня с того понос, что он мне кишки порвал… здоровый был, жлоб. А трюхать - это же никакого вреда. На воле я меньше трюхаю, на воле и погулять можно, и в кино. На воле я работаю, щипач знаешь какой, высший класс, легче мухи, и с руки, и с лепехи часики возьму - не услышишь. На воле интерес есть, а тут делать не хрена, только и трюхать… Говоришь, так скорее дойду? Никогда ни одну бабу гребать не смогу? Ну и хрен с ними, с бабами и со всей этой жизнью… А если ты меня жалеешь, так дай газетку, красного стрептоцида и черный карандаш - я «бой» замастырю (игральные карты). Мы играть станем, я трюхать забуду…

Это было убедительно, и я дал ему все, что он просил. Так возникли и колода карт, и язвы у Лени Генерала. От начальника я тогда впервые узнал, что крупинка стрептоциду или марганцовки, прибинтованная к чувствительной ткани, вызывает изъязвления.

Леню разоблачение не смутило. Он кряхтел от йода и частил:

- Виноват, граждане медицинские начальники, но только сифилис во мне все-таки сидит, это я точно знаю, и хотел, чтоб и другие люди видели и остерегались и чтоб медицина помогла по силе возможности молодому человеку, чтоб он мог иметь здоровье и перековаться на пользу родине.

Александр Иванович сказал мне:

- Вероятно, он врет, но потом в лагере возьмем у него кровь на Вассермана, проверим: все может быть. Однако на работу он ходить должен.

Комиссия отбыла, увозя тяжелобольных. Начальник обещал в ближайшее время отозвать меня в основной лагерь.

На некоторое время стало полегче, днем можно было дольше почитать в тени палатки.

Леня Генерал присаживался на траву у моего лежбища.

- Не боись, доктор, я так сяду, чтоб ветер не от меня, совсем наоборот… Я ведь сознаю - инфекция есть угроза. Если я такой несчастный в своей молодой жизни, зачем от меня другим

страдать. Вот смотрите, доктор, я курю аккуратно и бычки только в запретку кидаю. Чтоб никакой заразы… А в ночь опять толковищ был, слыхали, как галдели? Там ваш кореш Никола даже слезу пускал, кричал про воровскую совесть. А какая у них совесть? Вот я скажу вам, как я вам доверяю, у меня на людей глаз - алмаз. Раз глянул, и все насквозь вижу. Это в нашей профессии главное дело, понимать, кто чем дышит.

- Вы, дорогой товарищ доктор, можете, конечно, презирать наш преступный мир или даже опасаться, но каждый душевный и понимающий человек должен пожалеть и понять: не такая это легкая и веселая жизнь, где вечно пляшут и поют. И не от глупости, не от подлости идет на эту жизнь настоящий человек, а совсем наоборот, от судьбы, оттого, что обожает свободу, имеет хороший ум и храброе сердце, но еще имеет такую психологию, что он в других условиях и в другие времена был бы, наверное, геройский атаман, партизан, подпольный большевик, граф Монте-Кристо или мастер спорта. А вышли такие условия, что он стал уголки отворачивать и гниет в лагере, и напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает… Вот ты обратно лыбишься, доктор, думаешь: свистит Ленька, держит меня за фрея, темнит и фалует… Я ж все насквозь вижу. Нет, вы так не думайте, на хрена мне свистеть, если ж я точно знаю, что освобождения все равно не дашь и еще как заразного презираешь… Нет, нет, вы не говорите, доктор, я все вижу: по-человечески вы меня жалеете, а все-таки не уважаете, презираете… Но я на вас сердца не имею, а наоборот, уважаю, как образованный медицинский персонал… Дай покурить, доктор, своего табачку, обожаю трубочный… Оторви газетки, сыпани столько, сколько не жалко… Вот спасибо, очень аромат прекрасный, но махорочка все же сильнее. В трубке твой табак, конечно, слаще, но тухнет часто, сколько ты спичек переведешь… возьми коробок, у меня еще есть… Ах, извиняюсь, забыл, что вы брезгаете… А не брезгаете, так боитесь инфекции… Эх, доктор, ты боишься заразиться от меня потому, что я тебе честно признался… Вот ты умный-умный, а дурак! Не думаешь, сколько тут есть таких гумозных, которые не раскалываются и хавают со всеми, и ходят до тебя, чтобы ты им клизмы ставил, поносникам, долбанным в рот… Кто такие? А хрен их знает… Если б я точно знал, я б тебе, может, и сказал по дружбе, но я точно никого не знаю, а так, вообще соображаю, потому что я в лагерной жизни больше вас понимаю, товарищ доктор, хоть ты и книжки читаешь на разных языках и газету «Правда», боевой орган нашей партии… Зато я знаю такое, про что ни в каких книжках, ни в газетах не пишут и никогда не напишут… Почему никогда? А потому, что те, кто в книжки и в газеты пишет, этого

никогда не узнает, а кто знает, тот писать не умеет, а если когда заумеет, все равно не напишет, потому бояться будет: или его блатные пришьют за измену, или по 58-й расстреляют за злостную клевету на счастливый советский народ, который еще в первую пятилетку окончательно ликвидировал всякую преступность, как это было показано в кино и в театре и написано в газетах…

Нет, без шуток, доктор, вам я могу сказать, конечно, строго между нами, вы ж уже понимаете нашу жизнь, и если кто, Никола или Леха, узнает, что я с вами такой откровенный разговор имел - вы же простите, все-таки фраер, ну, конечно, вояка, доктор, это сорт повыше, не какой-нибудь фрей небитый или барыга, но все-таки вы не блатной, - и за то, что я вам про наши дела рассказываю, мне земля и тогда любой малолетка может меня просто зарезать…

Так что вся моя жизнь есть в ваших благородных руках… Но за друга готов я хоть в воду и скажу только вам: в нашей колонне здесь настоящих честных воров нет… Уже нет!… Гад я буду, это без шуток - вот, чтоб мне завтра подохнуть, чтоб мне сгнить в самой поганой тюрьме, чтоб мне до смерти свободы не понюхать, если вру… Ты думаешь, твой Никола или Борода и Зацепа - законные родичи?… Были, может, когда-то. Леха Лысый, тот раньше и вправду был, это я точно знаю. Но теперь они все скурвились, ссучились. Ты ведь знаешь: я с ними не кушаю, на толковищах молчу… Потому что я закон держу строго, потому за зону и не иду. Ты не думай, что я так филоню - дойти хочу… В другую бригаду я пошел бы, но если все воры в одной бригаде - не могу и не хочу, потому что если вор - бригадир, так он уже для меня не вор, а сука позорная… И все вокруг него такие же; свистят: «мы с понтом», «мы туфту заложили, всех начальников на чернуху обгребли»… А Бомбовоз - это разве чернуха? Он же как олень рогами упирается, рекорды выдает. Он себя понимает, что он - вор, но ты же видишь, он лоб здоровый, а ум у него, как у дитенка. Он такой же вор, как я инженер; но они все ему темнят: «Ах, Бомбовоз, кирюха, ты ж человек - чистый цвет», а сами у него на горбу едут, как последние суки. Эксплуататоры! Начальству проценты, а им - премиальные… Конечно, этот Гога затрюханный и все его шкеты - тоже никакие не воры, они ж дрейфят перед этими суками, они по углам скулят, а на толковищах еле вякают. Зато на Бомбовоза они шипят, землить его хотят. Гога ведь нарочно с ним загребся, а на Лысого он хвост поднимать не осмелится… Трусливые, но хитрожопые, думают через Бомбовоза Лехину бражку уесть, чтоб там склока пошла… Разве ж это воровской закон? Нет, тут только и есть, что Сенька Нога и я, кто

честно закон понимает. Но сил у нас нет. Один против шоблы не пойдешь - пропадать ни за хрен… Но я так понимаю: без топоров эта свара не кончится… Если они уж закон в задницу послали, значит, будет кровь… Вот попомни, что тебе Леня Генерал сказал - это вернее, чем карты. Сука я буду, если кровь не прольется, если не начнут головы рубить.

Через день или два после этого разговора я, как обычно, вел обеденный прием, смазывал вазелином солнечные ожоги, менял повязки, совал термометры.

Внезапно снаружи раздались крики: «Убил! Убил! Держи его!»

Тарарахнула короткая автоматная очередь.

Я выскочил. Вблизи кухни у поленницы стоял Бомбовоз - полуголый, с лицом, залитым кровью; правой рукой он зажимал рану на левой и выкрикивал негромко, едва ли не веселым тоном:

- Ни хрена, я живой… ни хрена, я живой… я его сам убью, сучку…

В нескольких шагах от него дядя Вася, обхватив Гогу сзади, тащил его в сторону, а тот извивался, стараясь вырваться, и сжимал в правой руке топор. Он был бледен, таращил темные, без белков глаза, скалил мелкие черноватые зубы, пытался кусаться и брыкаться.

Часовой у грибка орал, размахивая автоматом, с откоса бежали солдаты с овчарками. Толпа зевак стояла в стороне. Только маленький повар метался с криком: «Помогите! Убили!» то к дяде Васе, то к Бомбовозу, которого пытался перевязать полотенцем. Дядя Вася кричал: «Возьмите топор у психа! Чего стоите, бляди, трусы, он же людей убивает!»

Я подскочил справа, рывком выдернул топор у Гоги, выбросил его за проволоку и побежал к Бомбовозу. Тот продолжал повторять: «Ни хрена, я живой». У него была прорублена левая щека и левое предплечье. Гога ударил его топором, когда он спал после обеда у поленницы, лежа на спине и закрыв лицо рукой. Бомбовоз проснулся и выхватил у Гоги топор, который лежал теперь у него под ногами, залитый кровью… Тогда Гога метнулся к поленнице, где был запасен второй топор, там его перехватил дядя Вася.

Я стал накладывать жгут на мощное плечо, повар дал мне свой ремень, он был солдатом и помогал толково. Миша и бухгалтер, прибежавшие из канцелярии, принесли бинты и йод. Я поднял топор, и мы повели Бомбовоза в санчасть.

Он шел, бубня свое: «Ни хрена, я живой… ни хрена, доктор дарагой, я буду живой…»

Внезапно сзади опять раздались крики. В толпе зэков у кухни

клубилось суматошное движение. Снова автоматная очередь. Часовой стрелял в воздух. Оказывается, Гога достал из заначки третий топор и еще лом, но теперь уже, чтобы обороняться от охранников, которые собирались войти в зону. Размахивая топором и ломом, он забежал в палатку и оттуда визжал: «Кто подойдет, зарублю!…»

Я перевязал Бомбовоза, бинты сразу же побагровели, я умолял его молчать:

- Инкер, джан, молчи, чтоб щека была спокойна.

У меня были металлические скобки для ран, но я ни разу их не накладывал на живое тело, а тут еще чувствовал, как дрожат руки, и поглядывал на топор. Что, если придется отражать новый наскок, ведь Гога был в двух-трех метрах от нас, отделенный только двумя слоями брезента. Дяде Васе и Мише я сказал: «Возьмите ломы и колья и станьте у входа - топором я буду отбиваться, если он брезент начнет рубить». Бомбовоз жаловался: «Плечо очень болит». Жгут резал, я наложил на руку две скобки, густо полил йодом, но едва я чуть отпустил жгут, повязка стала набрякать кровью.

Издали кричали: «Доктора на ворота, доктора на ворота!»

Я побежал к воротам. Там снаружи толпились конвоиры, изнутри зэки. Стоял дикий галдеж. Лейтенант спросил:

- Ну чего там? Он живой?

- Жив, но рана тяжелая, нужно немедленно, срочно в больницу… Нужно зашивать, а у меня ничего нет. Давайте машину - и в лагерь. Не то истечет кровью.

- Где я тебе машину возьму? Нет и до вечера не будет. А когда б и была, тут же машиной три-четыре часа ехать по такой дороге, что здоровому печенки отбивает.

- Тогда везите в гражданскую больницу, должна тут быть где-нибудь. Без помощи он за два часа умереть может.

Зэки вокруг притихли, слушая наш разговор. Лейтенант супился:

- Не помрет! Он еще нас всех переживет, здоровый, как медведь. А сперва этого убивца взять надо, а то он его добьет. Давай, доктор, вы и нарядчик, и кто сознательные, давайте его скрутите, бандита, а то он вас всех поубивает.

В толпе зэка загудели сердито.

- А ну, давай, сполняй приказание! А то могу считать злостное коллективное сопротивление и прикажу огонь по всей зоне.

Я отвечал возможно спокойнее, громко и внятно:

- Гражданин начальник, такое ваше приказание противозаконно. Мой долг здесь лечить, долг нарядчика наряжать

на работы… А крутить бандитов - это ваш долг, и никто вам не разрешал перекладывать его на зэка. Никакого коллективного сопротивления тут не оказывают. И угроза ваша противозаконная; вы сами знаете, советский закон никому нельзя нарушать безнаказанно. А я исполняю долг и поэтому повторяю: зэка Аракелян тяжело ранен, требуется срочная помощь хирурга. Иначе наступит смерть. Я сейчас же напишу рапорт и укажу точно время, когда сказал устно. И все здесь, и зека и конвой, будут свидетели. Я не хочу, чтобы человек умер из-за невнимания и халатности. И не хочу отвечать за его смерть.

В толпе зэка зашумели одобрительно:

- Правильно, доктор… Им, гадам, человек хуже пса.

Выделялся пронзительный плаксивый голос Сеньки-Ноги:

- Это что же такое… Это мы где же, на русской, советской земле или в фашистской Германии?… Один человек зазря помирает, а начальство грозит еще и других убивать… Это кто ж так может делать? Только гады, палачи проклятые… только псы кровожадные, а не советские люди…

Нога кричал все визгливее, истошнее, взахлеб:

- Я на фронте кровь проливал. Я на всю жизнь инвалид за родину, за Сталина. А теперь меня русский солдат стрелять будет?! За что?… За что? Гады!

Он рванулся, упал, забил руками и ногами.

Я заорал: «Держите голову, держите голову». Несколько человек прижимали его к земле. Никола Питерский и еще кто-то из воров кричали с нарочитым надрывом, «психуя»:

- Довели человека… Есть закон или нет закона?… Прокурору писать. Начальнику всех лагерей…

За воротами толпились охранники. Лаяли собаки. Летенант стоял красный, растерянный. Потом отрывисто приказал:

- Давай сюда раненого. Доктор с нарядчиком ведите. Но если обратно тот с топором, прикажу открыть огонь без предупреждения.

Я подозвал Лысого и Питерского:

- Бомбовоз ваш товарищ. Вы можете мне помочь, чтобы его не убили. Вы же хвастались, что у вас закон… честь… А тут вашего товарища убивают…

Леха отвечал угрюмо:

- Лады, лады, доктор. Не боись, Гога с палатки не выйдет. Это наше дело. Ты нас не учи. Ты гадам правильно сказал - и все. А теперь давай, чтоб ни ты, ни нарядчик в наши дела не путались. Лечи Бомбовоза. И не тушуйся: Гога-Шкет сам по себе. Но мы не суки и гадам не помощники.

Дядя Вася, Миша, повар и я вывели Бомбовоза к воротам.

Дядя Вася и Миша были вооружены колами, повар - все тем же кровавым топором, я нес бинты, ампулу с новокаином.

Лейтенант сказал:

- Ранетого повезем на катере в Кимры в больницу. Это скоро, с полчаса. Оттедова уже в лагерь. Надо, чтобы с ним кто поехал, вам нельзя, вы хоть и доктор, - тут он вдруг подмигнул, - такой доктор, как я генерал, а все же лекпом, значит, медик, однако у вас 58-я и за зону выпускать не положено. И нарядчику не положено, срок неподходящий. Поедет учетчик. Вы ему дайте лекарства, объясните, как, что.

Раны Бомбовоза продолжали кровить. Миша, зелено-бледный - его мутило от запаха крови и пота, - казался куда более слабым, чем его окровавленный подопечный, послушно молчавший, но громко сопевший.

Через несколько дней меня увезли со штрафного. Прибыло пополнение работяг, этап человек тридцать, и с ними новый фельдшер.

В этапе был один с ямой во лбу - старый пролом черепа; у другого - выпадение прямой кишки.

Мы с новым фельдшером признали их негодными к работе, их увезли вместе со мной. Александр Иванович, выслушав мой доклад, сказал:

- Вы формуляры видели? Видели там мою подпись? Значит, не должны были актировать. Раз я разрешил отправить их на работу, значит, я знал, что делаю. У меня стационар забит больными, которых можно лечить. Можно - значит нужно… А этого с дыркой в голове и того с выпадением я лечить не могу и держать в стационаре не хочу. Там должны были их время от времени освобождать от работы и пусть бы они лежали на траве. Их болезни всем видны, их бы не заставляли вкалывать; харчи там лучше и теснота не такая. А вы полезли со своими принципами. И только им же хуже сделали. Это значит быть очень добрым за чужой счет. Я мог бы вас наказать за самоуправство, и вас и того, кто вас сменил, но для первого раза не стану. Пусть вас наказывает ваше сознание. Здесь их на работу погонят. По инструкции с такими увечьями дают не инвалидность, а третью категорию. И тут у самоохранников они уже не посачкуют. Вот вы и поймете, как вы им помогли.

Примерно через месяц судили Гогу-Шкета. В лагерной столовой на дощатой эстраде поставили стол, накрытый кумачом, сидели судьи, заседатели и секретарь. У самой эстрады внизу - столики прокурора и защитника, у стены - скамья подсудимого. По требованию следователя дядя Вася и я еще раньше написали объяснительные записки. Миши к тому времени уже в лагере не

было. Его освободили. Мы оба написали скупо, только то, что каждый видел. Следователь нас не вызвал.

Бомбовоз на все вопросы прокурора и судьи говорил только:

- Нэ знаю… нэ видел… спал… сонны был. Прокурор нервничал:

- Послушайте, Аракелян, вот вас едва не убили, покалечили на всю жизнь. А вы покрываете кого? Именно своего убийцу! Но ведь если вчера он хотел убить вас, то завтра может захотеть убить еще другого, потом третьего. Почему же вы так упорно не хотите говорить правду, вы ведь знаете, кто вас ударил топором.

Бомбовоз отвечал, улыбаясь, как всегда бесхитростно и добродушно:

- Гражданин прокурор, пожалста, не сердись… это, понимаешь, простое дело… Он, Гога, кто? Вор… Я тоже вор… У нас один закон… А ты, гражданин прокурор, кто? Гад. И гражданка судья тоже гад…

В зале захихикали, загоготали. Прокурор насупился. Судья застучала карандашом.

- Аракелян, вы слышите, что вы говорите? Я вас накажу за ругань, за оскорбление суда.

- Пачиму ругаюсь? Я не ругаюсь, я по правде говорю, я объяснять хочу. У вора свой закон, у гада свой закон. Не может вор стучать гадам на другого вора, тогда он сука будет.

Гога крикнул с места:

- Правильно, Бомбовоз! Правильно закон держишь! В рот их долбать, всех гадов!

Судья сказала:

- Подсудимый, за хулиганство пять суток строго карцера.

Защитник говорил долго и запальчиво о тяжелом детстве подсудимого, вспомнил войну, обратил внимание на явную недоразвитость и к тому же несовершеннолетие, толковал о влиянии преступной среды, о слабости морально-политического воспитания, просил суд учесть состояние здоровья, необходимость не только карать, но и исправлять. Просил применить 17-ю статью УПК, расценить, как несовершенное намерение в состоянии чрезвычайного возбуждения.

Последнее слово Гоги было очень коротким:

- Граждане судьи… Посмотрите на мою молодую жизнь… Я же признался со всей откровенностью, ну я ударил, только я не хотел убивать. Вот чтоб мне сдохнуть на месте. Я только пугануть хотел. И сам спугался от крови и тогда психанул. Я что прошу… Я прошу посмотреть, какая моя молодая жизнь. Отец у меня погиб за родину. Мама умерла от внутренних болезней. От чужих людей видел только обиду. У меня все нервы перекрученные. Прошу

иметь сожаление.

Суд приговорил его к семи годам; ему предстояло сидеть еще шесть лет и одиннадцать месяцев.

Глава тридцать седьмая
СМЕРТНОСТЬ НОРМАЛЬНАЯ

В августе было свидание с Надей. Она осторожно рассказывала: Верховный Суд опять отменил приговор трибунала «за мягкостью». Дело направлено на новое рассмотрение. Отмечена еще и процессуальная ошибка - трехлетний срок подлежал амнистии, а приговор трибунала этого не учел.

Оставалось только надеяться, что новое судоговорение принесет мне четыре года, чтоб не применять амнистии, или пять, как требовал прокурор. Это значило бы еще два года лагеря.

Надя сказала со слов адвоката: надо быть готовым к тому, что прокуратура будет ссылаться на дело Сучкова, о нем уже говорят «шпион», «враг народа», и его письмо к Руденко обо мне упомянуто в решении Верховного Суда. На оправдание теперь уже никак нельзя рассчитывать.

Мысли обо всем этом наваливались непролазно тягучей тоской, минутами отчаяние затягивало удавкой. Но вокруг меня были больные, умирающие. Вокруг было столько бедствий, несчастий, неисцелимых страданий, что моя беда казалась несравнимо легче.

В лагере за лето набралось шесть-семь тысяч зэка. Больше двухсот больных лежало в трех юртах и бараке стационара и ежедневно больше ста приходили в амбулаторию. Всю санчасть составляли два вольных врача - начальник Александр Иванович и его помощница, крикливая, бестолково-суетливая, добрая, но вздорная, ленивая тетка, которая постоянно жаловалась на нервное истощение, нестерпимую усталость, боялась бандитов - «еще зарежут, проиграют и зарежут» - и норовила уйти пораньше.

Молоденькая и очень пригожая зубная врачиха приходила через день, две вольные медсестры обслуживали только амбулаторию и юрту самых тяжелых, примыкавшую к санчасти. Оба заключенных фельдшера жили в бараке, далеко от санчасти. Когда Александр Иванович уходил - он иногда задерживался после пяти, но тоже старался не оставаться в лагере дотемна, - я становился единственным «медиком» на весь стационар.

Александр Иванович говорил:

- У нас смертность в общем нормальная. За прошлую неделю только пятеро, это в среднем меньше единицы в сутки. А ведь положение трудное. Лагерь новый; гонят этапы из других лагерей. Оттуда кого отдают? На тебе, боже, то, что мне не гоже. Разгружаются. Шлют балласт, отрицаловку, доходяг,

неизлечимых. Наш начальник протестует, жалуется. Но там ведь знают, что обратно к ним уже не пошлют. А нам пока вообще не дают нарядов на отправку. Вот мы с вами и должны крутиться-выкручиваться. Я писал в управление и еще буду писать. Начальство тоже по своим инстанциям пишет. Не положено, чтоб в рабочем лагпункте больница-стационар на сотни коек. Нужен отдельный лагпункт, особые штаты. Но мы все же пока справляемся. Смертность, конечно, еще будет расти. Питание хреновое. Инфекции. С дизентерией управимся, собьем, но вот дистрофия, цинга, пеллагра, сердечные болезни - это потруднее. Начнутся морозы - доходяги как мухи дохнуть будут… Нужно бы добиться этапирования хроников, либо организации отдельного инвалидного больничного лагпункта. Но здесь ведь особая стройка, особого оборонного значения. Верьте, я тоже не знаю, что именно здесь строят, спецобъект высшей катергории, вот и все. Поэтому инвалиды здесь не нужны и ничего не предусмотрено. Так что радуйтесь еще, что мало умирают…

На фронте я видел много смертей; возможно, и сам убил кого-то, ведь случалось несколько раз стрелять в едва различимых или только предполагаемых вдали противников и артиллерийские команды передавал по нашей звуковке; видел несметное множество мертвых, своих и чужих. Хоронил товарищей на лесных просеках у Старой Руссы, на кладбищах у белорусских и польских деревень. Зимой 41-42-го года я видел, как солдаты отдыхали, ели и курили, сидя на едва припорошенных снегом замерзших немцах, видел уродливую аллею из их мерзлых трупов, которых кого стоймя, раскорякой,кого вверх ногами воткнули в снег какие-то обозные хулиганы. Летом 44-го года на полях и дорогах Белоруссии видел жутко разбухших на жаре мертвецов в синевато-серых мундирах; видел повешенных на придорожных столбах - в гимнастерках или в вольном рванье, босых с большими щитами на груди: «Изменник Родины», «Пособник фашизма, убийца женщин и детей», а позднее видел повешенных немецких солдат в серых кителях с оборванными орлами и погонами, на груди стандартные плакаты: «Я струсил перед врагом», «Я впустил большевиков в Германию», «Я - предатель». Видел тела изнасилованных женщин в Восточной Пруссии и обугленные трупы наших солдат в доме, разваленном фаустпатроном; видел в Унжлаге, как несли хоронить заключенного и на вахте дежурный старшина ткнул шилом в накрытый дерюгой труп, по инструкции проверяя, не притворяется ли он мертвым, чтобы выбраться за зону.

Но запомнил я резче и больнее тех, кто умирал в лагере

«Большая Волга», кому я мерил температуру, приносил лекарства, делал уколы, тщетно пытаясь отдалить смерть.

Вскоре после того как я стал лекпомом стационара, не успев еще ни с кем толком познакомиться, в юрте тяжелых умер немолодой человек, числившийся больным цингой. Умер он поздно вечером. Тело внесли в прихожую амбулатории. Я побежал в барак управления звонить начальнику санчасти, он жил в коттедже, неподалеку от лагеря. В трубке гундосил сонный или хмельной голос.

- Умер?! Ну и что? Чего вы трезвоните?… Воскрешать я не умею. Могли бы и до завтра подождать с приятным известием. Ну и пусть чепе… В больнице такие чепе не в диковину. Вы же медик, лекпом, а не барышня, которая боится покойников. Может, вы тоже боитесь? Ну так чего же вы трезвоните? Вызывать врача надо к живым, а не к мертвым. Это еще Гиппократ знал. Что с ним делать? Н-да, в коридоре больные спотыкаться будут… В амбулатории с утра прием до развода. На улицу - не положено. На вахту не примут. Н-да, это, конечно, проблема, хотя и не медицинская, не лечебная, но все-таки проблема… А вы, значит, сами решить не можете? Трезвоните начальнику?… А что если бы я в отъезде был или в гостях? Ну вот что бы вы делали, если б не дозвонились? Не знаете? А голова у вас зачем? Вы же образованный человек, вы же не просто лагерный лепила, вы кандидат наук. Почему же вы не можете ничего придумать? Какие у нас еще есть помещения? Нет, в каптерку нельзя. В баню, или, пожалуй, лучше в котельную. Но там ведь жарко, а сейчас и без того лето. Банщики еще и вас убьют, что я тогда буду делать с двумя трупами? И без лекпома? Д-да… вот что: несите его в зубоврачебный, там завтра нет приема. Носилки не станут? Так сажайте в кресло! Ни хрена, уместится. И еще вот что: надо причину смерти уточнить, надо биопсию. Вырежьте у него кусочек слизистой изо рта… Не умеете? Что значит не умеете, вы же не живого резать будете, не пожалуется. Только это надо официально, чтоб порядок. Идите сейчас в барак к Алексею, передайте, что я приказал ему вместе с вами взять для исследования ткань из ротовой полости, из нескольких точек. Он, наверно, лучше вас умеет. Давайте, действуйте, и не трезвоньте больше!

Заспанный Алексей подрагивал.

- Холодно что-то, и не люблю я мертвяков… А, может, у него еще зараза какая… Только не порезаться бы, а то трупный яд, знаешь? Сразу скрутит.

Мы с ним и с санитаром - втроем - с трудом уместили в зубоврачебном кресле тело, завернутое в две простыни. Оно еще

не совсем окоченело и было пугающе подвижным. Потом, надев резиновые перчатки, Алексей раздвигал зубоврачебными щипцами челюсти, а я вырезал скальпелем клочки человеческой плоти изнутри щек и клал их пинцетом в баночку.

Ночь была прохладная, дождливая, но мы с Алексеем вспотели, как кочегары.

В середине юрты тяжелых стоял деревянный топчан с очень высоким изголовьем. На нем лежал, вернее сидел, откинувшись, лезгин Муса. Взяли его в стационар с диагнозом плеврит.

Он тяжело дышал. Мы пристроили ему высокое изголовье, сколоченное из обрезков досок. Он поглядел долгим, удивленным, добрым взглядом:

- Пасиба, доктор, ба-алшой пасиба.

Он был тихий и никогда не участвовал в перебранках, то и дело возникавших в юрте; санитар принес остывшую баланду; у малярика, метавшегося в жару, кто-то украл пайку; один закурил, а его соседи стали задыхаться от дыма…

У Мусы начала увеличиваться правая сторона груди. Она вздувалась с каждым днем; ему все труднее было дышать. Александр Иванович сделал пункцию. Толстая игла с трудом проходила между ребрами. Муса в испарине тихо постанывал. Александр Иванович супился.

- Терпи, кацо, терпи дорогой!… Спайки! Тащите новокаин, давайте шприц…

Вытекло почти полведра серой жидкости. Муса дышал осторожно, старался улыбнуться.

- Луччи… теперь луччи дыхать. Пасиба доктор. Ба-алшой пасиба.

Еще несколько раз из его груди отсасывали жидкость. С каждым разом все меньше. Спайки становились прочней. А грудь увеличивалась…

Александр Иванович сказал:

- Проживет еще несколько дней. Надо будет вскрыть, посмотреть. Такого рака я еще не видел. И нам повезло - вчера с этапом пригнали опытного прозектора. Я уже сказал начальнику. У нас ведь по штату не полагается; его назначат банщиком, будет совместительствовать.

Я слушал молча, но, видимо, глядел необычно и рот передернуло судорогой. Он ухмыльнулся невесело:

- Да… Погано, конечно; он еще дышит, а мы вроде уже похоронили… Вот что, вы ему три раза в день пантопон колите или морфий.

Он достал горсть ампул из особого железного ящика под замком, в котором хранились наркотики и наиболее ценные

лекарства.

- Нате, вот новое сердечное - кордиамин, колите вместе с кофеином. Но только не очень нажимайте на количество… нужно будет еще и другим, не безнадежным. Нам нельзя быть чересчур добренькими, чересчур жалостливыми. Одного пожалеешь и оставишь без помощи двоих, троих, а то и больше… Понятно?

Муса задыхался. После укола наступало недолгое облегчение, он тихо благодарил, засыпал. В последние два вечера оживился, стал говорить:

- Доктур, я умирать буду… Пошли письмо в мой дом… там отец, мама, жена… Адрес тут есть. Писать русски надо. Наш язык начальник не понимает…

- Да что ты, дорогой, не говори так. Зачем умирать, ты жить будешь, долго жить будешь… Срок тебе сократят, сактируют по тяжелой болезни. Сам домой поедешь.

Он был осужден на десять лет за бандитизм. Из косноязычных рассказов я понял, что он был шофером грузовика, ездил в Махачкалу и Орджоникидзе, там был некий инспектор милиции, «очин пылахой чиловек… на все шоферы придирался, а если наш человек, если нацмен - очин-очин придирался». И Муса ударил этого инспектора. «Очин придрался… на мать ругал… наш чилавек-лезгин не может слушать, когда на мать ругают… убить может, кто на мать ругал…»

Он очень удивился, узнав, что я никогда не был на Кавказе.

- Надо Кавказ ехать, доктур… приедишь мой аул - очин хороший место… Ба-алыпой гора… Не одни гора, мыного очин мыного бааль-шой гора… Высоко-высоко снег лежит… Воздух очин хароший, на гора лес есть… поле есть на гора… очин-очин ха-ароший ба-алшой воздух. Барашки много. Очин хорошо кушать можно.

Он закрывал глаза и тихо улыбался; должно быть, видел свои горы, лес и поля, и дом, где хорошо едят.

Разговаривая с ним, я невольно впадал в лад его речи:

- Ты спи, Муса, поспишь - и здоровье скорее придет. Поедешь домой… Увидишь горы… Наверху снег белый-белый, а еще выше небо синее-синее.

- Правильно, ба-алшой неба.

- Спи, дорогой, спи… Когда я кончу срок, обязательно приеду к тебе в гости. Будем ходить в горы, будем шашлык есть, вино пить, песни петь…

В юрте лежало больше двух десятков больных. Некоторые с высокой температурой, вовсе без сознания или в полузабытьи. Но были и оживленно-деятельные, разговорчивые или нагло-самоуверенные. Среди них законные воры: весь

растатуированный рыжий малярик Акула. В приступах бреда он то жалобно звал маму, то неистово, многоэтажно матерился. Были тихие, запуганные бытовики, развязные барыги, угрюмо недоверчивые работяги из глубинки…

Но никто не жаловался, не злился на то, что о Мусе заботились явно больше, чем о других, и доктор, и я, и санитары.

Санитар Сева, лениво-небрежный красавец, матово-бледное юношеское лицо, но маленькие усталые глаза, был осужден за хулиганство. Он заболел ангиной, потом воспалением легких, а когда выздоровел, его оставили санитаром из-за сердечной слабости и потому что он был опрятен, грамотен, добросовестно выполнял просьбы больных и мои поручения, хотя двигался медленно и словно бы сонно - руки в карманах, кепочка с крохотным козырьком косо сдвинута на ухо.

Сева приходил за мной и по ночам: я жил в кабине - маленьком секторе второй юрты, стоявшей напротив санчасти и юрты тяжелых.

- Давай, скорее, кацо опять еле дышит, глаза закатывает.

В палате всю ночь горела тусклая лампочка. На некоторых койках просыпались:

- Чего там? Чего? Да не галди… твою мать, это ж обратно кацо колють… Тише, падлы, спать не даете… Ни хрена, тебе завтра на развод не выходить; днем припухать будешь, поспишь…

Только один раз помню, как скуластый, плечистый дядька, которого называли Хрипуном, огрызнулся:

- Колють, колють… а что его колоть, добро переводить… все равно копыта откинет.

Лежавший рядом с ним Акула, еще слабый после приступа, только повернул голову и шепотом:

- Заткни хахальник, сука позорная, а то не доживешь до света. Удавлю, падло…

В последний час Мусы я сидел у его койки. Два-три укола подряд уже не действовали. Он дышал все труднее, со свистом, с водянистым бульканием. Глаза стали более выпуклыми, тоненькие веки с густыми ресницами не закрывали их до конца, оставались белые полоски… Взгляд смерти. Но веки изредка подрагивали, открывая темные, страдальческие зрачки.

- Гавари, доктур, пожалста, гавари. Скоро умирать?

- Не будешь умирать. Потерпи еще немного… Ну еще денек-два, потом будет легче-Потом еще легче. Потом здоров будешь… Поедешь домой в горы. Там воздух, лес, поле. Там совсем окрепнешь…

- Гавари, доктур, гавари…

Руки тонкие-тонкие. Под редкими черными волосами

просвечивали все неровности лучевой кости, все суставы кисти и длинных пальцев.

Снова и снова я колол под сухую, бумажно прозрачную кожу у плеча. Ладони были влажные, липко влажные и пульс едва-едва ощутим.

- Пасиба… гавари… домой… горы…

И я говорил и не заметил, как он умер, как в последний раз шевельнулись пальцы. Глаза оставались открытыми. Сева тронул меня за плечи и кивнул, ничего не сказав.

Мы закрыли голову простыней и потащили топчан из юрты. Встали трое больных помочь.Тощие, ссутуленные, в грязно-сером белье, они, тяжело дыша, волокли тяжелый топчан. Кто-то ругнулся: «Носилок нет что ли?»

На него цыкнули. Проснулись еще несколько, перешептывались, переругивались. Стариковский голос бормотал:

- Господи помилуй… Господи помилуй!…

Мертвецкой у нас еще не было, топчан оставили в коридоре между юртами. Мусу перенесли в кабинет начальника в амбулаторию.

Там уже на следующий вечер его вскрывали. Опытный пожилой прозектор работал азартно, старался показать, что он все умеет, все знает. В мясницком клеенчатом фартуке, в прозрачных окровавленных перчатках, он ловко, едва ли не с улыбкой вспарывал бледное костлявое тело.

- Открываем грудную полость… подставляйте ведро, тут юшки на бочку…

Александр Иванович сперва только командовал, а затем и сам стал орудовать скальпелем, объясняя нам, трем фельдшерам и двум санитарам, что такое рак легких:

- Правого легкого вовсе нет, одна черная сукровица, от левого тряпочка осталась… Как он мог жить - не понимаю. Да, такое надо бы ученым исследовать, как он жил с этим ошметком легких. И за сколько времени они превратились в такое. Зато сердце, вот, великолепное, глядите…

Он увлеченно говорил, показывая, кромсая сердце Мусы:

- Вот аорта, предсердье…

Я старался внимательно слушать, видеть, боясь тошноты, дымил махоркой, смотрел на лицо Мусы. Оно было спокойным, усталым и словно бы даже менее худым, менее изможденным, чем накануне живое.

Когда я сказал Александру Ивановичу, что хочу написать родным Мусы и показал адрес, он рассердился:

- Вы что, не в своем уме?… У вас 58-я за агитацию, а вы собираетесь вести переписку с семьей умершего зэка и к тому же

отсюда, со спецобъекта… Это вам верный новый срок, да и мне достанется. Понятно? Им сообщат как положено. А ваши письма им нужны, как рыбке зонтик.

В истории болезни Хрипуна значилось: стрептококковая ангина и нарывы в горле. У него росли опухоли под челюстями, выпирая двойным, потом тройным подбородком. Александр Иванович решил взрезать. Санитары держали Хрипуна, прижимая к стулу, я поливал опухоли из пульверизатора замораживающей жидкостью; из широких разрезов туго выползал густой, зеленоватый гной. Хрипун сучил ногами и сипло матерился:

- Живорезы… вам что живого резать, что мертвого.

Операция не помогла. Через несколько дней мы узнали, что у Хрипуна рак горла. Александр Иванович сказал, что ничего уже нельзя сделать, если бы обнаружили раньше, может быть, удалось бы, вырезав гортань, замедлить, отсрочить. Но теперь уже опухли все лимфатические узлы. Диагноз опоздал всего на несколько месяцев, но раннюю стадию такого рака вообще нелегко диагностировать, а этого привезли из какого-то захудалого лагеря, там врачи в простейших болезнях едва разбираются…

Через неделю Хрипун уже не мог есть ни хлеба, ни картошки, с трудом глотал жидкие каши, чай, говорил свистящим шепотом. Но еще злее ссорился с санитарами, требуя свои харчи:

- Ты все давай, что положено… я сдохну, а свое возьму.

Хлеб, сосиски, селедку он менял на табак или продавал за наличные. Пайка в 400 граммов стоила три рубля, потом стала дешеветь. Он торговался, уходил из юрты в кальсонах к хлеборезке. Там в обеденный перерыв и вечером до самого отбоя «случайно» приходившие зэка меняли хлеб на табак, торговали консервами и продуктами из посылок; там можно было купить или выменять кой-какое барахло, в том числе и казенное. Крупные сделки на майдане только предварительно обсуждались, а сами товары, нередко ворованные, иногда украденные уже после сделки, передавались в укромном месте. На этот «барыжий майдан» по вечерам удирали некоторые из больных. Их ловили пастухи - самоохранники. Если у пойманного находилось чем поживиться - а пастухи из малосрочных, осужденных за хулиганство, мелкую спекуляцию или служебные грехи, были слишком сыты, чтобы соблазниться пайкой, - его штрафовали и отпускали с миром. В иных случаях пойманного волокли в стационар, вызывали меня, грозили рапортом, и я должен был принимать меры. Основной мерой была обычная оттяжка - т.е. громогласная, нарочито яростная ругань. Рецидивистов полагалось раздевать, отнимать кальсоны - с голой задницей не побежит по лагерю.

Хрипуна дважды приводили с майдана, и я велел раздеть его. Он шипел проклятья, ненавидяще поблескивали маленькие, зеленовато-серые глаза из-под выцветших, белесых, редких бровей. На майдан он ходил продавать свою хлебную пайку, сардельки, куски селедки. А через посредников вел торговлю иного рода. У себя на койке и на тумбочке он оборудовал целую мастерскую - плел из соломы корзинки, шкатулки, портсигары. Раскрашивая соломинки марганцовкой, чернилами, синькой, тушью, он сплетал из них замысловатые орнаменты, сочетания разноцветных крестов, ромбов, многоугольных звезд, зигзагов. Эти изделия он продавал богатым придуркам и вольным за зоной через бесконвойных. Поражало, какие тонкие, изящные узоры создают эти грубые, жиловатые пальцы, короткие, словно расплющенные на концах, с большими грязными ногтями. Рассматривая нарядно-пеструю шкатулку с трехтонной соломенно-фанерной крышкой (в соломенные узоры были вплетены еще разноцветные провода), я восхищался его фантазией и умением. Он ухмыльнулся:

- Хотишь такую? Ей цена двадцать пять. Но тебе сделаю за пятерку… по блату… А ты мне давай рыбьего жиру. А то одним доходягам даешь. И розовых давай побольше… А то с одного-двух хрен оздоровеешь.

Розовые шарики - витамины ПП - особенно привлекали всех наших пациентов. У того, кто проглатывал сразу несколько этих кисловато-терпких пилюль, возникало ощущение жара, горели уши и шея, пах и промежность. Значит, сильное лекарство! Мне проходилось их прятать, как яды или наркотики.

- Давать лекарства без назначения не полагается.

Он подмигнул - мол, понимаю, при людях стесняешься, но я-то соображаю - и просипел:

- На той неделе исделаю, еще лучше этой будет.

Но при очередной раздаче лекарств я не налил ему рыбьего жира и витамины он получил, как все: два шарика. Он поглядел зло:

- Не хотишь, значит?! Зажимаешь?

На рассвете во время раздачи лекарств и термометров Хрипун не проснулся на оклик, лежал ничком, уткнувшись в подушку. Его сосед Акула сплюнул:

- У, падло, опять набздел. Удавлю!… - Ткнул кулаком и сразу же порывисто сел.

- Да он подох.

Посиневший, с выпяченными глазами, закусивший подушку труп лежал в испражнениях. Унесли его на матраце. Вдогонку разноголосица:

- А живучий был… От злости крепкий… Теперь сактировался, барыга. Эй, доктор, там у него в заначке гроши; на всех дуванить надо, там большие куски… Хрена тебе дадут, начальство приберет… В фонд обороны и индустриализации… А евонная пайка сегодня полученная, Севка, не зажимай, пусть доктор поделит…

И только один старческий голос, подрагивая:

- Да тише вы, тише, ведь человек преставился… Господи, помилуй. Господи, упокой и помилуй.

Когда Хрипуна вскрывали и Александр Иванович показывал нам метастазы, я, склоняясь над распоротым, освежеванным телом, пожалел, что не дал ему ни разу ни рыбьего жира, ни «розовых». Хоть бы так скрасил последние дни; пусть бы он верил, что добился этого сделкой, подкупом.

Кабинка, в которой я жил, была выгорожена в юрте «хроников» и выздоравливающих. Старшим, дневным санитаром там работал Гоша - рабочий паренек из Тулы. Призванный в последний год войны, он служил в тыловых гарнизонах, до фронта не добрался и демобилизовали его раньше срока из-за язвы двенадцатиперстной и туберкулеза легких. Выйдя из казармы, он на радостях выпил с компанией случайных дружков, тоже демобилизованных, смутно помнил, что была драка. Проснулся в милиции. Потом оказалось, что его собутыльники отняли у кого-то деньги, часы и пропили вместе с ним. Гошу осудили на год. В больницу он попал уже в конце срока с приступом язвы. Подлечив, его оставили санитаром, и он стал моим корешем, приносил наши харчи в мою кабинку, и мы «вместе кушали». Гоша работал весело, не отшатывался брезгливо ни от гнойных ран, ни от больничных нечистот, быстро научился без излишних грубостей справляться и с трудными, склочными пациентами; ему уже можно было доверить и раздачу стандартных порций рыбьего жира, витаминов. Когда я заваливался на час-другой отдохнуть, он запирал меня в кабинке снаружи висячим замком, правдоподобно врал:

- Пошел в барак, там чего-то паникуют санитары… а потом должон в кавэче за посылкой сходить…

Нашей дружбой он гордился и по любому поводу хвастал моей ученостью.

- Наш доктор все иностранные языки знает-и немецкий, и польский, и американский, какие хотишь… У него книжки на всех языках. А читает, как орешки щелкает… От-таку-щую книгу за час-полтора рраз - и всю насквозь… а тискает не хуже артиста, какой хотишь роман.

Гоша уверял, что обязательно пойдет учиться на доктора.

- Хорошая работа, чистая, и людям польза, и тебе уважение.

Лобастый, курносый, быстроглазый говорун, он всегда приветливо улыбался. Самые мрачные события гасили его улыбку лишь ненадолго. Насупясь, он выглядел обиженным или больным мальчонкой. После освобождения он, прежде чем ехать к себе в Тулу, зашел в Москве к моим, услаждал маму, восторженно расхваливая меня; не обошел и себя, рассказывал, как помогал, выручал, защищал, спасал от всяческих лагерных бед рассеянного, доверчивого, не знающего жизни ученого.

Толстый, рыхлый старик, осужденный за растрату, был астматиком, а в истории болезни значилась еще и сердечная недостаточность. Он надеялся на актирование, очень боялся общих работ и не хотел, чтобы его выписали из больницы. Александр Иванович объяснял ему, что нужно поменьше есть жидкой пищи, лучше вовсе не пить, только полоскать рот, отказаться от соли… Но санитары и больные видели, как он густо солил и каши и баланду, хлебал чай целыми котелками. Один раз его застигли, когда он пил посоленный кипяток. Александр Иванович уговаривал:

- Поймите, вы же взрослый, образованный человек, себя убиваете… Вы и так уже еле ходите, ноги как тумбы, ваше сердце не выдержит дополнительной нагрузки.

На следующую ночь Гоша застиг старика у бачка, когда тот насыпал в кружку щепоть соли, и «легонько смазал его по дурной башке». Старик закричал:

- Хулиган! Мерзавец! Ты кого бьешь? Я тебе в деды гожусь! Я тяжелобольной, у меня сердце опасно больное… А ты - бандит! Это называется медицина: санитары избивают больных. Я пожалуюсь прокурору… В советском лагере не положено так издеваться…

Проснувшиеся больные ругали крикуна. Его называли хитрожопым водяным. Однако нашлись и защитники.

- Молодой лоб, придурок, больного старика бьет…

Гошу я отругал - не смей рукам волю давать. Но у Водяного отнял кружку и мешочек соли. Он брюзжал, ныл:

- Не имеете права… Кто вам позволил обыскивать, забирать последнюю кружку. Вы такие же заключенные… И это медицина называется. Вас тут даже доктором величают, а вы издеваетесь… Все нервы издергали. Вы же обязаны знать, начальник говорил, что у меня сердце очень больное… Порошки суете, капельки… а потом издеваетесь.

Сколько я ни доказывал, что именно мы заботимся о его больном сердце, ведь пить воду с солью для него - смертельно опасно, он только сердито сопел и возражал, подмигивая:

- Вы еще молодой человек, доктор! Вот именно, против меня вы еще очень молоды и годами, и как зэка. Вы в белом халате ходите, вся ваша работа - ящик с порошками, бутылочками потаскать, клистиры ставить, укольчики делать… А я на лесоповале здоровье надорвал, а потом меня - старика - землекопом определили. Я тачку катал, пока не свалился… Я все знаю. Вам начальство приказывает: лечить, чтобы здоровым записать, и давай, вкалывай, гони проценты… Ведь так?! Да не возражайте, все равно не поверю. Начальству нужны работяги. А вы против начальства не посмеете. Я все ваши хитрости понимаю. Поверьте, я вашу нацию уважаю и это совсем не в укор говорю… Если бы у меня был белый халатик и жилье в отдельной кабинке, я б, может, еще лучше старался поскорее вылечивать доходяг-работяг, чтоб начальник доволен был…

Некоторые больные соглашались с ним. Водяного не любили, но считали его умным, опытным, битым фреем, который ловко обводит начальство. Трижды в день я поил его дигиталисом, ландышевыми каплями, давал витамины, советовал выходить на воздух, не лежать весь день в душной юрте. Он хитро щурил заплывшие глаза, поддакивал. Его кружку санитар должен был выдавать ему только утром и вечером к чаю. Но иногда он забывал забрать, и наутро кто-нибудь говорил: «А Водяной опять полбачка выцедил».

…Вечер после очень жаркого душного дня медленно остывал. Весь день, казалось, собирается гроза, но тучи отваливали, и влажная духота только густела, застаивалась. Гоша прибежал за мной в юрту тяжелых:

- Давай скорее, Водяной помирает.

Он лежал на спине, прерывисто, хрипло дыша открытым ртом с посиневшими губами, обеими руками тискал грудь.

- Укол камфары и кофеина. Горчичники на грудь, на левый бок, на спину. Свернутый тюфяк под подушку…

Он отдышался, бледный, потный, заговорил тихо:

- Спасибо вам, миленькие… Спасибо, Гошенька, сынок, спасибо вам, дорогой… Простите глупого старика, если что обидное сказал когда. Миленькие вы мои спасители… Я уже думал, кончаюсь… Ох, и страшно было, ох, и тяжко, и страшно… Спасибо от всей души… никогда не забуду.

После отбоя я принес ему дополнительную порцию зеленинских и ландышевых капель, говорил, что жестокий приступ должен быть ему уроком; снова и снова убеждал: не доверяя врачу и нам, он попросту убивает себя… Его болезнь неизлечима, его уже никогда никто не пошлет на общие работы, начальник включил его в список на актирование; скоро будет

комиссия… У него очень больное сердце, но жить он может еще долго, если будет строго соблюдать диету, подлечит астму, избавится от отеков… А ради этого нужно пить поменьше, лучше вовсе не пить…

- Не буду, миленький, не буду. Ведь я же не враг себе. Я еще пожить хочу. У меня дети, внуки. Спасибо, миленький, что жалеете старого дурака.

На следующий день Александр Иванович, выслушав его, запретил вставать.

- Строжайший постельный режим! Санитары должны подавать ему утку и судно.

Водяной стал кроток. Ласково здоровался, благодарил за все… Но уже на второй день Гоша сказал, что старик сам поднялся, чтобы идти в уборную - метров за 50 от юрты, жалуется, что не может лежа оправляться и другие больные недовольны. Гоша провожал его. А наутро больные рассказывали, что Водяной опять полбачка выпил и опять в кружку соль сыпал: испугался, что ноги у него вроде потоньшели, комиссия не сактирует. На мои укоряющие вопросы он отвечал, хныкая и клянясь: все неправда, чистая напраслина, ведь он теперь сам осознал, сам понимает, он свято верит доктору, и мне, и Гоше, своим миленьким спасителям, ведь он же себе не враг, сам жить хочет…

Дня через три он умер. Вечером, выходя из уборной, упал и минут десять лежал, никем не замеченный. Гоша прибежал за мной в дальний барак, где только началась вечерняя раздача лекарств. Мы мчались изо всех сил. Но санитары уже взвалили его на носилки и накрыли с головой. К тому времени у нас наконец оборудовали морг и анатомичку в помещении бывшего карцера - в коротком бараке с холодным подвалом, обложенным кирпичом. А для нового карцера выстроили целый кирпичный дом со светлой «конторой», четырьмя большими камерами, которые освещались маленькими зарешеченными окошками, и двумя или тремя одиночными темными боксами - тюрьма в тюрьме.

Глава тридцать восьмая
КАКУЮ ЖИЗНЬ ОТСТАИВАТЬ?

День нашей «больнички» начинался около шести утра. Я раздавал утренние порции в своей юрте и в бараке. Температуру измеряли только тем, кому было особо назначено. К девяти утра нужно было закончить с утренними процедурами - уколы, вливания физиологического раствора, доложить Александру Ивановичу, как прошла ночь, рассказать о больных, которых ему нужно осмотреть. С полудня начинался осмотр этапов, прием новых больных и выписка выздоровевших или переводимых на амбулаторное лечение хроников. После обеда и до конца рабочего дня нужно было успеть получить очередную партию лекарств - главная аптека находилась за зоной, вольные сестры передавали туда мои заявки, составленные по назначениям Александра Ивановича, им же подписанные. Заказывали мы всегда *«с* походом». В маленьком железном шкафу ядов, наркотиков и особо дефицитных медикаментов, который находился в кабинете Александра Ивановича - узком секторе юрты амбулатории - и запирался особым замочком, и в моем деревянном белом большой шкафу были созданы некоторые запасы. Но тем не менее каждая выписка и получение лекарств оказывались очень хлопотными событиями - недоставало то одного, то другого. Бесконвойные, помогавшие сестрам нести аптечные ящики, «теряли» бутылку рыбьего жира или нечаянно «рассыпали» коробку розовых витаминов. После ухода вольных сестер, которые иногда помогали мне в расфасовке и в раздаче лекарств, начинались вечерние процедуры - банки, горчичники, уколы, клизмы… Внутривенные вливания я так и не научился делать - боялся. В Унжлаге, когда я только начал учиться на курсах больнички, я видел, как опытная медсестра латышка Эльза делала внутривенно вливание молодой горластой блатнячке. Весело скалившаяся, лихая, румяная девка внезапно откинулась, икнула и, бледная, застыла. Врачебное заключение объяснило смерть непредвиденной эмболией, тромбом аорты, вызванным основной болезнью - запущенным сифилисом. Лечивший меня и учивший нас, курсантов, добрейший доктор дядя Боря говорил:

- Такие тромбозы бывают и при сифилисе, и при других заболеваниях. Но тут скорее всего другое… Эльза отличная сестра, грубовата, конечно, уже девять лет в лагерях, но умелая, добросовестная, решительная. Так вот, решительность имеет и обратную сторону - может иметь, - если слишком, если излишняя

самоуверенность. Привыкла, что лучше всех делает любые уколы, хвасталась, что с закрытыми глазами может на ощупь найти вены… А тут если не досмотреть и в шприце крохотный пузырек воздуха, вот вам и эмболия - мгновенная смерть. Конечно, полагалось бы расследование более тщательное. Но ведь мертвую не воскресишь, а с Эльзой видите что делается, ночей не спит, за два дня постарела на пять лет; она сама себя наказывает, впредь осторожней будет. Если же ее сейчас под следствие, под суд - наши больные останутся без лучшей сестры…

Это воспоминание усиливалось другим: осенью 43-го года после контузии в полевом госпитале мне назначили внутривенные вливания никотиновой кислоты. Уколы делала сестра Таня, высокая, волоокая, грудастая дивчина из Полтавы. Она была добродушна, приветлива, но внутривенные делала плохо, робея, краснела и потела: «Боюсь впустить воздух». Но однажды от большого старания промахнулась и впустила мне толику никотиновой кислоты под кожу - боль была адская. Я корчился, едва удерживая стон. И потом еще долго на сгибе руки оставалось жгуче болезненное темное пятно…

Помня об этой боли, о страшной ошибке сестры Эльзы, я так ни разу и не решился сделать внутривенное вливание. Александр Иванович говорил:

- Это у вас обыкновенная трусость, недостаток дисциплины нервов. Впрочем, еще большей трусостью было бы, если бы вы не решились признаться в этом. Тогда могли бы со страху и угробить больного…

Тем более лихо я колол под кожу и в ягодицы, ставил банки, промывал кишки сифонными клизмами. Но и в таких нехитрых процедурах излишняя самоуверенность, да еще замотанного, ошалело усталого лепилы могла быть опасна.

Тихому доходяге, едва оправившемуся после дизентерии, я поторопился вогнать под кожу побольше физиологического раствора и впустил воздух. У него на бедре образовалась плоская воздушная опухоль, шершавая, потрескивавшая, как пергамент. Он испугался, а я и того больше, хотя старался не подавать виду: прикладывал грелку, мазал стрептоцидовой мазью, вкалывал новокаин и тем же шприцем пытался отсасывать воздух. Случилось это вечером, и до самого утра я то и дело подходил к нему, проверял, как спит.

Но Александр Иванович даже не пошел осматривать жертву моего чепэ, дал назначение заочно:

- Через несколько дней все пройдет, а вы зарубите себе на носу покрепче: спешить нужно, только когда блох ловишь, да и то с оглядкой…

В другой раз я напугался еще больше. Выздоравливавший цинготник мучился от запоров. Доктор назначил клизмы с физиологическим раствором. Неполная полулитровая бутылка с наклейкой «физраствор» стояла на аптечном шкафу. Я долил пол-литра теплой воды. Больной полежал, как полагалось, кряхтя, несколько минут, и заспешил из юрты, а я поставил еще несколько клизм - ромашковую, масляную и т д. Затем перешел к банкам, но не мог найти на обычном месте бутылки бензина. Гоша сказал, что перелил бензин из грязной бутылки в чистую из-под физраствора.

Желание убить санитара было подавлено сознанием: нельзя, чтобы пострадавший и другие больные заметили, что произошло нечто страшное. Играя строго по системе Станиславского роль уверенно-деловитого медика, я подошел как ни в чем не бывало к тому, чей кишечник так страшно заправил, и спросил, как он себя чувствует теперь, после клизмы, был ли стул, достаточно ли? Не слушая толком, что он отвечал, я этак спокойно, однако недолго поразмышляв, распорядился:

- А ну, давай ко мне в кабинку, тут, оказывается, доктор тебе еще и сифон назначил, это уж верняк будет, а потом получишь добавочно подрубать - особую спецдиету.

Пропустив через него сифоном почти ведро тепловатого слабого раствора марганцовки, я незаметно принюхивался и злополучного Гошу заставил нюхать: не пахнет ли бензином, потом мы кормили его рисовой кашей на рыбьем жиру, поили сладким чаем со сгущенным молоком и заставили проглотить лошадиную дозу салола. В ту ночь я тоже почти не спал, вскакивал на каждый шорох, на рассвете, обходя юрту, с трудом старался не слишком спешить. Пострадавший чувствовал себя неплохо, но хитрил, жаловался на слабость, на боли в ногах, спрашивая, получит ли еще спецдиету…

Александр Иванович не был потрясен моим сообщением.

- Сифонили?… Салолом кормили?… И все? Ну да, конечно, рыбий жир. Может, напишете диссертацию о бензинотерапии?… Ни хрена с ним не будет, вы спохватились вовремя. Но и без того ничего серьезного, пожалуй, не было бы, ведь большую часть бензина вымыло… Опасно было бы только светить ему в задницу спичками. Но из этого я вижу, какой порядок у вас в аптеке. Пожар в бардаке во время наводнения. Набейте санитару морду и скажите, что в другой раз, если полезет в аптеку, пойдет в карцер суток на пять, а то и больше.

Раз в неделю Александр Иванович или его заместительница инспектировали карцер. И после каждой такой инспекции в больницу доставляли оттуда истощенных доходяг. Однажды

привели мальчика на вид лет двенадцати-тринадцати, скелетик, из тонких, словно бы не человеческих, а рыбьих костей, обтянутый серовато-бледной грязной кожей; маленький узкий лоб, глаза темные, без белков, притиснутые к острому носу, большой вялый рот. Вокруг шеи нарывы, на руках и ногах и по низу живота - гнойники и расчесы, явственные приметы пеллагры: ошейник, перчатки, чулки, пояс; вместо ягодиц выемки.

Оказалось, ему шестнадцать; сельский парень из-под Ровно, осужден «за хищение колхозного имущества», несколько раз носил домой - и едва ли не с разрешения бригадира - в карманах непровеянную пшеницу и горох, а за пазухой свеклу.

- Вдома вси голодни булы, и мама, и братыки, и сестрычка, вси мали, я найстарши. Тата немае: герман убыв. Мама дуже хвори… вси голодни…

Его осудили на три года. Половину срока он уже отбыл. Но в лагере украл ботинки у другого зэка. Украл неуклюже, просто взял стоявшие у нар новые, только что полученные ботинки и понес на майдан к хлеборезке.

Когда спросили, не запирался.

- Взяв, бо йисты хочу… Голодный… хлиба хочу.

Обокраденный отлупил его, но ботинок вернуть не удалось; он не помнил, кому отдал, не мог опознать. Бригадиру пришлось писать акт. Иванка судили показательно в лагерной столовой и как рецидивиста приговорили к пяти годам. После суда полагалось отправлять в другой лагерь. Подследственные и осужденные содержались в карцере, куда сажали и обычных лагерников, «спущенных в трюм» на несколько суток (не более двадцати) за отлынивание от работы, хулиганство и т.п. Воры и там заводили свои порядки, отнимали у сокамерников хлеб - жалкие карцерные пайки в 300 гр. - и даже баланду. Иванко пробыл там почти месяц.

- А ни крыхточки хлиба… день в день… тильки той суп - баланда трохи.

Александр Иванович сказал:

- Еще неделя - и он дошел бы окончательно… Кормить его надо осторожно. Хлеб сушите и не давайте съедать сразу, делите, чтобы по нескольку раз в день… Ему нельзя переедать.

Иванко ел истово, почти исступленно; жевал, уставясь в одну точку погасшими, невидящими глазами, слизывал крошки с ладоней, кашу из миски выбирал до зернышка. Он получал двойную порцию рыбьего жира, белые сухари, сахар и конфеты из моих передач. Он не благодарил, торопливо жевал, судорожно глотал. Ни с кем в юрте он не общался, не ссорился и вообще не разговаривал. Первые дни Иванко все время лежал, укрывшись с

головой дерюжным одеялом; садился, только чтобы поесть или почуяв запах табачного дыма, тогда его тусклые глаза оживлялись:

- Дай покурыть… дуже прошу!., дай хоч раз потянуть!

За неделю он окреп; нарывы подсыхали, рассасывались, оставляя коричневые пятна. Он стал выходить с теми, кому разрешалось посидеть на солнце. Пытался даже помогать санитарам разносить баланду и кашу, но его вскоре отогнали, надавав подзатыльников: с чужих мисок сосет, шакал! Тогда он взялся собирать посуду, вылизывал пустые миски. Его прозвали «шакаленок». Однажды вечером его привели пастухи - захватили у помойных баков за кухней: он выбирал очистки, отбросы и ел. Старший самоохранник произнес в больничной юрте речь.

- Это уже самые последние шакалы - ку-сошники, кто в помойки лезут. Туда хорошая собака не полезет… А есть же такие в зоне доходяги чокнутые… Начальник приказал теперь все помойки хлоркой заливать, чтоб поносники не совались. Они, дурогребы, не верят, что там отрава от грязи. Так теперь будут знать - от хлорки все потроха горят…

Иванка я уговаривал и ласково и матерно, грозил, пугал, велел отнять кальсоны. Однако, его опять застигли у помойки в одной сорочке. На этот раз его привел надзиратель - сержант.

- Етот заключенный есть осужденный по новой, значит, должон этапироваться, как положено, в другую местность заключения. Его пожалели, как доходного и малолетку, дають возможность лечиться, припухать в больничке, а ен, сука, нарушает, бегает по зоне с голой жопой… Вот я доложу об этим начальнику режима, и, значит, его обратно в карцер до этапа…

Я упросил сержанта помилосердствовать, сунул ему пачку папирос, угостил розовыми шариками, обещал, что шакаленка разденут догола, будут привязывать к нарам. Орал я на Иванка до хрипа:

- Ты дурне теля… Ты же если от помоев, от смиття не подохнешь, так снова в кандей пойдешь… Совсем без хлеба будешь. Опять ни крыхточки не будет. Ты что, забыл?

Он смотрел вниз; шмыгал носом; тер грязными руками грязные острые колени и бормотал мальчишеским хриплым баском:

- Не буду… Йий Боже… не буду билыпе… Йисты хочу… Дуже хочу…

Санитар снял с него и рубаху и кальсоны. Отдавал только после отбоя. Днем он лежал голым под одеялом.

Ночью меня разбудил шум. Из юрты слышались то ли смех, то ли плач, ругань и возня.

- Он еще смеется, шакал!… Спать не дает, говноед, долбанный в рот… танцы строит… А ну, заткнись, падло!… раз-раз… Не дрыгай, сука!

Иванка били его соседи по нарам. А он лежал навзничь, хрипло, клохчуще смеялся и судорожно подергивал ногами и руками.

Кто-то сказал:

- Да он припадочный… Он опять на помойку бегал… Сказал санитару, что оправиться идет и смылся… а потом пришел, жует какую-то падаль вонючую…

- Когда это было? Давно?

- Да, может, полчаса или час.

Отравление хлоркой! Я пытался вспомнить, что нужно делать. В кабине на полке стоял справочник для медсестер… Промывать желудок и кишечник… поить горячим молоком… сода, марганцовка…

Я разбудил Гошу, ночной санитар метался в панике, то пытался держать дергающегося Иванка, то яростно материл его и всех проснувшихся, которые ругали и жлоба-санитара, и шакаленка, давали советы, требовали, чтобы его убрали подыхать в другое место.

Мы перетащили его на отдельный топчан, дергающиеся руки и ноги были деревянно тверды. Я сделал укол атропина, камфоры - судороги стали слабее. Гоша грел воду, готовил растворы соды и марганцовки и сифонную клизму. Иванко уже не «смеялся», а стонал и скрежетал зубами. Мы с трудом разжали челюсти, влили ему соды, потом марганцовки. Он захлебывался - я испугался: зальем в легкие. Его вырвало зловонной черной кашицей с комьями, внятно ощущался смрад хлорки… Я сифонил его теплой марганцовкой, потом содой, вымывало черные зловонные хлопья. От ватки с нашатырем, притиснутой к носу, он едва поморщился, чихнул, но не очнулся. Однако дыхание стало ровней, стоны и судороги прекратились. Пульс был слабый, но ровный. До рассвета я еще несколько раз колол его и с помощью Гоши влил чашку теплого раствора соды. К утру послал ночного санитара в барак бесконвойных с запиской фельдшеру Алексею, чтобы вышел пораньше, встретил вольную сестру и попросил ее купить молока.

Сестра Маруся, маленькая тощенькая девушка, жила недалеко от зоны. Ей было немногим больше двадцати, но в узком острос-кулом смуглом лице, в маленьких темных печальных глазах, в узелке жиденьких серовато-русых прямых волос преступали явственные черты будущей старости - такой же тихой, незлобивой, добросовестно-кропотливой. Она принесла бутылку молока, разогрела его, и мы уже втроем, разжимая

редкие темные зубы, вливали белую жарко душистую струйку в рот, пованивавший тухло, почти мертвенно. Иванко давился, его опять вырвало, но все же проглотил несколько ложек.

Александр Иванович выслушал его, ощупал, подробно опросил нас.

- Умрет, конечно. Не сегодня, так завтра. Сам себя убил, кретин. Вы действовали, в общем, правильно. Промывать и сифонить больше незачем. Видимо, прошло не меньше часа после того, что он нажрался хлорки. Судороги означают, что яд проник в кровь. Можно еще некоторое время поддерживать сердце. Но это уже никому не нужно. Оставьте его в покое.

- Меня учили: пока больной жив, надо всеми средствами бороться, отстаивать жизнь…

- Не вас одного так учили. Это само собой разумеется. Закон медицины! Врачебная этика! Но все это хорошо там… - он расслабленно махнул длинной рукой в сторону - там, в нормальном, ну относительно нормальном мире. А здесь другие законы. Совсем другие. Вам пора бы уже понять…

- Меня учили не там, а здесь. Тоже в лагере. И моими учителями были врачи-заключенные. Но они соблюдали законы врачебной этики. Хотя им это бывало труднее, чем их свободным коллегам… Решать, кого стоит лечить, а кого нет. И значит приговаривать к смерти «неполноценных»? Это ведь та самая евгеника, на которую и фашисты ссылались… Нет, этого я не понимаю, в принципе не понимаю. И никогда не пойму.

- Бывает такая принципиальность, которая становится глупостью, самоубийственно тупой глупостью… Ваше счастье, что мне вас некем сейчас заменить и что я вас все-таки жалею.

Он смотрел на меня с презрительным любопытством, косо поворачивая большую длинную голову между остро приподнятыми плечами.

- Эх, и обломают вам еще рога, хорошо, если позвонки не переломают… Ладно уж, хрен с вами. Идемте! Дам еще ампул. Ставьте эксперимент. Назовем его: воскрешение из мертвых шакала-Лазаря чудотворцем-лепилой.

Он дал мне две горсти разноцветных разнокалиберных ампул: американских, английских, трофейных немецких.

- Это вот сердечные, это антиспастические… восстанавливать дыхание. Колите каждые два часа сегодня, потом каждые три, если возобновятся судороги - чаще. Посмотрим, сколько он проживет… Может быть, этот опыт и пригодится когда-нибудь, кому-нибудь. Хотя скорее всего это бессмыслица, абсурд, искусство для искусства… Вы принципиальный псих, а ваш начальник беспринципный добряк…

Трое суток я колол Иванка днем и ночью. Он не приходил в себя. Несколько раз ему вливали молоко. Делали питательные микроклизмы. Александр Иванович сам с сестрами приготовил витаминизированный бульон. Вогнали мы в тощее мальчишечье бедро почти два литра физиологического раствора. Обкладывали его грелками. Тело стало мягче. Пульс все явственнее, полнее. Казалось, он просто спал. Гоша очень старательно помогал мне и наблюдал за нашим подшефным. Не доверяя другим санитарам - в этой роли сменялись выздоравливающие, - он по ночам сам поднимался будить меня: «Пора колоть!» Он неотступно наблюдал за ходом лечения, помогал делать уколы, ставить клизмы, добывать молоко. И он же разбудил меня в четвертую ночь, радостно ухмыляющийся:

- Ванька-шакаленок покуривает!… Один из больных, затянувшись цигаркой, услышал тихий голос: «Дай покурыть!» и растолкал Гошу.

…Иванко лежал на боку с полуоткрытыми глазами, посасывая махорочную самокрутку.

Несколько минут счастья. Настоящего счастья. Я готов был расцеловать грязную губатую мордочку. Вокруг радостные голоса:

- Здорово, шакаленок! Оживел?!

Мы дали ему рыбьего жира, подогрели остатки молока. Он пил не жадно, медленными трудными глотками. «В горли болыть…» Я сделал укол, и он сразу уснул. Утром Гоша кормил его молочной тюрей из белых сухарей, поил сладким чаем. Он ел медленно и, не дожевав, засыпал.

Александр Иванович долго выслушивал его, ощупывал, пытался расспрашивать. Но тот не помнил, что ходил к помойным бакам, не мог объяснить, что чувствует.

- Болыть… и туточки болыть… и тамочки болыть.

- Ну что ж, ваш Лазарь воистину воскрес. Хоть и воняет хуже мертвого, но жить будет. Колоть больше не нужно. Кормите осторожно. Следите. Он и раньше не был светочем разума, а теперь стал совершенным дебилом, и это уже навсегда. Можете радоваться: осчастливили человечество.

- Теперь его должны сактировать.

- Вполне вероятно. Я написал все, что нужно. Приложат к делу. Но и на воле кому он такой нужен. Ни родне, ни отечеству…

Через несколько дней Иванко садился, пытался вставать. Он был еще слаб, но есть начал с прежней жадностью. Его хлебную пайку мы сушили, делили на три-четыре порции, дополняли их белыми сухарями из передачных булок, варили ему рисовые и геркулесовые каши из передачных круп и кисели из ягодных

концентратов, давали их взамен баланды. Но он стал требовать «свое… что положено», и - чего раньше не бывало - требовал раздраженно, зло.

- Дай мий хлиб… весь хлиб дай… Дай мий обид, весь обид… дай суп!., твою мать… дай ще каши!., дай!., оддай ми-и-ий хлиб!… твою бога мать.

Гоша сердился.

- Шакал и есть шакал. Ни хрена не тямит. Только зубы скалит: вот-вот укусит…

Во время раздачи обеда он опять угрюмо заскулил:

- Оддай хлиб… дай суп.

Я пытался объяснить, что он получит весь свой хлеб, но только не сразу… вечером будет еще и получит больше пайки, больше всех, а вместо супа-баланды ему дают особую кашу… Он смотрел не мигая, маленькими тусклотемными глазами, и внезапно я заметил: смотрит ненавидяще.

- Оддай мий хлиб!… оддай весь обид!

- Тебе дают весь обед. Твой обед лучше, чем у всех, на ужин получишь еще хлеба. Ешь сухари и кашу. Довольно скулить!

Он принялся грызть сухарь; я отошел к другим нарам. Он опять заныл:

- Хлиб забралы… гады. - И вдруг нагнулся, схватил ботинок и бросил в меня. - Уу-у, жид… оддай хлиб, ж-жид, твою бога мать!…

Бросок был слабый; ботинок едва толкнул в плечо.

Вокруг стали кричать:

- На кого кидаешь, псих?! Он же тебя с могилы вытащил… Он тебе, шакалу, свои передачи отдает… Ты ж подыхал, дурак!…

Гошу я успел удержать, он хотел кулаками полечить шакала.

Шум испугал Иванка, он притих, молча поел. Гоше и соседям Иванка я объяснял, что мальчишка ненормальный, чокнутый, отравление подействовало на мозг - его жалеть надо. Потом ушел в свою кабинку. Гоша дал ему добавочно каши и произнес длинный патетический панегирик немыслимым добродетелям доктора. Ему зычно поддакивали доходяги, из тех, кто всегда норовит возможно приметней обожать любое начальство…

- Ты, шакаленок, должен прощения просить… спасибо сказать, что они тебя жалеют.

Столь же громогласно толковали они, что евреи не такая уж плохая нация, и приводили примеры, рассказывали о некоторых весьма положительных евреях.

За дощатой стенкой звучали нарочито утешительные речи и нечленораздельное бормотание Иванка, видимо, умиротворенного добавкой. Я сидел на койке, курил и пытался

читать, а в носоглотке набухало, давило горькое влажное тепло, одолевали стыд, отчаяние от бессилия, обиды, злости и мутная жалость - жалость к себе и к несчастному шакаленку.

На следующий день он опять было заныл: «Оддай хлиб», но Гоша ответил полнозвучной оттяжкой, пригрозил закатать в лоб, отнять сухари, и он притих.

К тому времени, когда вызвали на этап, он уже достаточно окреп; опять приходилось раздевать его днем и ночным санитарам провожать в уборную. Александр Иванович продиктовал мне подробную выписку из истории болезни и заключение, утверждавшее психическую неполноценность и необходимость досрочного освобождения.

Он ушел, ни с кем не простившись. Гоша дал ему в дорогу сверток - сухари, печенье, сахар, он взял, даже не кивнув, быстро сунул за пазуху.

Когда я увидел, как он ковыляет вслед за надзирателем - маленькая стриженая голова на тонкой шее торчала из грязно-серого рваного ватника (в жаркий августовский день), нетвердо ступали разбитые рыжие ботинки, - я ощутил острое до боли сострадание и облегчение: избавился, наконец…

Все же воспоминание о воскрешении Иванка оставалось добрым, светлым. Им я как бы старался уравновесить другие воспоминания - постыдные, мучительные для совести.

Власть предержащую в лагере олицетворяли прежде всего начальствующие офицеры: капитан Порхов - начальник лагеря, майор - оперуполномоченный, капитан - зам. начальника по режиму и капитан - начальник КВЧ. Появлялись время от времени какие-то лейтенанты; на вахте хозяйничали и по лагерю похаживали - гуще всего в часы поверок - мордатые старшины и сержанты, ефрейторы и рядовые вертухи в синих погонах. Однако на стройплощадках в рабочих зонах распоряжались прорабы, бригадиры, десятники в большинстве заключенные. Были среди них и осужденные по 58-й: лучшей бригадой плотников уверенно, спокойно, по-офицерски верховодил бывший саперный майор, получивший по ОСО пять лет «за восхваление вражеской техники» - объяснял кому-то, что немецкие паровозы и немецкие автомобили пока еще лучше наших. Одну из ведущих инженерных должностей исполнял Василий С, коренастый, быстроглазый москвич. Он попал в плен с ополченцами в октябре 41-го, стал адъютантом Гиля Родионова, командира первой конной бригады по борьбе против большевизма, которая сразу же после формирования превратилась в Первую конную антифашистскую бригаду (весна 1942), громила немецкие тылы в Белоруссии, вызывая панический страх и ярость оккупационных

властей, против нее бросили едва ли не армию. За год бригаду размозжили и окончательно добивали летом 43-го в болотах. Немецкое командование сообщало особой листовкой: за живого или за мертвого Гиля награда 50 000 марок. Весной 43-го года он был награжден орденом Красной Звезды. Указ об этом тогда бросился в глаза и запомнился как необычный: даже самые высокие награждения в ту пору оглашались в длинных списках, а тут особый, с подписью Калинина указ на одну скромную «Звездочку». Тяжело раненного Гиля доставили самолетом в Москву. Летом 46-го его видели в Бутырках в больничной камере. Что с ним стало потом, неизвестно. Видимо, умер; но где и как?

Василия немцы захватили в плен тяжелобольным еще до разгрома бригады и отправили в Майданек; освобожденный в 44-м году, он подлечился, подкормился в воинских госпиталях, получил погоны старшего техника-лейтенанта, участвовал в боях за Берлин, получил медали, но вскоре после победы был арестован и осужден ОСО на 10 лет.

Внутри лагеря - в бараках, юртах, в столовой, в бане, на лагерных улицах - повседневным бытом зэка управляли непосредственно самоохранники из заключенных - малосрочники, осужденные за хулиганство, за прогулы, за служебные грехи, в том числе и бывшие милиционеры, за мелкие кражи. Начальником самоохранников был Семен Зубатый: его толстогубый рот, по-обезьяньи вспученный на серо-бледном и всегда уныло-раздраженном лице, распирали большие, как клавиши, зубы, и стальные коронки торчали, как машинные резцы. Он не носил арестантской робы, расхаживал в кепке, в вольном пиджаке, синих бриджах и добротных яловых сапогах. Бывший милицейский оперативник из Ровно был осужден за незаконное хранение оружия.

Семен приходил ко мне редко; расспрашивал с недоверчивым, настороженным любопытством, заглядывал в книги, журналы, иногда, словно невзначай, заводил разговор о международном положении, об атомной бомбе. Видимо, выполнял поручение «кума». Чаще бывал у меня его заместитель Саша Капитан. Москвич, техник-строитель, осужденный на год за хулиганство, за пьяную драку в ресторане, он собирался после освобождения работать на этом же строительстве.

- Зарплата подходящая, от дома недалеко, дисциплинка правильная - баловаться больше не буду…

Арестантскую гимнастерку он носил с щегольским подворотничком и перехватывал матросским ремнем. Отсюда и прозвище, хотя на флоте он служил матросом.

- За старшинскими лычками не гонялся, сачковал, домой

хотелось. Трудная береговая служба в мирных камчатских базах опостылела, даже в Корею попасть не пофартило, а кой-кто из наших там правильно прибарахлился и японочек греб, и кореек, у них там бабы - высший класс. А меня все только солило и морозило. Тело, может, и закалилось, но характер испортился.

Саша иногда заходил ко мне выпить рыбьего жиру, получить порцию витаминов. Когда он пришел в первый раз и показал назначение Александра Ивановича, то, видимо, заметил в моем взгляде недоверие. Он молча сел, стянул наваксенный яловый сапог, задрал штанину. На белой с синеватыми жилками мускулистой икре - темно-коричневые пятна.

- Ясно?

- Цинга! Лук, чеснок у тебя есть? Хвою пьешь?

Во всех бараках были установлены бачки с хвойным настоем - главное противоцинготное средство тех лет.

- Лук, чеснок бывают; хвою пью кружками, пока блевать не потянет. Но от камчатской цинги рыбий жир лучше помогает. Не возражаешь?

Мы посмеялись, и с этой встречи установились у нас приятельские, свойские отношения. Он заходил иногда и после отбоя, просто в гости, рассказывал о лагерных событиях.

…Вернувшись после вечернего обхода в кабинку, я обнаружил, что исчезли мой вольный костюм, висевший на гвозде в глубине - из окошка не достать, кое-что из белья и харчей. Кабинка была заперта, замок цел; Гоша уверял, что не отлучался из юрты, никому не передавал ключ. Небольшое квадратное окошко казалось нетронутым, занавеска цела. На дощатом столике, по-вагонному приколоченном под самым окном, лежали книги, тетради, папки с моей «канцелярией» - и на них не было заметно никаких следов. Гоша был растерян и рассержен. Он требовал свидетельств от больных, орал на всю юрту, что ничего не пожалеет, все отдаст тому, кто поможет найти шкодника. Так называли тех, кто воровал в лагере, к ним не полагалось применять почетное звание вора. Потом он побежал за самоохранниками. Пришел Саша Капитан с двумя пастухами. Он повел следствие, как заправский детектив: с Гошей разговаривал особенно строго, хотя я сразу же сказал, что не допускаю мысли о какой-либо причастности моего кореша. Ведь помимо всего иного он же не дурак, ему через неделю на волю идти, а в этой краже должны заподозрить прежде всего именно его - у него ключ от кабины.

Саша, закончив расспросы, уверенно сказал:

- Крали опытные шкодники, но из малолеток, только пацан мог пролезть в окошко и только опытный ворюга сработать так,

чтоб и занавеска цела, и на столике все аккуратно. У тебя есть знакомые воры - поговори с ними по-хорошему, пусть пощупают малолеток. Если схотят - сразу найдут. А ты, - он строго уставился на Гошу, - давай, пошуруй вокруг майдана, на случай, если уже толкнули. Кто мог вольную лепеху покупать? Придурок, который побогаче, или бесконвойный барыга, чтоб за зону пульнуть. Давай, не тяни резину, если уйдет из лагеря, хрен догоним…

Уже на следующий день соединенными усилиями Гоши и моих блатных приятелей было установлено: какие-то малолетки продавали вольные вантажи поварам. Вечером в час ужина Саша с двумя подручными, Гоша и я пришли в барак придурков - просторный, без вагонок. Железные койки аккуратно застелены, на каждой по две-три подушки, большие тумбочки с висячими замками. Дневальный и несколько жильцов, лежавших на койках, не выразили удивления при виде длинных пастушьих палок и моего белого халата. Саша сразу же пошел к койкам поваров; поднял матрац на одной, на другой - в досках лежали мой пиджак и брюки, тщательно распластанные и прикрытые моим же полотенцем. Он подозвал дневального:

- Чья койка?

- Семена - повара…

- Это видишь?

- Ну вижу, только я ни хрена не знаю, я к ним без касательства…

- Ладно, ладно, только ты теперь видел, что это не мы положили?

- Ну видел.

- Никому с барака не выходить, пока Семен не придет.

Один из Сашиных спутников остался у койки, второй стал у дверей; мы вышли наружу.

- Знаю я этого Семена. Сытый лоб. Бога с себя строит. Доходяг только так мордует. Если кто лишнюю миску баланды закосит - полжизни отнимает. Ну, теперь мы его сделаем.

Гоше и мне передавался его охотничий азарт. Ждать пришлось недолго. Повар - плечистый круглоголовый румяный парень лет тридцати - поздоровался с Сашей покровительственным баском.

- Приветик, пастуший капитан. Ты что, теперь уже и докторов пасешь?

Саша отвечал в том же тоне; спросил, как прошел ужин и еще что-то о кухонных делах. Тот отвечал уверенно, спокойно.

- Ну, бывай, пойду спать. Мне в ночь вставать на закладку…

- Приятных снов… Да, минуточку, хочу еще тебя спросить,

вот у лекпома в стационаре позавчера пиджак украли и брюки. Говорят, кто-то из вашего барака покупал или сменял похожие вантажи… Ты не слыхал?

- Нет, мне это без интересу…

- Да ты постой, постой. Может, все-таки припомнишь, а? Может, подскажешь, где спросить?

- А чего я тебе буду подсказывать, если ни хрена не знаю.

В голосе к басовитой уверенности подмешивалось раздражение.

- А если мы найдем краденое в вашем бараке? Что тогда скажешь?

- Ни хрена не скажу. Я вкалываю, бля, по восемнадцать часов у плиты. У меня нет времени, бля, слушать, кто что купил, махнул, толкнул…

- Ну что ж, пошли, пошмонаем вместе. Пиджак мы все признаем, я сам его у доктора видел, интересная лепеха, заграничная. Такой один в зоне.

- А кто нам, бля, шмонать позволит? Ты кто? Опер? Или ордер имеешь? Я, бля, таких правов не имею.

Он пытался говорить уверенно, однако раздражение сменялось растерянностью, звучавшей и в том, как он зачастил блатной приговорочкой «бля». Мы вошли в барак. Увидев обоих охранников, повар заметно сник. Саша сказал жестко:

- В последний раз вот при людях спрашиваю: ты знаешь, кто здесь покупал краденые вещи? Не знаешь, значит будем шмонать! Это чья койка?

- Это не положено. Это, бля, против закона! Без начальства, без надзора шмонать не положено… Не буду.

- Не будешь?! Лады, мы сами управимся. Только стой, куда срываешься? Ты же спать хотел.

Повар двинулся было к двери, но самоохранники и Гоша, едва не дрожавший от яростного нетерпения, обступили его.

- Чего хватаешься? Какие у тебя права, бля? Вы кто, охрана, бля, или кто?

- Твоя койка?

- Ну моя…

- Тут все вещи твои?

- Мои.

- А это что? Тоже твое?

- Этта что?… Не знаю! Тут мой костюм лежал… А теперь, бля, чужие тряпки положили. Узнаю, кто, шкодник, кто, сука, мое взял, а чужое, бля, сунул, удавлю гада!… Так это может ваше (ко мне)?

- Да, украдено позавчера из мой кабины.

- Ну так ты, капитан, теперь у них пошмонай, может, там мой костюмчик, бля, подложенный. Мне чужого не надо, а мое, бля, отдай. Мой костюмчик новенький, получше этой лепехи и шкарят, бля, заношенных. На хрена мне такие вшивые шмотки, я б их и даром, бля, не взял.

Он старался восстановить самоуверенность, нагличал, даже ухмылялся. И я не удержался и ткнул кулаком в его ухмылочку… Он едва шатнулся, но потом картинно упал на разворошенную койку и надрывно взвыл.

- За что бьешь?… За что-оо?

Саша кивнул. Оба пастуха подхватили его с койки.

- Заткнись. Пошли, погуляем.

Они привели его ко мне в кабинку и там начали допрашивать. Саша бил кулаком в живот, в бока, ребром ладони по затылку, его подручные колотили палками по икрам, по заду. Спрашивали, у кого купил.

Сперва он сказал, что какой-то доходяга принес на кухню и он взял не глядя, дал хлеба, каши, махорки… Сразу не говорил правды, потому что испугался, никогда в такие дела раньше не путался…

Саша бил его, брезгливо кривя красивые губы.

- Не стони, падло! Не кричи, сука. За один крик два лишних раза дам. Говори, кто продал, точно говори, бля, не придуривайся!…

Он бил короткими ударами. Закурил и опять бил, не выпуская изо рта папиросы. Гоша тоже норовил ударить. Его оттерли.

- По морде не надо, следов чтоб не было… Повар падал. Его поднимали. Ставили к стенке или сажали на койку. Он закрывал глаза, будто терял сознание, сипло, тяжело дышал… Я сунул ему под нос флакончик нашатыря. Прочихавшись, он поглядел на меня.

- А ты еще доктор называешься… Собаки, за что убиваете?…

Саша ткнул его под ложечку. Он захлебнулся, посинел. Но я не возражал против избиения. Не помешал, хотя били в моей кабинке, у моей койки. Я не призывал к жалости, к человечности и не испытывал жалости. Было мерзостно до тошноты, как при вскрытии грязного трупа, и вместе с тем чудовищно любопытно: «Так вот как это бывает! Вот он, допрос третьей степени».

Наглый придурок, ежедневно колотивший и кухонную прислугу, и беззащитных доходяг, был отвратителен. Однако с каждым ударом нарастало и недоброе чувство к Саше, к его нарочито бесстрастному, почти веселому палачеству. Он и его помощники били расчетливо, хладнокровно и только напускали

на себя злость, чтоб распалиться. И они, и мой добряк Гоша, суетливо ликовавший от удачи сыска, искренне возненавидевший повара, вызывали во мне страх и неприязнь. Неприязнь была тем более острой, что я сам себе становился мерзок - участвую в пытке и не могу и, пожалуй, не хочу мешать. Все же я несколько раз остановил Сашу:

- Дай-ка я спрошу, объясню сукиному сыну…

И я пугал избитого, сулил ему страшные муки, угрожал такими уколами, после которых он сам будет смерти просить. А Саша подсказывал ему, называл имена и клички малолеток-воров:

- Может, Седой? Фиксатый?… Или Блокада?… Шип?… Казак?… Рыжий?…

Он мотал головой.

- Не знаю… не вспомню… убивайте, не знаю.

Сашин кулак и палочные удары подействовали сильнее моих красноречивых угроз. Утирая слезы и пот, он наконец признался, что купил все у вора-малолетки по кличке Шип и заплатил триста рублей наличными.

Побои прекратились. Он сидел на полу, прислонясь к стене. Тяжело дышал, как бегун на финише. Гоша протянул ему воды.

- Дай каких порошков или капель от боли… Все потроха, бля, отбили. Здоровые лбы.

Две таблетки пирамидона я дал ему запить рюмкой брома.

- Лечишь, бля?… Убиваешь, калечишь, а потом лечишь?

- Заткнись, Каин-сука… Тебе сразу за все дела досталось. И за шкодничество, и за доходяг мордованых.

Самоохранники приволокли мальчишку - тоненького, верткого, прыщавого. Он скулил бесслезно, пронзительно, на одной ноте.

- Не брал я… не брал… век свободы не видать, ни хрена не брал! Чтоб я сдох в тюрьме! О-ой-ой, не бейте, я ж не брал и не знаю… Я весь больной.

Увидев повара, он заорал в голос:

- Не бе-э-э-эйти!!!

Саша ткнул его коротко под ребра, он зашелся икотой и заплакал совсем по-детски.

Мальчишку мы с Гошей узнали. Еще и двух недель не прошло, как его выписали из больницы, вылечив от цинги и поноса, лежал он в нашей юрте. Гоша кричал торжествующе:

- Ты шкодник, паразит, падло бессовестное… Он же тебя вылечил. А ты красть, долбанный в рот, говноед, вша, глиста, сука гумозная… Убить мало.

- Я не крал! Чтоб мне сгнить…

- Не крал? Ну, значит, партнер крал, а ты толкал. Вот… И три

куска взял. Кто партнер? Кто сюда лез? Скажи, а то кровью срать будешь, живым не уйдешь…

- Не знаю, гад буду, не знаю! Ничего не толкал. Врет он, свистит придурок, сука позорная… Думает на малолетку можно… Я людям пожалюсь, его, суку, придавят.

Повар вскочил и стал бить мальчишку кулаками по голове, по груди. Он таращился исступленно.

- Пожалишься?! Паскуда, шкодник! Ты ж божился, в рот тебя долбать, что вантажи с воли заигранные (т.е. выигранные в карты). Отдавай гроши, падло! Три сотни давай, гадюка, через тебя человека убивают.

Повара оттащили и велели убираться вон. Он требовал свои деньги. Шип кричал:

- Свистит, сука: он только два куска чистых дал!

Но повар не отставал. За несколько минут он уже словно бы оправился, только изредка постанывал, хватаясь то за плечо, то за бок. Он хотел теперь одного: получить обратно деньги. Его выталкивали, а он упирался, ругаясь.

- Еще увидим, кто крепче бьет… С ворьем снюхались, гады. И вантажи отмели, и гроши зажимаете. Одна шобла - жулье приблатненное и пастухи, и доктора долбаные…

Саша лихо, по-футболистски ударил его ногой в зад и вышиб за дверь.

- Вот гад, за копейку и пацана убьет, и себя не пожалеет.

Мальчишку били меньше. Тут уже и я не мог смотреть, оттягивал Гошу, который совсем разъярился.

- Из-за такой погани меня за шкодника могли посчитать.

Удерживал я и самоохранников, которые лупили пацана, хотя и не так жестоко, как повара, спрашивая:

- Кто партнер?… Кто лез в окошко?… Кто стоял на зексе?

Он выл истошно. Из юрты уже раздавались сердитые голоса:

- За что пацана мордуют?… Пастухи, долбанные в рот! Гошка-сука, ты еще не на воле, а уже в мусорах?! Доктор, ты чего там смотришь, здесь больничка или кандей?

Гоша выскочил и навел порядок.

- Учат шкодника, скоро кончат. Зареванный Шип назвал наконец партнера, которого, однако, нельзя было доставить, так как его накануне отправили в карцер на десять суток. Шип даже показал, как влезал в окошко, пока партнер стоял на зексе, как потом аккуратно поправил все на столе. Он клялся, что деньги повара уже проиграл взрослякам, что он еще раньше «полетел на большие куски» - т.е. проиграл в долг несколько сот рублей - и шкодничать стал только из-за карт.

- Ведь человеку полетел (т.е. задолжал вору), нельзя не

отдать… я ж малолетка, только на ноги становлюсь, а меня уже землить хотели. (Карточные долги у воров, как некогда в светском обществе, считались делом чести, необходимо было отдавать любой ценой, в противном случае полагалась «земля», т.е. лишение звания вора.)

Из дальнейшего, уже мирного разговора стало ясно, почему так упирался повар, у кого купил краденое. Он был некогда вором, но ссучился, а Шип числился при «законных родичах». Сделка с ним казалась не только непосредственно выгодной, но сулила еще и возможности деловых отношений с бывшими коллегами, надежду, что они признают повара обычным придурком из фраеров и не будут считать ренегатом. Побои, несомненная осведомленность Саши, страх перед враждою пастухов и обидное сознание, что впустую потратился, заставили его признаться. Хлипкий Шип оказался упрямей и хитрей. Он не назвал никого, кроме недоступного расправе пацана, который, возможно, и вовсе не был причастен.

Саша решил на этом закончить дело. Повар жаловаться не станет.

- Ему ж никакой выгоды не получится, а только еще хуже будет, если заведут следствие… А те родичи, которые дали нам «наколку», не станут мстить за то, что Шипа «отметелили» - это дело обычное. Шкет сам шел на риск, действуя, как шкодник; законный вор в лагере не крадет, а курочит фраеров, отнимает все, что хочет и может, ему так положено. Но если бы вмешалось начальство, следователи, то возникла бы опасность новых лагерных дел, кое-кто из малолеток мог бы и расколоться в карцере; потянули бы и взрослякoв - ведь без них не обошлось… Мы, конечно, хотим, чтоб полный порядок был в лагере. Значит, нужно давить ворье. И будем давить беспощадно. Однако у них пока есть сила; всю шоблу сразу не ухватишь. Значит, надо иметь хитрость и себя поберечь.

В этот вечер наши приятельские отношения с Сашей Капитаном достигли наивысшей и вместе с тем переломной точки. Он оказался неприятен и даже страшен. В красивом, свойском парне обнаружилась бездушно-жестокая сила. Такой мог быть и хорошим воякой, и надежным артельным товарищем; словно бы и вовсе беспечно-разудалый, смышленый добряк, с первого взгляда возбуждал приязнь и парней и уж, конечно, девушек, вызывая восхищенную, почтительную зависть друзей и собутыльников, благосклонность начальства… Зато если ему понадобится, он, спокойно рассудив, предаст, ограбит, убьет, станет палачом, не утруждая себя ни нравственными догмами, ни предрассудками благодарности, семейного или дружеского

долга…

Он был умен и почувствовал, что я стал отстраняться, но все же не настолько умен и сведущ, чтобы понять причины, несколько раз пытался выяснять отношения.

- Давай поговорим по душам… ты чего-то вроде как меня опасаешься?… А ведь я к тебе как друг, насамделе… Мне это по-хрен, что ты пятьдесят восьмая; я людей понимаю лучше всякого опера и тебе верю. Ты вот веришь кому попало, например, ворью… Я знаю, ты с них калыма не имеешь, ты на лапу не берешь, как твой начальник… Да ты не махай на меня. Ты ни хрена не видишь, потому что глаза на книжках испортил. У вас в той юрте, где с понтом самые тяжелые больные, уже трое главных родичей паханов припухают: Акула и Кремль давно, а вчера Леху Лысого положили. А санитарами там кто? Бомбовоз и Севка, полуцвет приблатненный. Ну, скажи по совести: они и вправду очень тяжелобольные? Уже доходят, фитили?

- Акула тяжелый малярик. Его через два дня на третий в такой жар бросает, что он полдня без сознания, бредит. Его уже акрихин не берет. Сегодня начали новое средство применять, он весь синий стал, как покрашенный, идем, покажу… У Кремля язва желудка, кровью ходит и цинга началась. Это любому, кто цингу видел, заметно. И Лысый тяжелый цинготник, я с ним еще на штрафном, на карьере возился.

Все это было правдой, и возражал я Саше уверенно, безоговорочно. Однако я знал, что многих язвенников и цинготников, не менее тяжелых, чем эти знатные воры, у нас лечили амбулаторно или в моей «легкой» юрте. Об этом заговаривал со мной уже и Гоша, удивляясь и укоряя.

- Ты вот свое даешь доходягам, а они тебе не всегда простое спасибо скажут, думают, так и надо. А начальник умеет жить. Ему блатные такой заигранный костюмчик пульнули, на воле хрен достанешь, трофейный…

Гошу я пытался воспитывать. Вразумлял его и прагматически - мол, не слушай трепни и не повторяй, пользы не будет, а врагов наживешь, но для себя знай, что жульничество, блат лишь на первый взгляд выгодны, а на поверку вредны, гибельны: рано или поздно ведут в тюрьму, да и самому с нечистой совестью жить погано. Старался я объяснить ему, что такое настоящая коммунистическая нравственность, которая вырастает из лучших свойств христианства и старинных добрых народных обычаев, рассказывал о докторе Гаазе и Короленко, напоминал о песне бродяги: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой».

Но Капитану я мог противопоставить только деловитые

медицинские справки. Он смотрел насмешливо пристальным следовательским взглядом.

- Темнишь, керя… Ох, темнишь! А ведь я с тобой от чистой души. Я тебя не раскалывать хочу. На хрена мне это. Я не стукач-наседка. У меня с кумом дела открытые. Мое начальство другое - режим, лагнадзор. А по правде, так я сам себе начальник. У меня свои стукачи есть. Везде есть - можешь поверить. И про тебя знаю такое, чего ты и сам, может, не знаешь. И на твоего начальника я зла не имею. Он умный мужик, доктор что надо - его весь начсостав уважает. Но он свой интерес понимает, знает, как жить, не такой олень, как некоторые сильно грамотные… Но только и он прогадать может. Он блатных в больничку пристраивает, а ворье у нас теперь прижимать будут. В новых этапах все больше суки едут. Они с законными уже резаться начинают, головы рубать… Объясни начальнику. Блатным скоро хана. Понимайте! Когда двое дерутся, третий не мешайся. А если никак не можешь или не хотишь в сторонке, так уж держись того, кто сильней.

Эту «ноту» я пересказал Александру Ивановичу, несколько смягчив прямые намеки на предполагаемые материальные причины его благосклонности к ворам. Он сердито хмурился.

- Херня все это. У нас лежат больные без чернухи… Но вы будьте осторожней. Ворью, разумеется, доверять нельзя. Даже самый простодушный с виду, как этот наш Бомбовоз, способен на все, если прикажет его бражка. У них ведь ни у кого нет совести. Просто нет, ну вот как у людей не бывает музыкального слуха. Но и другим доверять нельзя. Суки - это те же воры, только еще хуже. И красавчику Капитану верить не вздумайте, он сучьей породы. Впрочем, и мне можете не доверять - не обижусь. А я вообще не должен вам доверять, обязан быть бдительным, учитывая статью… Но в общем и целом все это - херня. Показывайте больных!…

Глава тридцать девятая
МЕЖДУ ФРОНТАМИ

Новые этапы прибывали почти ежедневно из других лагерей, из московских тюрем, по 20-30 человек, иногда и больше. В санчасти ежедневные приемы становились все более многолюдными. Кроме амбулаторных больных необходимо было обследовать всех новоприбывающих поголовно. И после каждого осмотра нескольких отправляли в стационар - в «больничку». Поэтому Александр Иванович то и дело вызывал меня, требовал, чтобы я присутствовал, когда он осматривал новые этапы, и тут же записывал его назначения. Я уставал все больше, становился все тупее; постоянно болела голова, приходилось по нескольку раз в день глотать анальгин, пирамидон, кофеин. Иногда наплывало, наваливалось унылое равнодушие - равнодушие отчаяния, бессилия: ведь что ни делай, все напрасно, ничего не изменить, не исправить, не улучшить по-настоящему… Сегодня поможешь несчастному доходяге, он подлечится, а завтра его погонят на работу, и через день-другой он опять свалится…

В лагере все явственнее сгущалась тревожная напряженность. После нескольких побегов поверки стали продолжительней, суетливей. Надзиратели и пастухи злились, опаздывающих на поверку подгоняли пинками и палками. Не прошло и недели, как новый побег. Да еще из карцера. Малолетка, сидевший в одиночке, ночью разобрал дощатый пол, спустился в пустой подпол, там в кирпичной стене были отдушины. Он выковырял неведомо как добытым куском железа еще несколько кирпичей, незаметно пролез под проволочной оградой карцера и полез под основную лагерную ограду у самой вышки.

В ту ночь я задержался в юрте тяжелых и выбежал, услышав автоматные очереди и крики… С вышки прерывистое татаканье, чиркали красные, оранжевые полоски трассирующих косо вверх в темную синеву, в густые белые россыпи звезд.

Визгливый бабий голос надрывался:

- Бегит… вот-вот ен бегит!… На Волгу побег!., (в наружной охране служили и женщины-стрелки).

Метались бледно-лиловые лучи прожекторов, и выла сирена. Трещали автоматы на других вышках. Снаружи вдоль проволоки бежали, топоча, солдаты, лаяли собаки…

Зычный начальнический баритон материл дуру-бабу:

- Куда пуляешь в небо?! Огонь без предупреждений… Хоть в упор стреляй гада, раз он полез, раз бегит… мать его…

С вышек из-за проволоки орали:

- Всем зайтить в бараки… Все расходись!… Несколько разбуженных выстрелами зэка вышли поглазеть на происходящее.

- Заходи, стрелять будем… Эй, ты, в белом халате, иди в юрту… твой рот долбать!… Стреляю без предупреждения!…

Бежавшего не поймали. На утренней поверке объявили, что его подстрелили в реке и он, должно быть, утонул. Начальнику карцера был вынесен выговор, самоохраннику-дневальному, дежурившему по карцеру, досталось десять суток «без вывода на работу» - это значило голод. Через неделю один из наших больных - молодой вор - получил открытку с штемпелем Орла, писал убежавший: «…Еду отдыхать, хотя здоровье хорошее, привет друзьям. Скажи дяде Пете, что никогда не забуду его внимания и ласки…» Цензура, видимо, не обратила внимания на короткую открытку. Адресат не числился в списках тех, чью почту подлежало просматривать особенно тщательно. Дядя Петя - начальник карцера - был тоже заключенным, но привилегированным. Раньше он служил в милиции, осужденный за какие-то служебные грехи; он стал настолько бесконвойным, что так же, как прорабы, жил за зоной. Серолицый, тихий, - такого десять раз встретишь, а на одиннадцатый не узнаешь, - он соблюдал в карцере «порядочек и аккуратность». За малейшие проступки и нарушения он беспощадно наказывал своих квартирантов: «лишал довольствием», т.е. отнимал и тот жалкий корм, который им полагался, бил собственноручно куском резиновой трубки, завернутым в мокрую тряпку, чтоб «чисто и без вреда для здоровья, чтоб воспитывать, а не калечить», бил бесстрастно, метко и неумолимо; удары были очень болезненны, однако не оставляли видимых следов, а наиболее серьезных грешников «завязывал в смирилку». Смирительная рубашка - кусок брезента с клапанами и запистоненными дырками для шнура. Наказываемого клали на брезент животом, руки и ноги загибали назад, привязывали кисти к ступням и при этом накрепко увязывали в брезентовую «рубашечку». Высшая мера - четыре часа «на брюхе», низшая - час «на боку».

Дядя Петя наводил порядок хитро, никогда не наказывал слишком сурово тех, о ком знал, что имеют влиятельных или мстительных друзей, не трогал серьезных воров - «взрослякoв», зато отводил душу на одиночках, «полуцветных», малолетках. Поэтому он считался строгим, но справедливым, и от законных воров получал мзду за то, что не мешал карцерным надзирателям и дневальным из заключенных передавать им харчи и курево.

Еще в начале лета один из наказанных смирилкой умер. После этого начальник лагеря восстановил некую давнюю

забытую инструкцию: назначая смирительную рубашку, составлять особый акт в присутствии врача, который должен, предварительно осмотрев наказуемого, подписать акт. Александр Иванович и его помощница несколько раз участвовали в таких экспертизах. Она один раз позволила «на два часа на животе»…

- Такой здоровенный бандит, убийца, насильник… И в карцер его за избиение посадили, а он и там бил кого-то, хлеб отнимал. Но все-таки это ужасно, когда человека так увязывают, знаете, как узел вещей… Он сразу весь покраснел, вспотел, пульс резко участился, дыхание прерывистое…

После этого случая она стала уменьшать сроки, назначенные дядей Петей, разрешала «только на боку… И не так туго».

- И все равно, знаете ли, это ужасно… Один даже непроизвольно испражнялся…

Потом она и вовсе отказывалась идти в карцер «актировать смирилку».

- Не могу, я нездорова. У меня, знаете ли, нервы не выдерживают.

Александр Иванович раза два отменил наказание. О тех случаях, когда разрешал, он не рассказывал.

Однажды вечером меня вызвали в карцер составлять акт. Я отказался: пусть ждут до следующего дня, когда будут врачи, мне не положено, я только фельдшер и сам заключенный. Час спустя пришел надзиратель - начальник лагеря приказал, это он лично велел наказать шкодника, тот психанул, когда начальник осматривал карцер…

В конторе дяди Пети на столе уже лежал заполненный акт: «Грубейшее нарушение режима… насильственное физическое сопротивление лагнадзору… игнорировал, нецензурно выражаясь». Дядя Петя был мастак по части протокольной стилистики. На скамье у стены сидел бледный пацан, стриженая угловатая голова в больших лишайных плешинах, бегающие диковатые глаза. Перед ним на полу брезент с мутными коричневатыми буро-желтыми пятнами - следы «непроизвольных испражнений». Я оглядел пацана угрюмо-палачески - сунул ему под каждую руку по термометру, оттянул одно веко, потом другое.

- Открой рот, высунь язык. - Прикасался я к нему грубо и брезгливо, командовал так же. Осматривая, хмурился все угрюмее. Когда вынул оба термометра, дядя Петя спросил:

- Ну чего там рассматривать? Жара нет, это ж и так видно.

Я поглядел снисходительно, строго.

- Температура ниже нормы!

Потом я внимательно выслушивал, выстукивал грудь, спину,

бока, щупал живот. Истощенное мальчишеское тело, грязная, дряблая кожа густо разрисована синими наколками. На ногах надпись «Хрен догонишь!», на груди могила с крестом и девиз «не забуду мать родную». На спине, плечах, бедрах синяки, кровоподтеки, ссадины. Он кряхтел, бормотал: «…Убивайте… мучайте… суки позорные… кровососы!… Давите молодую жизню, гады…». Я вертел его все более грубо и раздраженно - мол, возись тут с дрянью, но старался не спешить, пусть не думают, что вывод заранее решен.

Дядя Петя ерзал у стола:

- Ну чего там резину тянешь?! Здесь не больничка.

Закончив осмотр, я подошел к столу и, пристукнув стетоскопом по акту, сказал:

- Подписывать не буду. Полное истощение. Доходной! И еще похоже, что печень и почки больные, возможно, отбитые… За такое падло получать второй срок я не согласен.

Сзади усиленно засопел и хлипнул пацан. Дядя Петя лукаво прищурился.

- Опасаетесь, значит. Или, может, жалеете паразита? Или дрейфишь, что его корешки мстить будут? Или совсем наоборот - надеетесь, что хорошее спасибо скажут?… Значит, несогласные?… Ну твое счастье, выблядок. На сегодня повезло.

Когда на следующий день я рассказывал об этом Александру Ивановичу, он недовольно морщился.

- Знаю, знаю… Это Плешивый, зловредная тварь. Симулирует психоз… Начальника лагеря материл вроде в припадке. Начальник мне уже выдал за вас, он убежден, что вы темнили, выручали. Я заступался - не поверил. Теперь ходите с оглядкой.

Вскоре после этого произошел побег из карцера. Бежавший был из корешей Плешивого. И уже на следующий день за мной пришел начальник самоохраны Семен.

Он выглядел еще более кисло-раздраженным, чем обычно.

- Вот что. Приказ начальника лагеря: вам десять суток карцера. За нарушение режима и помехи надзору… Ты там в карцере склоку завел. Блатного бандита жалеть стал. Так вот теперь, между прочим, сам попробуешь, как с ними жить.

Я сказал, что должен сначала сдать дела. Кому-то нужно будет вместо меня раздавать лекарства, делать уколы, выполнять процедуры.

- Пойдем доложим моему начальнику Александру Ивановичу.

Тот рассердился:

- Приказ о карцере должен быть согласован со мной. Сейчас мне его некем заменить. Подождите!

Он пошел к начальнику лагеря. Вернулся злой.

- Выторговал вам пять суток и чтоб с выводом на работу. Допрыгались! Вы хоть там не заводитесь с этим, как его, дядей Петей - он хитрая, мстительная сволочь. Дайте ему на лапу чего-нибудь: папирос, конфет, рыбьего жиру, денег рублей десять… Не скупитесь на мерзавца.

Вечером за мной пришел сам дядя Петя с одним самоохранником, который ожидал за дверьми юрты.

- Ну что ж, собирайся, доктор, на новое местожительство. Отель кандей для веселых людей. Одеялку возьми с собой, а вещички надевай похуже: публика у нас там разная - не отдашь сам, так по злобе на тебе порвут и тебя еще попортят. Питания брать с собой не положено. На курево обратно же полный запрет. Одно слово: тюрьма в тюрьме; кто не был - побудет, кто был - ни в жисть не забудет.

Две пачки «Беломора» и пачку бычков в томате он принял без околичностей, рассовал по карманам и подмигнул:

- Выпьем рыбьего жирку на дорогу.

Я вызвал санитаров - Гошу и новенького ночного, недавно подлеченного Вахтанга - и стал им подробно объяснять, кому из больных что давать на ночь и в случае обострения. А если тот или тот начнут помирать, чтоб бежали на вахту, звонили Александру Ивановичу.

Дядя Петя слушал внимательно, смотрел, как я расставлял в переносных дощато-фанерных аптечных лотках пузырьки и коробочки, писал записки… Гоша играл бестолкового увальня, снова и снова переспрашивал, путался. А Вахтанг выразительно приговаривал-причитал:

- Ой, Гоша, пропадешь, кацо! Зачем берешь на себя такое дело? Тебе завтра-послезавтра на волю идти, генацвали, а ты такое берешь. Напутаешь порошки-пилюли, дашь кому не тому, умрет доходяга. Кто отвечать будет, кацо? Начальник-доктор далеко за зоной, наш доктор в трюме… Тебя, генацвали, судить будут. Не бери, Гоша, не бери, кацо, я даже смотреть не хочу, я ничего не знаю, не понимаю… Пусть отвечает, кто приказ давал, чтоб больных без помощи оставлять на всю ночь, кто нашего доктора в кандей волокет…

Дядя Петя улыбался все шире и щурился так, что глаза в ниточку.

- Ох и хитрый кацо. Ох и хитрые у тебя корешки… Жалеют своего доктора. Не боись, кацо, не боись, парень: никто не помрет, никто отвечать не будет. И звонить в телефон ни к чему. Начальство отдыхает: и ему польза, и людям спокой. А ты курносый - главный помощник старшего подручного - дурочку с себя не строй, дядя Петя с такого театра только смеется. А если

зашиваться будешь, давай на полусогнутых, аллюр три креста, прямо в кандей… До отбоя я сам буду, а на потом дежурному скажу. Объяснишь чин-чинарем: требуется лекпом срочно, ввиду чепэ, откачивать, колоть, спасать доходную жизню… Дядя Петя ведь не зверь какой - мы тоже медицину уважаем - понимаем, кто чем дышит, какой ноздрей сопит. Давай, пошли… А что это за бобочка такая интересная? Трофейная? Не мала тебе? Может, толкнешь или махнемся?

Он охотно принял предложение примерить рубашку, висевшую после стирки над моей койкой, - пришлась впору.

- Ладно, заплатишь потом, цены не знаю, не торгую вантажами. Сам спроси у понимающих. Можешь не спешить: ведь мы свои люди.

В карцере он поместил меня по высшему классу - в узенькую одиночку с дощатыми нарами.

- Запирать не буду. Парашу выставили на улицу. Захочешь на двор, дежурняк пустит.

Вскоре после полуночи прибежал запыхавшийся Гоша.

- Где тут лекпом? Где наш доктор? Там двое больных помирают, а он кантуется. Начальник велел уколы делать. Срочно!

В карцере я провел за три ночи не больше двенадцати часов. Потом дядя Петя «забыл», не пришел и не прислал за мной. Но в течение пяти суток Гоша получал на меня, как положено, карцерную пайку - 300 грамм хлеба и через день полпорции баланды. Вахтанг многословно сетовал, потешая больных.

- Вай, мужики, дойдет наш доктор с голоду. Смотри, Гоша, генацвали, он уже шатается - совсем тонкий, звонкий и прозрачный.

Вахтанга положили в мою юрту с тяжелой цингой: одна нога была судорожно-деревянно полусогнута, другая, уже тоже покрытая темными пятнами, болела и подергивалась судорогами; десны кровоточили… Рыжеватый и голубоглазый - по облику совсем не похожий на кавказца, - он еще меньше походил на законного вора. В открытом веселом взгляде - ни тени той пристальной настороженности, которую я привык наблюдать в глазах даже самых нахально-развязных или доверительно-благодушествующих блатных. Но принесли его в юрту Никола Питерский с дружками, знакомыми мне по штрафному карьеру.

- Слышь, доктор, это наш кореш Вася Грузин - чистый цвет. Его все люди уважают. Он и на фронте был - герой без понта… Так ты лечи его, как друга.

В первый же день, когда я стал массировать ему больную ногу, он покряхтывал, скрипел зубами, но старался улыбаться,

потом, отдышавшись, заговорил:

- Доктор, генацвали, я вас еще раньше где-то видел… Нет, нет, не в лагере… вот чтоб мне сгнить от этой цинги, кацо, но я вас видел где-то на воле.

Обычный нехитрый прием, чтоб «обнюхаться», как принято у незнакомых между собой воров.

- Ладно, ладно, может, во сне видел или в кино. Только это, наверное, был не я.

- Да нет, доктор, не думай, дорогой, что я темню. Ты же не дамочка, кацо, и обратно, я не жопошник, чтоб тебя фаловать, генацвали… Где ты на воле жил? Где воевал?

Через несколько минут выяснилось, что мы действительно встречались на фронте. Вахтанг был шофером командира 37-й гвардейской дивизии генерала Рахимова, видел меня в Грауденце несколько раз, вспомнил, как я привез немецкого генерала, как Рахимов хвалил нашу группу перед строем штаба…

Лагерь, душная больничная юрта. Скоро мне опять в тюрьму, опять в трибунал. И вдруг нежданно-негаданно - солдат из Грауденца, живой привет из тех самых последних и самых радостных дней безвозвратно утраченного, словно бы недавнего, ведь всего два года с небольшим, а такого бесконечно далекого, потустороннего прошлого…

Вахтанг не был профессиональным вором. Его осудили в начале войны за хулиганство и отправили в штрафбат. Там он подружился с несколькими «законными». Потом после ранения стал водителем генеральского «виллиса», был ранен тем же снарядом, который убил Рахимова, в госпитале встретил штрафбатовских дружков. Они уговорили его помочь «работнуть» трофейные склады. Он угнал «студебеккер», его нагрузили всяческим барахлом, продуктами, ящиками водки; больше двух месяцев лихая шайка колесила по всей Польше - пили, гуляли, грабили.

- Но мокрых дел не было, чтоб я дома родного не увидел, генацвали, чтоб я ослеп, чтоб всю жизнь скрюченный ползал, ни одной капли крови не пролили. У нас там все настоящие люди были, кацо, честные воры. Я тогда их уважать начал. Закон держат, генацвали, дружбу понимают, как надо. Нет, это не бандиты, они вещи берут, деньги берут, жизни не отнимают. А вещи и деньги не зажимают, и не так чтоб только себе, а чтоб всем весело жить, всем друзьям, генацвали. Если кто понравится, никому ничего не жалко. Что у меня, что у тебя - все наше. Фраер сто лет живет; вчера, сегодня, завтра все одно и то же, как свинья, живет, как ишак - его в рот долбают, он спасибо говорит и еще жопу подставляет. Он за свою зарплату и жену продаст, и сына, и

друга… А человек один день живет, как князь, другой день в тюрьме доходит, третий день, может быть, совсем помер, кацо, в могилу несут, или, может, опять лучше генерала живет, с друзьями кутит, красивых девочек любит… Нет, доктор, генацвали, шеничериме, лучше я один день как человек буду жить, чем сто лет, как фрей рогатый…

На второй день он приковылял ко мне в кабину и заговорил серьезно:

- Скажи, генацвали, у тебя мама есть? И папа есть? И жена, дети есть? Хорошо! Ну так я прошу тебя, очень прошу, дорогой, шениче-риме, как солдат солдата прошу, кацо: забожись! Забожись, чтоб мама-папа были живы и здоровы, чтоб жена-дети были живы и здоровы, генацвали, что скажешь мне правду и только правду, шеничериме. Забожись!… А теперь скажи: можно меня вылечить?… И здесь в этой больничке можно?… Верно говоришь? Точно? Ну тогда спасибо.

Позднее, когда он уже подлечился, окреп и мы были корешами - после отъезда Гоши он стал моим главным помощником, - я спросил его, почему он тогда так добивался от меня клятвенного ответа. Он приподнял рубаху и достал из-за самодельного кушака под кальсонами тонкий нож-стилет с рукояткой, обмотанной проволокой и изоляционный лентой в матерчато-фанерных ножнах.

- Вот, кацо, видишь - хороший кинжал, как бритва острый, я сам им броюсь. А когда заболел, сказал себе: ты, Вахтанг, можешь жить, если будешь настоящий мужчина, кацо, будешь иметь красивая жена, хорошие дети. А если ты будешь калека - ноги кривые, спина кривая, зубов нет, - тогда ты, кацо, жить не можешь. Вешаться-душиться - поганая смерть. Порошки глотать - это женское дело, и еще надо знать, какие порошки, как их достать - образование нужно… А хороший кинжал сюда (он показал себе на шею слева) рраз - и умирай, как мужчина, как солдат.

Его появление в больнице оказалось полезным для всех тяжелых цинготников. Александр Иванович, осмотрев его, говорил сердито:

- Тут хвоей уже не поможешь. И таблеток недостаточно. Чеснок, лук хороши, но тоже мало. Его несколько недель откармливать витаминами придется, и все же в запущенных случаях гарантии нет. Вот если бы десятипроцентный раствор аскорбиновой кислоты… По десять кубиков в ягодицу два раза в день… За неделю подняли бы на ноги. Потом еще недели две уменьшенный курс плюс витамины и рыбий жир - и мог бы полностью выздороветь. Но ведь сколько я ни добиваюсь

аскорбинки, не могу получить. Ее всю в дальние лагеря отправляют: все по плановым разнарядкам на север, на Дальний Восток. У нас тут, видите ли, цинга не запланирована… А подыхать будут без плана, с меня первого спросят.

И тогда меня осенило. Ведь моя жена Надя работала на витаминном заводе, они там производили синтезированную аскорбиновую кислоту.

Александр Иванович оживился.

- Вот это дело! Какой номер телефона? Я сам ей позвоню. Сегодня же. Если привезет хоть двести грамм аскорбинки, предоставим вам двухсуточное свидание.

В ближайшую субботу Надя привезла банку белого кислого порошка. Нам позволили два вечера и две ночи провести вместе в особой кабинке для «суточных свиданок». В бараке вахты было четыре такие кабинки, запиравшиеся изнутри на крючок, в каждой окно с занавеской, широкие нары, стол и табурет. Заключенный, удостоенный суточного свидания, приносил матрац, подушку и одеяло, провожаемый завистливыми похабными подначками.

Александр Иванович сам приготовил раствор, дистиллировал воду, отвешивал на аптекарских весах порошок, прокипятил бутылки. В тот же день мы начали колоть, и начали с Вахтанга. Не прошло и недели, как все тяжелые цинготники - не меньше десяти человек, скрюченных, обезноженных, плюющих кровью - уже похаживали прямоногие, взбодренные. Число уколов сократили. Надя еще раз привозила пополнение. Потом Александр Иванович получил по наряду малую толику. С тяжелой, явственной цингой управились. И однажды во время утреннего приема я увидел, как Александр Иванович - красноглазый, похмельный - развел в стакане воды щепотку аскорбиновой, добавил пол-ложечки соды - шипенье, парок - и стал пить, причмокивая. Он заметил, как я смотрю на него… Усмехнулся криво:

- Шипучка!… Приятно и полезно. Попробуйте.

- Не буду… У меня цинги нет.

- Возможно… А от глупости это не помогает. Какого хрена у вас аскорбиновая кислота в открытом шкафу стоит. И хранить надо в банке с притертой крышкой. Рассуждать о принципах умеете, а в аптечном хозяйстве - бардак. Ладно, нечего на меня таращиться, пошли к больным.

Вахтанга я подкармливал из передач, добывал ему через вольных сестер лук и чеснок. Гоша тоже подружился с ним. Однажды у бесконвойных приятелей он приобрел свежей рыбы и сам же взялся пожарить. Но забыл выпотрошить - мы втроем ели

жареную рыбу с отвратительным горьким, желчным привкусом. Гоша был в отчаянии и наказывая себя, обреченно съедал все отбрасываемые нами самые горькие куски. А Вахтанг спрашивал, зачем он столько сахару в рыбу насыпал, и просил добыть горчицы…

Прошло недели две. Вечером после обхода Вахтанг пришел в кабину, когда мы с Гошей уже поужинали. Он тащил мешок и, улыбаясь еще шире, чем обычно, вывернул прямо на койку благоуханную гору яблок, мандаринов, сухого компота, чурчхелы.

- Посылка от мамы. Это все тебе и Гоше; там соседям я уже дал. Не возьмете, лучше мне кинжал в грудь, генацвали, шеничериме.

Вахтанг стал ночным санитаром в нашей юрте. В этой должности он остался и после отъезда Гоши; днем работать он не хотел и вообще поставил мне решительное условие: не называть его санитаром.

- Понимаешь, генацвали, я ведь считаюсь в законе, а санитар - это все-таки, не обижайся, шеничериме, немножко сучья должность. Правда, у нас тут больничка особенная… Начальник Александр Иванович справедливый доктор. Ты мне как брат родной, генацвали. Люди вас уважают. Вот Бомбовоз - честный босяк, а санитарит, и ему никто с людей ничего не говорит. Пускай все так, все хорошо, кацо, но я очень прошу: буду делать, что скажешь, генацвали, что нужно. Но чтобы все знали: я просто больной, стал немного здоровей, тебе помогаю, как друг - мы ж с одного фронта, ты меня лечил, кормил, генацвали, мы вместе кушаем… И чтоб никакого бюрократизма…

На том и порешили. Дневными санитарами и в моей юрте стали женщины.

В августе привезли несколько больных женщин, им отвели кабину в длинном переходе между юртой амбулатории и юртой тяжелых. Широкобедрая, веснушатая, грудастая Аня оказалась медсестрой; она быстро оправилась от приступа малярии, стала моей помощницей по стационару и любовницей завхоза-морячка. Еще некоторые согласились быть санитарками.

Лупоглазая Зина, тихая, застенчивая, доверчиво-приветливая - ее привезли с ангиной, - в первый же день стала убирать юрты, мыть пол. Но Александр Иванович после осмотра сказала мне:

- Отделить ее от всех. Люэс. Вторая стадия. Это вам не тот «марганцовый» сифилитик, а настоящая зараза. Ее надо будет поскорее отправить.

Тихая Зина была профессиональной проституткой - хипесницей. Ей отвели отдельную койку, остальные спали на нарах или на «вагонках».

Маленькая толстушка, курносая, очень синеглазая Аня Калининская, так ее называли в отличие от Ани Московской, рассказывала:

- У меня гонорея… Муж заразил - такой паразит. Ну, он агент по снабжению, все время по командировкам эва-эвона, туды-сюды, набрался тех гонококков и, сволочь такая, затаил. Приехал пьяный и лезет: «Давай, жена, что положено». Ну я уже потом, через сколько дней поняла, что больная, доктор мне все объяснили. Так муж, паразит, еще стал эвона права качать: «Это ты сама нагуляла!», ну и матом при детях… Ни стыда ни совести… И в тюрьму я через него попала. Их там эва-эвона была целая шайка-лейка: агенты, проводники поездные, шоферня - такие же паразиты колотырные. Ну, чего-то там покупали, продавали эва-эвона, с Москвы, и с Ленинграда, и с Кавказа возили. А я в буфете работала при ресторане. Ну, когда-никогда, случалось, доставала продукты дефицитные без карточек. Вперед, конечно, для детей, а потом эва-эвона и для мужа, и для его дружков. Ну, когда знакомый там придет в буфет, тоже ведь нельзя не поднести, эвона там чего-ничего выпить и закусить. А они, паразиты, как сами погорели, так и на меня понесли - эва-эвона - и чего было, и чего не было. Им всем дали указ седьмого августа, и моему благоверному, заразе такой, тоже; всем по десятке отвесили. Ну а меня суд как-никак пожалел, двое детей, ведь и мамаша у меня старенькие; эвона и посчитали как простую спекуляцию, дали пять лет… Теперь бы мне эту гонорею вылечить, я бы вскорости сактировалась… Ну как актируются?! Я ведь еще женщина эвона не старая, а по моей статье беременных на шестом-седьмом месяце актируют… Если бы мне сейчас только здоровье, я бы гулять не стала, я не такая-какая, я самостоятельная женщина, я бы нашла себе мужчину, чтоб эва-эвона тоже самостоятельный и, конечно, здоровый, чистый. Ну вот с тобой, например, можно. И тебе удовольствие - верь, не пожалился бы, я ласковая девочка - а мне - актировка, на волю, эва-эвона домой, а что третье дите, так ведь где двое ртов, эва и на третий найдется… Ну и мужчина, если хороший и с малым сроком и с чувствами, может, когда-никогда эва-эвона подкинет своему ребенку… Но только вперед я вылечиться должна. А то если он от меня триппер заимеет, так он же эвона и побить и убить вполне может, а тогда уже не пожалишься и до шести месяцев, до актировки, не доживешь…

Аню Калининскую вскоре Александр Иванович разрешил взять санитаркой в палату дизентерийных. Узкая дощатая пристройка к юрте тяжелых вмещала десяток коек, столик и стеллаж для мисок. Дизентерийным полагалась диета, которую

мы с Александром Ивановичем и Аней Московской сочиняли из очень скудных припасов, - главное были жидко разваренные каши, переваренные из обычных, чай и сухари. Лечили их огромными дозами бактериофага, уколами, витаминами и слаборазведенной марганцовкой. Наиболее истощенным вгоняли под кожу бедра до литра физиологического раствора, медленно сочившегося из особого аппарата.

Но хлеборезка и кухня доставляли все, что полагалось по числу обитателей юрты. Санитары из выздоравливающих приносили завтрак - сахар, чай, каша; обед - баланда, каша с селедкой, с камсой или с сардельком; ужин - каша, чай. Некую часть от хлебных паек, баланды и положенных всем селедок или сарделек они, разумеется, «отслаивали» себе, но все же оставалось еще достаточно такого, чего истощенные дезинтерики не могли и не должны были есть. Все это принимали Аня и ее сменщица, тощая, сварливая старуха с грыжей.

Но их обильный корм никто не назвал бы легким. В дизентерийном отсеке кислое зловоние смешивалось с пронзительным запахом хлорки. Входя туда, я предварительно свертывал козью ножку покруче, из самой забористой махорки или самосада. И все же каждый раз мутило до тошноты.

На первых койках, ближе к дверям лежали выздоравливающие или «легкие», такие, кто сами ходили в особую парашу, густо обмазанную хлоркой. У них были матрасы с простынями. Дальше располагались тяжелые - скелеты, обтянутые дряблой кожей; они лежали на клеенчатых подстилках, едва прикрытые грязными рваными простынями. Они ходили под себя.

Аня убирала за ними, выносила жестяные шайки, служившие суднами, обмывала их, бегала за мной, когда кому-нибудь становилось совсем худо, чтобы я сделал укол. Страшно было делать внутримышечные уколы, когда вместо мышц - узловатые кости, и под бледной грязно-пористой кожей - только жидкий слой плоти, уже едва живой.

За неделю-другую Аня, и раньше выглядевшая вполне упитанной, растолстела, щеки налились клюквеннным румянцем, глаза словно бы уменьшились, потускнела синева зрачков. Ей выдали клеенчатый фартук и рукавицы. Фартук всегда блестел влажно и вонял хлоркой.

- Ну я его мою ведь раз сто на день, не меньше… Я ж этой заразы боюся.

И лицо под низко повязанной белой косынкой, казалось, тоже блестело, жирно лоснилось.

Несколько раз, когда я заходил в ее «палату», густо дымя махоркой, я видел, как Аня ела. Не снимая мокрого зловонного

фартука, она неторопливо хлебала из котелка, отламывала хлеб, лежавший на столе на газете в полуметре от рукавиц, кусала маленькими белыми зубками.

С дальней койки стон:

- Ой, сестрица, опять!

- Ладно, ладно, потерпи… Вот и покушать не дадут… Ну, обосрался уже, эва-эвона, так полежи тихо… Ведь я же кушаю. Ну дай кончить, тогда уберу.

Иногда она мне казалась похожей на жирную крысу.

Некоторые больные жаловались:

- Анька, сука, все только жрет, зажимает наши пайки и меняет на шмотки. У нее уже целый сундук натасканный. Барыга она, а тут хоть подохни, она кружки кипятку не подаст.

Когда я попытался говорить с ней о жалобах, она обиженно причитала:

- Ну как тебе не совестно! Я же целый день эвона в говне сижу… Ты на минутку зайдешь и как паровоз дымишь, а я ведь некурящая, мне тут от ихней вони ни вздоху, ни продыху, только и знаю, что эва-эвона подмываю, подтираю ихние шкелеты… Ну если съела лишний кусок, так ему ж и так пропадать. Кто еще, скажи, с нашей доходиловки хлебушко возьмет? Я ж вижу, как ты нос воротишь, когда я кушаю…

В другой раз она зло, по-крысиному ощерилась:

- Ну что ты слушаешь этих поносников? У них же все мозги эва-звона вместе с говном вытекли, а они на мене еще мораль наводят. Вот сниму сейчас на хрен фартук вонючий, не стану тут мучиться. Ну посмотрю, кого ты на мое место найдешь… Старуха-то уже сколько разов сачковала, косила эва на сильно больную, я тогда целые сутки тут спала на табуретке эвона, к стенке приткнувшись. На воле за такую работу эва-эвона две пайки дают… А ты мне лишней миской баланды глаза колешь.

Возражать было нечего, я старался только не показать, что испуган. Если бы она и впрямь забастовала, то найти замену было бы неимоверно трудно, а то и вовсе невозможно.

Аня становилась все толще, самоуверенней, грубее. Однако многие дизентерийные выздоравливали. И умирали в ее палате не чаще, чем рядом, у тяжелых. Каждый раз она прибегала, встревоженная:

- Кончился тот, что воколе окна, седой дяденька. Ты ему давеча от сердца колол. Ну, давай, скажи мужикам, чтоб забрали. А то мои поносники эва-эвона сильно боятся мертвяков.

Двух женщин Александр Иванович назначил санитарками взамен уехавшего на волю Гоши; позади моей кабинки отгородили еще один узкий сегмент, и туда втиснули одну

«полувагонку», т.е. двухэтажный топчан, тумбочку и табуретку.

Валя, круглолицая, веснушчатая, курносая, с косичками цвета старой соломы и круглыми серыми, словно бы полусонными глазами, работала где-то в ближнем Подмосковье на швейной фабрике. Все ее товарки обычно ежедневно уносили «шабашки» - обрезки тканей, тесьмы, клочья ватина - все, что в цеху выбрасывалось, а дома вполне могло пригодиться. Валю застигла на проходной внезапная проверка; в кармане ее рабочего халатика нашли две катушки ниток. Она клялась, что просто забыла вынуть после работы, нитки были копеечные… Но в это время как на грех шла кампания «за честность», на собраниях произносились грозные речи, в стенгазетах клеймили «расхитителей народного добра». Валю и еще нескольких девушек судили показательно в фабричном клубе и ее приговорили «за похищение 200 метров пошивочной ткани» (в каждой катушке ведь 100 метров ниток) к семи годам лагерей.

Милу подруги называли Людка-артистка. Худенькая, но ладно, крепко сбитая, она казалась моложе своих двадцати шести. Темные глаза широко расставлены и распахнуты, бледно-смуглое узкое лицо подростка и яркий крупный рот - нижняя губа темно-пунцовая, полная, чуть выпячена по-ребячьи капризно, а верхняя тоньше, светлей, с крутой выемкой, - нос прямой, вровень со лбом, почти без переносья, как на старых греческих вазах. Темно-каштановые волосы большим тяжелым пучком сзади, а когда распускала, нависали на глаза, укрывая плечи.

Ее привезли в лагерь из Крыма.

- Папа - моряк потомственный. А мама - дочка рыбака из Балаклавы, бабушка - мамина мама - гречанка была. Я родилась в Севастополе. Когда папа еще капитаном служил торгового флота. Но он потом очень болел - грудная жаба - и работал уже на берегу в управлении. А когда война началась, он в первую зиму умер. И мама скоро умерла от бомбежки; я круглая сирота осталась, мне еще двадцати не было, только первый год как замужем…

Милочка закончила театральное училище перед войной и вышла замуж за режиссера эстрадной труппы, разъезжавшей по курортам Крыма и Кавказа.

- Мой Анатолий очень талантливый. Ему только опыта еще не хватало, ну и, конечно, образования, ведь он тоже только училище кончил… Но талант у него признавали очень большой. На всех инструментах играет - и на рояле, и на скрипке, и на гитаре, и на мандолине, и на аккордеоне, и даже на разных духовых… И любые роли исполняет - и героическо-романтические, и комедийные, каскадные; и фокусы показывает, и двойное сальто умеет. А когда немцы нас оккупировали, мы как

раз в Ялте были, а тут их десант - такой ужас, так все боялись, потом Анатолий как музыкальный эксцентрик выступал, на гребенке играл и на струнах, натянутых между ножками стула… Огромный успех был, все немцы кричали: «Кляссе!».

Милочка стала певицей: пела романсы, народные и жанровые песни - ну знаете, из кинофильмов, из репертуара Клавдии Шульженко, - втихомолку мечтала об оперетте, разумеется, о лирической героине, каскадные ей не по душе. В оккупированном Крыму они с мужем продолжали заниматься своим веселым ремеслом: давали концерты и в немецких госпиталях, санаториях, офицерских казино. За это их и осудили по 58-й статье, пункты 1 а и 3, Анатолия на десять лет, а ее на пять, из которых прошло уже почти три года.

Мы быстро сблизились. Только у нас двоих из всех больных и работников санчасти была 58-я - разве не перст судьбы? К тому же я знал некоторые из песен и романсов, которые она раньше пела, даже немецкие солдатские песни - «Лили Марлен», «Все проходит, за декабрем опять приходит май». Она вызубрила по одной-две строфы, а я знал все насквозь и с «произношением». Быстрое духовное сближение приятно дополняли конфеты, печенье, настоящие булки - лакомства, давно невиданные. Ей не от кого было получать передачи и посылки.

После отбоя санитары иногда задерживались в моей кабинке - Вахтанг рассказывал что-нибудь смешное. Но рядом за переборкой спали больные. Нельзя было шуметь. Он уводил Валю, и мы с Милой оставались вдвоем.

- Это вы всем девушкам так говорите?… Не смотрите так, что вы такое там видите? Глаза как глаза… Не надо! Ну, пожалуйста, не надо!… Как вам не стыдно так целоваться? Ой, нельзя так, ну пожалуйста, ну я ведь не такая. Нет, нет, я не такая, как вы думаете… Ну хватит, ну больше не надо так. Ведь я же тоже не каменная, ну пожалуйста… Нет, нет, не сейчас… А вдруг войдут. Ведь ты же меня не любишь. Нет, не верю, не верю. Тебе просто захотелось… Ой, милый!…

… А теперь ты будешь меня презирать? Да? Будешь думать, что я, как все - шалашовка лагерная… Правда, любишь? И сейчас еще любишь?… А ты ведь с Анькой Московской тоже так? Правда, нет? Ни разу, ни разочка?… А как ты на Шурку смотришь, я ведь все вижу, давно замечаю… Когда ты к нам в палату приходишь, ты и мне и всем девочкам быстро-быстро: нате термометр! Берите порошок! Глотайте-запивайте! А Шурку всегда обязательно осматривал и этак и этак, где у нее там железки под животиком. Даже смотреть противно было, как ты ее щупал.

…Шура действительно была самой хорошенькой из наших

женщин. Трофическая язва на голени вызвала у нее воспаление паховых лимфатических желез, и я несколько раз тщательно проверял ее состояние. Но иных отношений у нас не было, она с первых же дней стала подружкой санитара Севы, и Мила это знала.

- Не говори, все равно не поверю, ведь она красивая. Она куда красивее меня… Не возражай, пожалуйста, а то вообще никогда ничему верить не буду. Она настоящая бубновая дама, и глаза у нее васильковые… А ты черный, король крестей, значит, она должна быть именно в твоем вкусе… Но ты только ей не верь. Она знаешь какая бытовая. Она ведь завстоловой была или вроде, воровала без стыда и совести, а теперь хочет забеременеть, чтобы сактироваться. Она каждую ночь бегает. И не к одному Севке, а к любому, кто позовет. У нее никакой брезгливости нет, лишь бы только венерического не поймать… А потом еще рассказывает про мужиков такое… и такими последними словами, как настоящие воровайки-проститутки. Слушать противно, ну прямо тошнит. А она смеется… Ты на нее не должен даже смотреть. Дай слово! Дай самое честное слово… И, пожалуйста, не думай, что я ревнивая. Я ведь тебя не ревную к твоей жене, я ведь понимаю, что ты ей обязанный на всю жизнь, за то, что она к тебе сюда ездит. А вот кто эта дамочка, которая к тебе уже два раза на свиданку приезжала? Откуда знаю? А у нас все про всех знают. Ах, она тебе друг по работе?! Скажите пожалуйста, а ведь ты с ней в суточную кабинку ходил. Это я точно знаю: дал вертуху на лапу и целый час с ней в кабинке запертый был. Это что же для дружбы на работе?… Ой, ну не сердись на меня… Ну я дура… Но ведь это от любви. Я же тебя давно полюбила. А ты меня когда? Не ври только: я сама знаю, тогда, когда целоваться стал, а может, уже только потом. Ведь ты меня раньше даже не замечал по-настоящему. А я тебя очень скоро полюбила. Честное слово! Святая правда, как в школе говорили - честное пионерское, под салютом! Когда ты в первый раз к нам пришел и со всеми говорил, так вежливо. А мне сказал: «У вас 58-я, значит мы с вами одного профсоюза». И шутил так… без нахальства и никаких грубостей, вроде как настоящий доктор… Все девочки потом говорили, что ты хотя еврей, но честный, самостоятельный и справедливый. Только Анька Калининская шипела - она ведь ни о ком хорошего слова сама не скажет и слушать не любит, а про тебя говорит: «Он хитрый, они все такие - мягко стелют, а потом свое берут, и он возьмет…» Но я с ней всегда спорила. И другие девочки, правда, тоже, но я больше всех. И они говорили, что я в тебя влюбленная… А ты не замечал даже. А еще считаешься образованный. Не замечал потому, что я для тебя без интереса

была - одна кожа да кости и лохматая, как ведьмина метла. А Шурке животик поглаживал. И Томку большую тискал вечером в коридорчике возле зубного кабинета. Если б у нас тогда не зашумели, не стали Томку звать, ты бы с ней там и стоя подженился. Я знаю все, я за тобой, как сыщик, следила. А все от любви. А теперь ты меня любишь?… Правда? Ну скажи, только медленно - так тихо, медленно и раздельно: я - те - бя - о - чень - люблю!… А я тебе вообще нравлюсь? Правда, я теперь как поправилась, вроде ничего стала. Ребра уже не торчат, только живот большой от баланды… Но я тебе все-таки нравлюсь? А что тебе больше всего нравится?… Глаза у меня, правда, красивые и со значением; это еще в школе говорили. А рот какой-то ненормальный. Иногда вроде ничего, даже оригинально, а иногда как будто недоделанный или как у куклы… Не говори, не говори, я сама знаю. И улыбка у меня неинтересная, и смех вроде как детский или будто я ломаюсь. Поэтому я тренировалась, чтоб не очень улыбаться и чтоб все без смеха. А серьезность мне к лицу.

Я не скрывал от Милы, что меня должны скоро «выдернуть на пересуд», что ничего хорошего не жду, но все же храбрился, уверял и себя и ее, что больше пяти лет не дадут и, значит, она всего на полгода раньше освободится и, если захочет, если постарается, найдет меня. Она обещала. Мы оба этому не слишком верили. Лагерная любовь почти как фронтовая - хоть час, да наш.

Вахтанг и Валя тоже стали парой.

После истории с карцером Семен Железняк перестал заходить в санчасть. Но Саша Капитан приходил неизменно после поверки или после ужина. Если с ним был вольный надзиратель, то визит продолжался всего несколько минут: он спрашивал о больничных новостях, выпивал свой рыбий жир и - «желал приятных сновидений». Патрульных самоохранников он оставлял за дверьми - «дай им розовых или конфеток, пусть покантуются малость» - и садился, рассказывал о лагерных событиях.

- В БУРе опять мокрое дело. Отрубили голову и насадили на кол на ограде. Совсем как в старину… И надо же, гады, как словчили: у них ведь барак ночью запертый, когда они только эту голову вынесли? Должно, у них там лаз есть или в окно кинули, а кто-то снаружи подхватил. Надзор голову снял, но идти в барак ночью дураков нет. Раз рубали или резали, значит и топоры есть, и ножи. Дежурный звонил начальнику: может, поднять взвод по тревоге, прошмонать, как положено, с оружием, с псами; там же еще тот безголовый в бараке валяется. А начальник велел только наружные посты усилить у БУРа и на ближних вышках. И ждать

до утра. Пусть они, гады, спят с мертвяком…

Однажды вечером все же пришлось поднимать по тревоге взвод наружной охраны. Днем прибыл новый этап, в котором оказалось несколько «сук», а с одним из предшествующих этапов приехали воры, недавно воевавшие именно с этими суками в другом лагере. После вечерней поверки между двумя бараками начался бой. И с вышек застрекотали тревожные очереди автоматов. В лагерь ворвался бегом конвойный взвод, вкатился грузовик с прожектором. Над крышами бараков зловеще черными на фоне ослепительного лиловато-белого луча зачиркали красные, оранжевые, зеленые прерывистые линии автоматных очередей, стреляли в воздух. С полчаса тарахтели выстрелы, лаяли собаки, надрывные крики прорывались сквозь нерасчленимый гомон.

На следующий день Саша рассказывал с увлечением, подробно, как сражавшиеся проваливали друг другу черепа кирпичами, крушили кости ломами, лопатами, рубились топорами, резались ножами и кусками оконного стекла… Троих убили на месте, раненых не меньше десятка тяжелых. Их всех навалом в машину - и в Москву, в тюремную больницу. На вахте фельдшера - Алеха бесконвойный и тот старик - их перевязывали, тяп-ляп, лишь бы скорее. По дороге верняк подохнут еще сколько-то. Но сюда в больничку их нельзя. Теперь у нас не разбери-поймешь, кто на кого кидается, месть держит. Тут в зоне они бы всю дорогу резались.

После двух побегов, нескольких убийств и ночного сражения вечерние поверки стали очень длительными и нервозными. Всех зэка строили колоннами по пять в ряд на «центральной улице» лагеря. К нам в больничные юрты и барак приходили надзиратели с пастухами и считали, пересчитывали всех лежачих, остальным приказывали оставаться снаружи. Раньше поверки проводили мы сами - лекпомы и санитары - и потом только называли надзирателям общее число. Почти в каждом из рабочих бараков были амбулаторные больные, освобожденные от работы. Обычно их пересчитывал дневальный. Теперь их тоже стали выгонять в общий строй. Надзиратели орали, самоохранники погоняли палками и пинками доходяг, недостаточно быстро выбиравшихся из бараков.

Вечером, сразу же после поверки, за мной прибежали двое пастухов.

- Давай, давай, скорее, там один старик с катушек свалился.

В бараке работяг зоны посреди прохода между вагонками лежал грузный старик с седым ежиком. Самоохранники и надзиратели оттесняли глазевших в глубь барака.

- Давай, лечи, он с перепугу обеспамятел… в омморок.

Из дальнего угла злые голоса:

- С перепугу?… Забили насмерть, гады… Убили, суки, а теперь лечить хочут!

Старика я узнал - москвич, инженер, осужденный за какую-то аварию; декомпенсирован-ный порок сердца. Александр Иванович полагал, что таких незачем класть в больничку.

- Пусть лежит в бараке, там хоть днем воздуха больше и чище чем у нас; лекарства ему можно давать на руки, ведь интеллигентный человек. Пусть сам пьет в назначенные часы дигиталис, ландышевые, а вообще актировать надо…

Он был мертв. Из угла рта натекла тоненькая струйка крови.

- Почему на полу? Почему кровь? Что здесь произошло?

- Да ничего не было. Мы забегли звать на поверку, а он тут лежит и вроде стонет.

Коренастый белобрысый пастух смотрит нагло, но тревожно. Из-за вагонок шум.

- Врет, падло, они его палками гнали… Забили насмерть.

- Тихо, шобла! Кто там галдит?… Ты видел, как били?… А ты видел?… Не видел, так не тявкай, а то в рот выдолбаем и сушить повесим!… А ты доктор или следователь? Лечи и не разводи тут паники, за волынку отвечать будешь!

- Лечить некого. Он мертв. Ему полагалось лежать на койке. Постельный режим, строгий. Те, кто выгоняли, убили его.

- Никто его не трогал. И вы, доктор, не шейте дело!… Какой он доктор, - лепила, долбанный в рот. Живого от мертвого не разбирает. Ты укол исделай, а не трепись, а то распустил язык, шоблу подстрекает, а сам мышей не ловит. Если он подохнет через тебя, мы тут все свидетели.

- Он умер задолго до того, как я пришел. Это покажет вскрытие. И от чего умер, тоже покажет. Несите в мертвецкую.

В тот же вечер пришел Саша; он жаловался: в лагере стало хуже, чем на фронте.

- На передовой солдат хоть знает, где враг, где свой а тут везде шпана. Откуда чего ждать - не угадаешь. Ночью в бараке перекинутся в буру, и какой-нибудь малолетка - гнилой, задроченный - проиграет все гроши, все шмотки и уже играет на чужую кровь… Полетел - значит проиграл в долг и должен убивать, на кого играли или кого потом скажут, а то и по слепому условию - кого первого встретит, как утром с барака выйдет… И вот такой плюгавый поносник, ты его от земли не увидишь, ничего не ждешь, а он за тобой сзади с топором, втихаря… р-раз - и жизни нет. И все ни за хрен… Нам приказывают охранять порядок, вот палки разрешили. А у них топоры, ломы, ножи!… Их

разве палками испугаешь? Их давить надо, гадов. Они разговоров не понимают. Им положить с прибором и на кандей, и на прокуроров, и на смирилку. Уже ко всему привыкли. Ведь они же не люди, хуже всякого зверя, хуже змей ядовитых. Гадюка первая не бросится, укусит, только если ты на нее наступишь. А эти… Вот хотя бы ты их лечишь, поишь, кормишь, в задницы им смотреть не брезгуешь, уколы там всякие, клизмы, себя не жалеешь для их здоровья… А ты уверенный, что они тебя уже не заиграли? Что за тобой уже сейчас топор не ходит? Может, и за так, а может, и для интересу, ведь у тебя вантажи приличные - прохаря офицерские, бриджи, и, конечно, считается, что полно чистых грошей… Они ж никакого добра не понимают. Вот как тот шкет-шкодник: ты его лечил, а он твой костюмчик отвернул… В другой раз он тебя из-за угла кирпичом долбанет или пиской по глазам. И никто не заступится… Начальство у нас мышей не ловит. Главный капитан еще молодой, красюк; много о себе понимает, а сам, как нервная девка: сегодня ха-ха, даешь-берешь, всех в рот долбаю. А завтра ему самому начальник стройки - генерал в рот и в нос насовал: выход за зону еле-еле сорок процентов. А кто вышли?Хорошо, если половина работает, вкалывает, зато другие все туфтят, чернуху раскладывают. Все планы на хрен. И он уже скис: что делать, куда податься, все пропало, не лагерь - помойка; что ни этап - одни доходяги, поносники, гумозники, блатная шобла - отрицаловка… Он сразу и запсихует: пьет прямо в кабинете, на всех кидается. Кум больной, всю дорогу за сердце держится, капли сосет. Его сюда с Москвы вроде как на дачу послали, сосновый лес, Волга - климат высший класс. Он день выйдет, а потом неделю в коттедже припухает. Прежний начальник КВЧ, тот капитан черножопый, киргиз или башкир, в общем, не русского Бога черт, каждый день с утра пьяный на бровях ползал, а новый - глиста канцелярская, ни хрена кроме бумажек не видит, не соображает, ему бы только показуха, чтоб плакаты висели, стенгазету тяп-ляп слепили и, конечно, почту проверить, чтоб ему с каждой посылочки отломилось. Он пьет не просыхая. Один только наш начальник режима за всех крутится - хоть ремень надевай, чтоб динаму вертел… Вот он и нас гоняет. И Семена и меня, чтоб все на полусогнутых… Сколько раз уже нам кандей обещал. Ну и мы со своих парней стружку дерем, аж скрипит. А что от этого имеем? Только нервы на хрен рвутся… Вот и сегодня опять чепэ. А мне говорят, уже и ты тоже на наших ребят насобачился: «Убили!», «Насмерть забили!» Нельзя же так.Ты же должен понимать, что делается: мы все на голых нервах, за нами топоры ходят…

Он хотел убедить меня, а через меня и Александра Ивановича

замять дело, не производить вскрытия, составить обычный акт о смерти «от сердца», ведь старик по всем документам числился тяжелобольным.

Александр Иванович сначала было заколебался.

- Чего нам добиваться? Мертвого не поднимешь. Да и жить ведь ему оставалось недолго, еще, может быть, несколько дней или недель. И как жить!… Акт мы подпишем с амбулаторным фельдшером Куликовым, который наблюдал его, и ваша чувствительная совесть может быть спокойна.

Заместительница начальника смятенно кудахтала:

- Ужас!… Просто ужас!… Нет-нет, все-таки надо вскрытие. Нельзя покрывать убийц!…

Есть же, наконец, законы! Мы сами будем отвечать, если это потом выплывет… А может быть, все-таки лучше не надо?… Ведь случай простой: ангина пекторис, давняя декомпенсация, в общем, естественный экзитус… Может быть, лучше так, а то будут мстить? И начальнику лагеря неприятности.

Куликов отказывался подписывать акт, пусть больной был амбулаторный, но ведь смерть установил не он, пусть подписывает, кто первый увидел…

- А то что же такое получается? Вдруг кто стукнет, что били, что, значит, насильственно умерщвлен… А я что? Подписал, значит, ложный акт… Нет, это, уже извините, это мне, значит, новый срок… Нет, уже лучше вскрывать и, может, ничего такого не обнаружится и тогда, значит, все честь по чести…

Я сказал, что акта без вскрытия не подпишу, а если убийцы останутся безнаказанными, то они снова и снова будут избивать до смерти, до увечий таких же больных, старых, истощенных зэка. Разговоры о том, что блатные озлобляют самоохранников, нелепы. Ведь старик не был ни блатным, ни отказчиком. И все это знали. Они избивали заведомо беззащитного.

Александр Иванович оглядел нас угрю-мотоскливыми глазами, едва просвечивавшими из-за припухших красных век, приказал всем быть при вскрытии и вызвал представителя лагерного надзора.

У прозекторского стола плечистый красномордый сержант уже через несколько минут стал землисто-бледен, вспотел, жалостно попросил разрешения закурить и выйти.

У входа в морг стояли несколько самоохранников.

Вскрытие установило: переломы трех ребер и левой плечевой кости; на голове, на плечах, на спине и на бедрах кровоподтеки и ссадины от ударов, нанесенных «тупыми орудиями». Александр Иванович записал в акте, что ни одно из телесных повреждений не было непосредственной причиной смерти, которая наступила

вследствие острой декомпенсации сердца - болезни, развивавшейся, как явствует из больничной карточки, в течение нескольких лет.

Когда мы уходили из морга, сержант, который не глядя, безоговорочно подписал акт, спросил Александра Ивановича громко, чтоб слышали и стоявшие поодаль:

- Выходит, значит, он помер от сердца, а не от чего другого…

- Помер от сердца. Но перед этим был сильно избит: ребра переломаны. Значит, помогли умереть. Насколько помогли, должна решать судебная экспертиза. А кто помог - это дело следствия.

Вечером Саша, зайдя ко мне в кабину, не сел и не попросил рыбьего жира.

- Вы думаете, что хорошее дело сделали, что потрошили того старика, а теперь ваш акт на следствие пойдет?

- Мы ничего не думаем. А вскрывать полагается по закону. Никому под суд неохота. Если бы Александр Иванович не вскрывал, на него бы самого завели дело. У старика переломаны кости. Это видно и через год, и через десять лет на скелете. Не раз уже бывало, что могилы разрывали и устанавливали, что было убийство…

- Знаю! Читал… в кино видел. А ты все по книжкам хотишь жить и по кино… Ни хрена хорошего из этого не будет. Вот теперь из-за вас, медиков долбаных, заведут дело на наших парней. Кому с этого польза? Начальник лагеря злой, как тигра. Он твоего Александра Ивановича без хлеба схавает. А у наших парней есть друзья-кореши. Они хоть и не блатныецветные, но дружбу, может быть, лучше понимают. До начальника санчасти далеко, а лепила поближе… Тот щербатый старик-лепила уже всем божится, что он ни при чем, ничего не знает, не хотел ни потрошить, и ничего писать, что это все только ты, всегда на принцип лезешь, что ты больше всех галдел, чтоб потрошить и акты писать… А ведь я тебя за друга держал!… Ведь ни я и никто с моих парней тебе ничего плохого не делал, никогда тебе поперек дороги не становился… Ты помнишь, как за твои шмотки себе кулаки отбивали?… Может, ты на Железняка обижаешься за кандей? Так ведь это же не он тебе назначал. Наоборот, мы все молчали, когда ты вместо кандея тут на коечке кантовался… И про твою губатенькую мы знаем, какие ты с ней романы крутишь. Тебе ж никто не мешал. А ты, значит, на принцип хотишь? Ну что ж, теперь увидишь, какие принципы есть. Увидишь и пожалеешь. Да только, боюсь, поздно будет…

Вечером после отбоя в мою юрту вошли трое пастухов - угрюмые, насупленные парни. Старший, черно-смуглый, высокий,

глядел высокомерно и подозрительно.

- Па-ачему после отбоя шалман?… Па-ачему не спять все, как положено?

Я отвечал шепотом:

- Тихо! Здесь больные… Им завтра на работу не выходить. А вы не орите…

- Порядок везде один! А тут не больничка, а бардак. Филоны припухают. Запиши, кто нарушает. Завтра доложим, а счас чтоб все по местам, а то мы покажем порядок! - Палки выразительно встряхиваются.

Я отвечаю все так же шепотом:

- Ладно. Завтра доложите. Но сейчас не орать! А то и я напишу рапорт, что ночью ворвались в больничку и из-за двух бессонных курящих переполошили всю юрту.

- Ты напишешь, лепила долбаный… Ты писать умеешь, пока руки не отбили.

Из дальнего угла приковылял, картинно хромая, Вахтанг. захромал он ради костыля, на который опирался - тяжелый, подбитый железом. Он тоже зашептал, передразнивая:

- Па-ачиму шум?… Па-ачиму, генацвали, нам, больным, не дают спать? Па-ачиму, дорогой доктор, пускаешь посторонних?

- А ты больной, падло?… Так лежи! А то положим так, что не скоро встанешь.

Вахтанг заговорил полным голосом:

- Кто меня положит? Ты, сука позорная?! Так ты раньше меня ляжешь. В могилу ляжешь, падло, придурок, кровосос… Я таких в рот долбаю и сушить вешаю, пусть я в тюрьме сгнию, но ты подохнешь.

С вагонок, с нар поднимались, вскакивали. Я вытащил из-за косяка припасенную на случай железную кочергу. Но против троих пастухов уже стояли несколько пациентов - двое держали доски, выдернутые из нар. С разных сторон шумели:

- Что такое? Чего шухер?… Пастухи, гады, суки, и здесь жить не дают… в рот, в душу!… Уже к больным придолбываются, паразиты!… Давить их! Ты, чернявый лоб, морда сучья, не тряси палкой! За тобой давно топор ходит.

Сзади кто-то уже выразительно шарил под нарами, приговаривая: «Счас… счас… счас… вам будет».

Застучав кочергой по двери, я заорал командно:

- Тихо! Всем тихо!… Не психовать!… Все по койкам! А вы уматывайте! Вот он ваш порядок. Три здоровых лба не даете спать больным… нервы расстраиваете. Тут лежат с больным сердцем. Кому теперь хуже станет - ваша вина! Тут все свидетели. Вы не охраняете порядок, а сами нарушаете.

- Правильно!… Гони их, гадов, на хрен. Они думают - их сила, никто ни хрена не скажет. Судить их, сук беззаконных… Не судить - давить! Они слов не понимают…

Самоохранники ушли, отругиваясь. Чернявый блеснул на прощанье ненавидящим глазом и вполголоса:

- А тебе, лепила, недолго жить. Пиши письма!…

На следующий день, когда я рассказал о ночном происшествии Александру Ивановичу, он поморщился, как от зубной боли.

- Ну вот!… Я ведь предупреждал. Теперь думайте, как свою голову спасать… Принципы тут не помогут. Не пишите никаких рапортов. Я сам поговорю с начальником режима и с опером… От начальника лагеря ничего хорошего ждать нельзя. Он теперь с пол-оборота заводится. В лагере черт-те что делается. Война сук с ворами. Настоящая война. Этой ночью опять двое убитых. Одного самоохранника в уборной задушили и засунули головой в очко. И одного доходягу у помойки забили насмерть палками. Охранники озверели, а начальник лагеря им покровительствует. Не воров же ему защищать, от которых никакого проку, и не вас - пятьдесят восьмую. Обещают скоро наряды на отправку. Уберут главных заводил, авось, потише станет. Но пока - война, и вот вы в нее влезли. Сколько у нас в стационаре воров? У тяжелых - Акула, Кремль, Бомбовоз, и этот Лысый, и еще, кажется, два. В вашей юрте - Грузин, Фиксатый, среди новых цинготников двое или трое, кажется, в законе и кто-то из язвенников… Поставьте у тяжелых два топчана отдельно - там сейчас можно выгородить угол - и переведите из барака двух сифилитиков, Рыжего и Онегина - они тоже законные; оперу уже донесли, что их собираются убить в первую очередь. Возьмем их сюда - это ненадолго, отправим еще до конца недели. На ночь запирайтесь. Открывайте только лагнадзору. Хоть бы вас уже скорее забирали (Александр Иванович знал, что мне предстоит новый суд).

Днем, когда я был в юрте тяжелых, а в амбулатории шел обычный прием, прибежала Мила - глаза испуганные, губы подрагивают.

- Тебя зовет Саша Капитан… Я его не пустила в кабинку. Он ждет на улице. И там еще двое.

Саша, как всегда щеголеватый, большая кепка набекрень, стоял у юрты, опираясь обеими руками на белую, свежеобструганную палку.

- Поговорить надо… Ты чего написал?

- Про вчерашний шухер? Ничего не писал… Пока.

- А кому говорил?

- Александру Ивановичу рассказал… В общем и целом.

- А он что?

- Говорит, подумать надо. Он с кумом советоваться будет. Ведь тут вроде война идет.

- Именно война. Ворье, блатная сволочь, бандиты! Они сегодня опять нашего парня убили… Слышал?

- Слышал? А кто сегодня забил доходягу на помойке?…

- Уже знаешь? В этом деле мы разберемся. И накажем. Хотя я точно знаю, никто убивать не хотел, только пугануть думали, но вгорячах стукнули шакала, не туда попали, а тот - видно, совсем доходной - и откинул копыта. Но разве это можно равнять, если когда человека в буру проигрывают, если топоры заначивают специально, чтобы убить… стерегут, а потом всей шоблой на одного… Есть тут разница или нет?

- Есть, конечно. Только ведь вчера и твои парни грозили мне, что убьют. Значит, тоже специально убивать собираются. А я ведь им ничего не сделал. И в вашей войне не участвую.

- Нет, участвуешь. Это через тебя того старика потрошили и дело завели. И ты воров здесь прячешь. Помогаешь падлам косить под хворых.

- Неправда. Я никого не прячу. И ты это сам знаешь, не можешь не знать, ты не жлоб неграмотный. Я, если бы хотел, никого в больницу принять не могу. Все решает начальник, он - доктор, я лекпом. Он мне приказывает, а не я ему. И вскрывали старика, потому что так положено. Мы обязаны вскрывать всех, умерших внезапно. И дело завели не через меня, а потому что больного старика убили. Ребра переломали… А теперь меня убивать хотите. Но только не думай, что я голову подставлю: режьте, дорогие охранители порядка, режьте на здоровье… Нет, уж если подыхать, так в компании, и я не одну глотку перерву, пока меня кончат. Найду чем отмахнуться. И ни от чьей помощи не откажусь, будь то хоть вор, хоть бандит, хоть черт с рогами… Кто мне поможет, тому и я помогу, а кто меня убивать хочет, того уж я постараюсь убить, хоть сам, хоть с помощниками.

- Ты не психуй! Не галди! Я к тебе пришел по-свойски, а ты орешь на весь лагерь… Если б тебя убивать хотели, никто не пришел бы. Давай обнюхаемся. Ты скажи откровенно: будешь писать на моих ребят?

- Пока не собирался. И вообще не хочу писать начальству про других зэка. Это мой закон. Но если вы собираетесь воевать в больнице, убивать больных, убивать меня…

- Да кто собирается? Ты что, охреновел? Ты выпей чего-нибудь от нервов.

Он опять сел на койку, ухмылялся, прикрыв глаза тяжелыми веками в густых ресницах, стиснул палку руками и коленками. И

заговорил спокойно, с грудными интонациями нарочитой задушевности.

- Давай по-хорошему. У тебя же голова на плечах есть. Должен понять. Лично я на тебя зла не имею. Хоть ты и не схотел со мной дружить, на принцип пошел. А для ворья у тебя принципу не хватает! Да ты не мешай, дай сказать… Ты пятьдесят восьмая, ты против начальства, а нас так понимаешь, что мы помогаем начальству. Значит, ты думаешь, тебе воры лучше, чем пастухи. Они ведь тоже против. Ну так я тебе скажу: ни хрена ты в жизни не понимаешь. Начальник, хоть самый дерьмовый, тебе не такой враг, как шобла блатная. Начальник тебя в крайнем случае в трюм спустит, свиданием лишит, ну еще как накажет. А они тебя сегодня в задницу поцелуют - ах, доктор, керя по гроб, - а завтра зарежут ни за хрен, за кусок сахару, или за то, что заиграют. Мои ребята - хотя у нас тоже есть и суки, и гады, тут же лагерь, а не гвардейская дивизия, не благородный институт, - но мои парни за порядок, чтоб шпана не садилась всем на головы, чтобы людей не грабили, не проигрывали. А ты нам поперек дороги, палки в колеса. Ты же сам говоришь - война, а на войне кто поперек стал, того бьют не глядя. Ты писать будешь - и на тебя напишут. Найдутся и писаки, найдутся и такие, что голову отвернут. Не махай, не махай, сам знаешь, что тогда твой доктор не поможет. На него ведь тоже обижаются. Он у воров на лапу берет и в больничке заначки замастыривает. Но я хочу по-хорошему упредить, я на тебя зла не имею. Совсем наоборот. А к тебе с открытым сердцем пришел, все начистоту…

Он хотел выяснить, не собираюсь ли я жаловаться на его пастухов, разведать - не стала ли больница опорным пунктом воров, и заодно припугнуть не только меня и тех, кто мог бы меня поддержать, но и Александра Ивановича, а я делал вид, что доверяю его добрым намерениям, снова и снова объяснял, что отношусь к ворам никак не лучше, чем к его ребятам, доказывал, что Александр Иванович вовсе не прячет воров, а лечит лишь таких, кто болен всерьез. Возможно, что в отдельных случаях он изолирует тех, на кого указывает начальство, кто в бараке и даже в карцере может стать зачинщиком кровавых волынок, и, разумеется, изолирует заразных, например, сифилитиков…

- Знаю, тех гумозников, их кончать надо, а не лечить… На них знаешь какая кровь. Им человека убить, как тебе муху или вшу придавить.

Мы беседовали вполне мирно. Я угостил его, как бывало, рыбьим жиром и розовыми шариками. На прощанье он зашептал:

- Ты слушай, но чтоб только тебе. После поверки не ходи далеко. Сторожись. У нас теперь набрали новых - сук этих. Я их

ненавижу, как самих воров. Той же своры псы, хоть и грызут друг друга. С них есть такие, что и на меня кинулись бы хоть сейчас, а тебя так без соли схавают… Там корешки повара. Помнишь? И еще кое-кто другие, кто на тебя злость имеет, что ты права качаешь, и выходит только ворам в руку. А теперь война, кто кого рубанул, кто кому кирпичом башку развалил, хрен докажешь… Так что поимей в виду. Сторожись. И никому ни полслова.

К концу дня пришел Вахтанг, необычайно серьезный.

- Суки хотят ночью напасть на больницу. Толковищ был. Наши люди знают. Они, гады, хотят резать Акулу, Кремля и еще родычей. Наши люди будут оборону делать. Ты, генацвали, закрой окошко, хорошо закрой, свет не зажигай. А еще лучше, генацвали, иди спать к Милке, там окошко совсем маленький. И в барак сам не ходи - тебя тоже резать хотят.

Пойдешь, генацвали, лекарства давать, и мы с тобой пойдем. Я пойду, и Сева, и Бомбовоз.

Вечернюю раздачу лекарств я начал пораньше с барака. Тяжелый короб с бутылками и коробочками, как всегда, тащил Бомбовоз, в этот вечер за поясом у него торчал железный прут. Вахтанг, Сева и я вооружились кочергой и палками.

Мы шли по неширокой улочке между бараками. Был час ужина; всем работягам полагалось сидеть в столовой или топтаться у входа, ожидая очереди. Поэтому каждый из редких встречных казался подозрительным. Но нас никто не задел. В бараке я начал обычную раздачу рыбьего жира, витаминов, капель, пилюль. Сева и Вахтанг помогали мне; они уже умели разбираться в списках назначений, которые я составлял, применяясь к «географии» барака, т.е. в порядке расположения больных на нарах, вагонках и койках. В бараке было шесть санитаров, двое из них опекали троих сумасшедших. Но при раздаче пищи работали все.

В этот вечер мы хотели управиться поскорее. Я старался не показывать, что тороплюсь, и как назло то и дело возникали заминки: кто-то жаловался, что ему недодали рыбьего жиру, другой кричал, что ему надоели порошки, не помогают, пусть укол делают или банки ставят. Из дальнего угла, где, отгороженные пустыми вагонками, помещались трое сумасшедших, доносились крики, визг, брань. Побежав туда, я убедился, что забуянившего уже скрутили санитары, а двое других мирно плачут. Но едва я спросил, что произошло, в другом месте послышались возбужденные голоса.

- Так он же подох… Ты пощупай, он уже захолол… Уноси его отседова… Нам тут йисть надо - нельзя йисть воколе мертвого… Мы же люди.

Мертвый лежал на койке вагонки, скрючившись на боку. Несколько больных стояли в проходе, а сверху, свесив желто-плешивую, болыпеухую голову, бойкий доходяга непонятного возраста, беззубый то ли от старости, то ли от цинги, частил быстрыми словами, быстрыми и едва ли не веселыми, словно радовался своей осведомленности, свой причастности к событиям:

- Иета ен сам виноватый. От жадности помер - от одной жадности. Иета ен, три дни как сюда пришодци, и все скулил, канючил, на всех жалился, чтоб яму посылку яво дали с каптерки. Ен все говорил: энти доктора - санитары-каптеры - одно жулье, - йийибо так и говорил, - в маей посылке - чистый продухт, а они не дають брать; говорять: вред бу-деть. И ета одна брехня йихая, что вред - у мине чистый продухт… Жана прислала и теща - они женщины чистые, аккуратные, а тут иета одно жулье - хотять посылку отмести. Потом скажут «спортилось», ищи-свищи.

В потемневшем лице с опухшими закушенными губами можно было с трудом узнать широколицего моложавого старика; прошло меньше недели с тех пор, как он вылечился от дизентерии и его перевели в барак из палаты Ани Калининской. К тому времени в лагерной кухне уже существовал диетический котел. Ему полагалась строгая диета, но он еще там, в юрте, упрашивал разрешить ему забрать свою посылку. Продуктовые посылки лежачим больным приносили к их койкам, вскрывали при них; тем, кто был на диете, выдавали на руки лишь крупы, сухари, печенье и т.п., с тем чтобы санитары варили им кашу. А консервы, сало, колбасы, копченье сдавались на хранение в каптерку, по акту, подписанному владельцем, каптером и санитаром или медбратом.

Этот старик постоянно заводил ссоры с Аней, кричал, что она обокрала его, отсыпает себе крупу, а его кашей кормит своих хахалей… Он добился, чтобы ему еще раз принесли его посылку из каптерки, дал санитарам за это немного пирогов и горсть табаку, все перетрогал, перепаковал, проверил по своей копии акта. Когда его переводили из юрты тяжелых в барак, он раздобыл в своей бригаде у плотников сундучок с замочком и, показывая его, говорил, что сюда запрет, запрячет свою посылочку, и ему спокойней будет на душе - знать, что его добро с ним, все, что жена и теща-матушка своими руками собрали. Уешстый сосед частил упоенно: - Ието, значит, сиводня тут начальник приходил - надзор или режим, солидные такие - френчик на них с погонами золоченными - так ен и начальнику жалился и так просил, и так лестил… Тот и позволил - иета перед обедом - ен сам пошел в каптерку, принес, в сундук положил. А

как в обед стали мы бульон ийсть, гляжу - ен сала туду суеть… топленого. А потом в кашу ието, знаешь, цельное сало грамм триста, не меньше… Я ему говорю - ты што делаешь, Петрович, ты ж себе обратно в болезню загонишь. Мы ж еще слабые. Нам такая пища тяжелая. Тебе ж доктор иета говорил, толковал. И ты ж сам божился - не понюхаешь. А он меня послал. Иета, говорит, чистый продухт, от него только польза и здоровье.

И так мне это обидно стало, как он жует и колбасой пахнет, я одеялкой закрылся и спать; только я потом слышал, он вроде зубами скрыпел и вроде стонал… Я тогда спросил: ну что, Петрович, схватило брюхо от чистого продухта? А он только рыгает, сытый, значит, сердитый… Я думал, болить ему, иета, сам виноватый… Сам жрал, никому и понюхать не дал, а ему диета положена, сам и мучайся. А ен скрыгтит, рычит, а ни словечка не скажет - характерный мужик. А как тихо стало, я думаю, ието заснул, значить, нажрался от пуза, намучился, перемогся и спить, сытый. А ен, значить, иета, кончился…

Мы отнесли тело к выходу. Теперь уже не надо было скрывать, что спешим. Раздали лекарства и ужин, двое санитаров и двое добровольцев из больных понесли покойника на дощатом щите от нар. Еще двое пошли, чтобы сменять на ходу - не останавливаться же с такой ношей отдыхать среди лагеря. Теперь мы шли целой толпой - путь в мертвецкую вел мимо наших юрт.

Вахтанг рассуждал вслух:

- Сам мужик себе смерть сделал. От жадности подох и от своей тупости. Никакая животная так не подохнет. Собака знает, кацо, что можно есть, что нет, и кошка знает, самый глупый баран знает, самый глупый ишак знает… Не будет есть, когда больной. А такой мужик, такой Сидор Поликарпович ни хрена знать не хочет… Он за свое сало человека убьет, десять человек убьет и жену продаст, и родину продаст за свое сало… И сам подохнет. Не понимаю, зачем такой человек живет.

Другие поддакивали Вахтангу.

Я молчал. Уже темнело, зажглись фонари вокруг зоны, в бледном свете густели черные тени.

Покойник возбуждал злость, Вахтанг прав, и его лихая, бесшабашная воровская судьба все же лучше, чем исступленная мужицкая скупость - и вот скрюченный труп под рваной простыней. Он вызывал во мне такую же бессильную злость, как раньше Хрипун или Водяной. Но вместе со злостью саднила жалость, неотвязная, как зубная боль: ведь все это от голода, от уродливой страшной жизни… Хуже скотов! Но скотов так не мучают, и скоты друг к другу не так жестоки, как мы, так бессмысленно, безжалостно жестоки.

…От черных теней - кто-то пробежал между бараками - холодок страха… И все же повезло, что эта смерть именно сейчас. Нас добрый десяток. Не рискнут.

Уже к концу вечера в обеих юртах, у тяжелых и в моей, появились новые постояльцы. Некоторых я знал: мой старый кореш Никола Питерский, Леха Борода, Никола Зацепа. Другие были незнакомые, но все повадки - походка, интонация, ухмылки - не оставляли сомнений: чистый цвет, законные воры.

- Мы тут до подъема посидим, покемарим, покурим… тихо будет, не сомневайся… У нас - воинский порядочек. Часовые-караульные на зексе, чин-чинарем. Твоих доходяг никто не обидит. И суки не полезут. Они, падлы, уже верняк знают, что мы тут в обороне. Не дадим наших корешей давить. И тебя тронуть не дадим.

Прогнать их я не смог бы, да и не хотел. Они стали моей единственной защитой. Дико было сознавать, что оказался участником чужой войны, страшной войны сук с ворами. Я слышал немало рассказов о таких войнах. Хорошо, если сразу убьют, а то ведь есть любители изощренно пытать, топить в сортирах. Нелепая смерть! Чудовищно нелепая! Ни за что ни про что. Из-за вскрытия того несчастного старика. Из-за того, что обозлил пастухов. А ведь я не обличал их, только отстранился…

Ночь была теплая, двери в юрты открыты. Вахтанг и Никола успокаивали меня - все будет в порядке, мы дежурим, если какой больной попросит, мы тебя позовем, иди отдыхай. Я пустил их в мою кабинку, угостил папиросами, сказал, что если что - буду рядом, стучать в стенку. Взял свое оружие, кочергу и скальпель, и ушел в отсек санитарок.

Валя мирно храпела на верхней койке, а Милка не спала, ее знобило от.страха. Она знала об утреннем разговоре с Сашей; она испугалась, когда в юрте появились незнакомцы, слышала, что мы перешептываемся, не могла понять о чем… Она прижалась ко мне, всхлипывая «не пущу, не пущу, убьют», мы ласкались прерывисто - то шаги за стеной, то голоса у двери юрты. Вахтанг распоряжался в моей кабинке, там рассказывали были и небылицы о прошлом, особенно подробно и смачно о любовных похождениях. Милка шептала: «Ой, бесстыжие, ты не слушай!», накрывала одеялом и мою и свою голову, горячо дышала в ухо: «Ой, не слушай гадости… такая гадость», и дышала все чаще, все жарче, прижималась все ласковей…

Уснули мы только к рассвету. Наутро болела голова. Ночные гости ушли к разводу.

Александр Иванович был пасмурный, похмельный. Хмуро выслушал сообщение об умершем.

- Вот и лечите их… Переживайте, не спите ночей. Все ваши принципы, все гуманизмы - одна херня. Спирт у нас есть?

- Только денатурат.

- Давайте денатурат. И не смотрите на меня, как поп на еврея. Принесите карболену и марлю. Вы, конечно, очень ученый, но я еще могу вас кое-чему научить.

Он растолок карболен в порошок, насыпал в марлю, процедил сквозь этот угольный фильтр стакан денатурата, процедил еще два раза, меняя фильтры. В очищенный спирт бросил несколько крупинок марганцовки, внизу образовался мутный осадок. Он осторожно слил, разбавил физиологическим раствором. Разлил по мензуркам.

- Пейте… Закусите пектусином. И выпейте ложку валерианки. Чтоб не пахло. Усвоили науку? Ин вино веритас!… Это истинная правда, а все остальное - херня. Вы как думаете, почему это я пью с вами в рабочее время? Как это объяснить с точки зрения ваших принципов?… Не знаете? Многого вы еще не знаете.

Но это я вам объясню. Прощаюсь! Посошок поднес. Вас этапируют завтра сразу после развода. Объявят сегодня на поверке. Но вы уже сейчас начинайте сдавать Ане и Куликову. Она будет вместо вас старшей по стационару, а он вместо нее помощником. Только к тяжелым его подпускать нельзя. Он ведь убежден, что пульса нет, а вши от мыслей заводятся. Выпейте еще, повторить не скоро придется. Желаю вам… Ну что можно пожелать, чтоб не пустые слова, не сантименты, этого не терплю. Желаю остаться в живых, не доходить, не впадать в отчаяние и помнить - пока жив, все еще может быть поправимо. А вы мне пожелайте, чтоб тоже не пустые слова. Пожелайте не спиться, не стать алкоголиком и вообще…

- Вообще, спасибо, Александр Иванович, большое спасибо. Желаю вам здоровья - это не обычная формула, в самом точном смысле слова говорю: здоровья телесного и душевного и тоже верю, что в жизни все еще поправимо.

Днем пришел Саша. Я сидел в кабинке с Аней и Куликовым над кучей тетрадей, списков больных и коробок с карточками истории болезней.

- Ревизия у тебя?

- Да, вроде. Доверяют и проверяют.

- Выйдем на минутку.

Мы отошли от юрты. Вахтанг и пара его приятелей вышли вслед за нами.

Саша улыбнулся, оттягивая губы книзу:

- Телохранители твои на зексе. И все законные. А ты говоришь - ты нейтральный.

- Говорю и буду говорить. Они мои больные, я их лечу и вылечиваю, и они не хотят, чтобы их и меня убили.

- Это я что ли тебя убивать буду? На хрен мне это нужно?

- Я знаю, что не нужно. Но они, видимо, сомневаются. И ты ж не один с палкой ходишь.

- Ну и хрен с ними! Ты что, дела сдаешь? Про этап уже знаешь?

- С чего ты взял? Какой этап?

- Ты не темни, я ведь знаю. Тебя завтра выдернут. Как думаешь, на волю? На пересуд? Ну все равно. Тебе все лучше, чем здесь. Этой ночью здесь воры оборону держали. Я все знаю. Эта ночь тихая была. А час назад нашему парню от такой кирпичиной засадили. Если б в голову - сразу конец. А то в плечо. Похоже - сломали кость. Но его за зону взяли, в вольную больницу. А то у вас здесь добили бы… Да ты не махай на меня. Я лучше тебя знаю, кто здесь есть и кто чем дышит. И я к тебе обратно по-хорошему, с чистым сердцем. Вот в эту ночь ведь не тронули никого, ни тебя, ни твоих шестерок… А почему? Ты думаешь, потому, что вся шобла здесь ночевала? Ни хрена! Это я и мои парни придержали сук, чтоб не лезли. Те уже и топоры и ломы позаначивали. Они бы все юрты в щепы разнесли. И всех вас на мясо бы порубали. Только и на сук есть свои суки. Мне дунули. Я тебя вчера упредил. И своим парням накачку. Мы цельную ночь не спали. Это мы не дали им ходу. Откровенно скажу, не оттого, что пожалели шоблу. Но если б тут начали резать и рубать, так это и нам был бы минус. Понимаешь? Ну так вот, эту ночь не боись - можешь припухать, а завтра пойдешь на этап. Ночью по зоне будет надзор тройной - и лагсостав, и мои ребята, но только такие, конечно, кто самостоятельные, кого я точно знаю, что не сучьего племени. Зайду вечером, поставишь чего на прощание. Спиртик не держишь? Темнишь, доктор. Ну, ставь чифирю или хоть рыбьего жиру.

Вахтанг рассказал, что некоторых из наших ночных гостей днем забрали в карцер, объявили, что на сутки, а завтра в этап. В то же время он сам видел усиленную охрану из надзирателей перед бараком, где жили придурки - повара, учетчики, банщики, самоохранники, кладовщики - и те, кто прислуживали за зоной, «шестерили» в домах начальства; среди них то и были главные заводилы сук. Видимо, начальство решило предотвратить новые кровавые столкновения. Все же Вахтанг опять привел вечером нескольких корешей. В барак мы перевели трех выздоровевших цинготников, а ночных гостей пристроили на освободившиеся места. Я знал, что и в юрте тяжелых есть такие гости. А когда собирал вещи, то у себя под койкой обнаружил топор и лом.

Вахтанг сказал:

- Ничего, доктор, ничего, генацвали, сегодня полежит, завтра полежит. Ты поедешь, тебе не мешает. Мы остаемся, нам помогает.

Сразу же после отбоя пришел Саша с двумя пастухами и в сопровождении двух надзирателей.

- Ну как? Порядок в танковых войсках? Чего выпьем на прощание, доктор?

Они обошли юрту, посмотрели под койки… Саша и один из его парней, насупленный, туповато-молчаливый, еще посидели со мной в кабинке, выпили по мензурке рыбьего жиру, закусили розовыми витаминками и конфетами, оставшимися от последней посылки. Покурили. Саша говорил о том, что начальство решительно покончит с войной. Когда собаки грызутся, их надо водой разлить или палками разогнать. Завтра отправят по другим лагерям заводил, пусть на пересылках голыми руками душатся. А тех, кто убивал, по новой судить будут.

Я слушал его, слушал напряженную тишину за боковой перегородкой, в юрте, а сзади тихие шорохи, там возилась Милка.

Едва Саша ушел, в кабинку втиснулись Вахтанг, Бомбовоз, а за ними Сева и Аня Московская. Мила привела заспанную Валю. Вахтанг поставил на пол бутылку, на столике разложил газету - хлеб, куски рыбы, орехи и чурчхелу, открыл банку бычков в томате. Он распоряжался уверенно, весело.

- Мой папа - самый лучший тамада на весь район. Его зовут обязательно, где свадьба, где юбилей, где именинник. Я буду тамада. Мы сегодня провожаем нашего дорогого…

Он говорил вполголоса, в юрте спали, на зексе стояли поочередно ночные дежурные - им тоже поднесли по маленькой, - окошко завесили впритык, чтобы наружу ни пятнышка света. Вахтанг произносил тппные тосты, славил прекрасных девушек, наших боевых подруг, славил меня, славил своих друзей.

- Главное, что есть и в тюрьме, и на воле, главное - это дружба. Это когда ты имеешь друзей или, как мы говорим - корешей, и, как поется в одной иностранной, но все-таки народной песне, «за друга готов я хоть в воду», но лучше выпьем вино или даже водку…

Каждому из нас досталось примерно по сто грамм водки, девушки отказались, Мила пригубила из моей кружки. Мы сидели на двух койках, некоторые - на полу. Сидели тесно, дружно. А во мне смешивались, путались, распутывались и снова переплетались все впечатления последних дней, угрозы, тревоги, разговоры, страхи, воспоминания - горькие, постыдные, тоскливые, умильные, клочья недодуманных мыслей,

полуосознанных ощущений. Хорошо, что уезжаю от этих зловонных юрт, начиненных чужими несчастьями, больными, которым не могу помочь, завтрашними трупами… Хорошо, что избавляюсь от воров, от сук, от гнусного подленького страха смерти.

Но что будет с Милой? Она рядом, прижалась к плечу, теплая, печальная, пальцы тонкие, но сильные, тискают мне локоть. Что будет с ней, кому достанется? Ведь придется ей не с одним, так с другим так же прижиматься, так же целоваться влажно, горячо, так же распахиваться… А что будет со мной? Куда загонят после нового суда? Не вспомнится ли все вчерашнее, как недостижимое благополучие?

Вахтанг произносил все более многословные тосты, на каждый глоток и даже над уже пустыми кружками. Он расчувствовался, называл меня лучшим другом, спасителем жизни.

С Милой удалось побыть вдвоем совсем немного. Она плакала. А я не мог забыться, не мог избавиться от путаницы мыслей. То ласкал ее нарочито жадно, а может, это в последний раз в жизни, и я никогда уже больше не прикоснусь к женщине, дойду в каторжных лагерях… Но с ней-то уж, конечно, в последний раз… То говорил нежную чепуху, обещал помнить, писать, найти потом, говорил, зная, что вру, но ведь в утешение, требовал, чтобы не изменяла.

Перед самым подъемом я вздремнул на полчаса, она еще что-то зашивала, штопала. Когда я проснулся - Вахтанг стучал в перегородку, - Мила писала, низко склонившись над листком из тетради. Это было прощальное письмо. Она сама принесла его потом на вахту, сунула мне вместе со свертком хлеба. Красивые, книжные, песенные слова о любви, разлуке, сердечном страдании, просьбы не забывать, обещания вечно помнить. Слова искусственные, но слезы были настоящие.

За вахтой стояла открытая трехтонка. Нас, десятка два зэков, погрузили. Были знакомые - Гога Шкет, рубивший Бомбовоза, лупоглазая Зина и оба сифилитика, которые тискали ее, запускали руки под юбку, а она только посмеивалась. На окрики конвоиров они возражали: у нас с ней одна болезня, одна гумозная доля, мы только с ней и можем без вреда.

Несколько старших воров, Леха Лысый, Никола Зацепа, Леха Борода, веселивший всех прибаутками и анекдотами, приветствовали меня, как своего «керю». Несколько сумрачных парней, которых Борода подначивал, величая «господа-граждане суки… ваши сучьи благородия…», жались особняком у самой кабинки шофера. Четверо конвоиров с автоматами сидели по

углам на бортах, пятый с собакой - у задней стенки.

Мы ехали по лесной дороге. На березах просвечивала сентябрьская желтизна. Утро было пасмурным, прохладным.

Приехали на Красную Пресню. Там в тюремном дворе стояли часа два, выгрузили сперва больных, потом сук, потом осужденных - Гогу и еще нескольких доходяг-оборванцев, последними увели воров-родичей. Нас осталось трое - двух молоденьких парней везли на переследствие. И уже только два конвоира без собаки.

Подъехали к тюрьме на улице Матросская Тишина, во двор не въезжали. Один конвоир увел моих попутчиков. Увидев поблизости почтовый ящик, я упросил пожилого флегматичного стражника и написал открытку: «Еду, видимо, туда же, где бывал раньше, принесите, пожалуйста, луку, чесноку, махорки». Тот дал ее женщине, проходившей мимо: выбрал изо всех прохожих немолодую, в платке, в затрапезной кофте. Она мгновенно все сообразила - тюрьма напротив, - быстро-быстро отнесла мою открытку к ящику.

Когда мы подкатили к Бутыркам, было еще светло.

Знакомые зеленые ворота тихо задвинулись сзади. Тот же портал. Те же обыденно-спокойные слова: «Пройдите. Руки назад!» То же позвякивание ключей.

И снова я входил в Бутырки, так же, как в первый раз после душегубки - вагонной пересылки, и так же, как во второй раз после ночи в подвале «Смерша» и поездки по Москве в наручниках, испытывая облегчение… Санаторий Бутюр!

Глава сороковая
ВЕЧНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Снова маленькая опрятная камера спецкорпуса. Три койки.

Унылый штатский невысок, желтолиц; тоскливо-раздраженный взгляд; большой печальный нос; серовато-седая щетина на складчатых, вислых щеках; узкая плешь. Московский говорок с книжными узорами.

Второй - в застиранной армейской гимнастерке; немецкие бриджи, американские солдатские ботинки; рыжевато-рус, тощ, скуласт; водянисто-сизые глаза; говорит с южной распевкой; быстрые жесты долгопалых рук, изгибы толстогубого рта - явно еврейские.

Оба курящие, оба давно без табака. У меня с собой - и папиросы, и трубочный. Они дымят блаженно, неторопливо рассказывают.

Пожилой москвич - мастер художественной фотографии. Работал техническим руководителем большого фотоателье. Арестовали его весной «за порнографию».

- Я, батеньки мои, коллекционер эротического искусства. В Москве нас, настоящих любителей и ценителей, немного. Больше, разумеется, случайный элемент: мальчишки, старички - мышиные жеребчики и просто спекулянты-маклаки. Таким не важно художественное качество, им давай что позабористей. Но серьезному собирателю приходится общаться со всеми, ведь в любой дыре, батеньки мои, у любого невежды можно обнаружить негаданное сокровище. Я собирал главным образом французскую графику XVTI-XVIII веков, гравюры и книжные иллюстрации, Буше, Фрагонара, Ватто, Греза. Были у меня и итальянские, немецкие, русские издания, но прежде всего французы! Вот где прелесть! Тонкость! Изящество! Вкус! Это, батеньки мои, не порнография, не похабная клубничка, а высокое искусство! Но как это объяснишь гражданам следователям, если все их эстетическое образование - «Иван Грозный убивает своего сына», раскрашенные фотографии и портреты вождей. Я тщетно им напоминал о музеях, о государственных картинных галереях, там ведь немало изображений нагих женщин, нередко и фривольные ситуации… Как можно говорить о распространении порнографии - так это именуется в уголовном кодексе, - когда, батеньки мои, я ничегошеньки не распространял, а, напротив, собирал, коллекционировал и притом прятал.

Да, да, именно прятал, скрывал, потому что жена моя - дама

глубоко религиозная, можно сказать, даже аскетически, истово религиозная. После того что наш сын пропал уже в начале войны без вести где-то, как тогда значилось, на Витебском направлении, и после смерти внука - у дочери нашей единственный ребенок, очаровательный малыш, просто ангелочек, умер от менингита - жена впала в этакий мистический аскетизм. Она у меня тоже собирательница - это, батеньки мои, видно, какие-то флюиды в семье, - только она собирает различные библии, и отечественные, и иностранные. Образование у нее отличное, три языка - французский, немецкий, итальянский. Она дает уроки небольшим группам детей дошкольного возраста. Впрочем, есть и несколько великовозрастных учеников - артисты, артистки, им ведь приходится петь по-итальянски… Мои коллекции я, естественно, скрывал от жены, она в мою комнату заходила, только чтобы убирать. Ей не по душе были даже те, что на стенах у меня висели - отличные копии Ватто и Фрагонара. Не раз, бывало, говорила: «Серж, вы коснеете в греховных соблазнах». Мы в семье по старинке друг другу «вы» говорим, и дети к нам тоже на «вы» обращаются. Я, батеньки мои, полагаю, что фамильярность, развязность, когда сын или дочь этак, знаете ли, «ты, папка», «ты, мамка», ни к чему хорошему привести не может. Это означает с малолетства отсутствие твердых нравственных основ. Я не разделяю религиозных взглядов моей жены, я не то чтобы атеист. Но, так сказать, вольнодумец. Однако, батеньки мои, никакая наука ведь не всеведуща, многое в мире никак не объяснишь только с научной точки зрения… И, разумеется, я чту убеждения моей жены - верного друга. Мы прожили душа в душу почти тридцать лет. Венчались как раз в первое воскресенье после октябрьского переворота, когда в Москве перестрелка кончилась. Я в том же году гимназию кончил, а вокруг революция, манифестации, митинги, собрания. Все про свободу говорят, кричат, поют. А у меня, мальчишки безусого, какие понятия могли быть: свобода - ну, значит, могу свободно жениться, без отцовского соизволения. Отец мой был, нечего греха таить, самостоятельным человеком, не капиталист какой-нибудь, однако имел свою граверную мастерскую, кабинет по фотографии, дом в Садовниках, лошадей держал… Но всего добился сам, своим трудом, батеньки мои. Пришел из деревни мальчишкой из-под Ярославля в лаптях, как Ломоносов, пришел к дяде, тот банщиком работал в Сандунах. Пришел, что называется, Христа ради, помоги племяннику-сироте. Дядя сдал его, как тогда полагалось, в учение - в ремесло к граверу. У того в мастерской визитные карточки изготовляли, разные этикетки, афиши и тому подобное. И мой батюшка стал первоклассным мастером на все

руки - резчиком, гравером, печатником, цинкографом. Тут как раз фотография начала в моду входить. Он и это искусство освоил. Необыкновенных способностей был человек. Нигде ведь, кроме церковноприходской школы не учился, все самоучкой, все дни работал, а ночи над учебниками, над книжками просиживал. У нас в доме книжные шкафы ломились. Все приложения к «Ниве» и роскошные, подарочные издания… Он и немецкий язык выучил. Хозяин его полюбил, в Германию на полгода послал, он в Берлине и в Лейпциге немецкую технику изучил. А потом женился на хозяйской дочери. Так что по матери я действительно буржуазного происхождения, ее отец был купеческого звания. Но мы, батеньки мои, Советскую власть признали с первых дней.

Не скажу, чтоб мы в большевики записались. Нам не по сердцу были все эти митинги, лозунги «грабь награбленное!», братишки, мат, семечки, реквизиции и уж, конечно, воинственное безбожие. Покойный отец и маменька были весьма верующими, они и женитьбу мою революционную, без позволения, на бесприданнице, за то лишь простили, что Оленька их своей религиозностью восхитила. Отец очень переживал, когда духовенство преследовали, ценности отнимали, священников арестовывали. Он от этого просто болел, и душой и телом, батеньки мои, буквально таял, как свечка. Можно сказать, угас безвременно в 22-м году, ему и шестидесяти пяти не исполнилось. Но он всегда говорил: несть власти аще не от Бога… А мой старший брат даже служил в Красной Армии - военный специалист. Он в германскую войну стал офицером артиллерии, а в гражданскую состоял в штабе армии. Потом так и остался военным, хоть и беспартийный. Но три ромба носил, это ведь, батеньки мои, генеральское звание. Но в 37-м его взяли. Тогда после Тухачевского, Уборевича многих военных забрали. Но я, батеньки мои, твердо знаю, что мой брат был честнейший человек, кристально чистый патриот, уважал власть, был чрезвычайно скромен. Не верил, никогда не поверю, что он совершил что-либо дурное, да еще против Родины. Но раньше я и не подозревал, как из абсурда можно состряпать уголовные обвинения. Зато теперь знаю, на собственном горьком опыте убедился. Меня вот обвинили в распространении порнографии, потому что некоторые гравюры я фотографировал. Хорошо снять и хорошо отпечатать, так сказать, репродуцировать художественное произведение - это, батеньки мои, тоже искусство. Снимки я иногда печатал в нескольких экземплярах, это был мой обменный фонд.

И вот, извольте, обвинение - размножал порнографию…

Следователи пугали меня, что покажут жене. И я

действительно пугался, батеньки мои, ведь она, голубушка моя, ни о чем таком и не подозревала. Мы жили всегда мирно, дружно, однако раздельно. Она никогда не навязывала мне ни своей воли, ни своих взглядов. Она у меня истинная христианка. Теперь мало кто знает, что это значит. А между тем, батеньки мои, смею сказать - это прекрасно и в семейной жизни, и в быту вообще… Это значит доброта, бескорыстие, вежливость, уважение к личности, к каждому человеку и симпатия даже к личным врагам. Сказано ведь: «Любите ненавидящих вас». Вот она, моя голубушка, такая - сама кротость и чистое смирение… Я ведь боялся чего? Не скандалов! Нет, батеньки мои, такого у нас и в молодости никогда не бывало. И от набожности, и от благовоспитанности. Я никогда не слышал, чтоб она не то что кричала, голос повысила или злое слово сказала. А ведь я, случалось, бывал грешен, батеньки мои, и в картишки играл, и выпивал с друзьями, и на хорошеньких заглядывался. Даже интрижки были… Она, разумеется, всего не знала, но кое о чем не могла не слышать… И верьте мне, батеньки мои, в такие дни только печалится, глаза красненькие от слез, но при мне ни разу не заплакала… Вот этого-то я и боялся пуще всего - причинить ей душевную печаль.

Когда у меня обыск производили, ее, благо, дома не было. К невестке, к вдове нашего старшего, уехала в Электросталь. Я этим обыскивавшим доказывал, что с женой фактически раздельно живу, врал, батеньки мои, что не разводимся только из-за ее религиозных убеждений, которые не допускают развода… И я умолял, ну просто умолял сотрудников, производивших обыск, чтоб моей жене - я даже говорил бывшей жене - не стало известно, потому что, батеньки мои, опасаюсь за ее психику, возможно острое нервное потрясение… Вот на этом они меня потом и подловили. На моем страхе за жену, за ее невинную, прекрасную душу… Следователь все добивался имен и адресов, кто, дескать, соучастники. Им хотелось покрупнее дело состряпать, чтобы организация, подполье, трест, комбинат по спекуляции порнографией. У нас ведь во всем размах любят. Но не могу же я, батеньки мои, потому что сам увяз, врать, чего не было, и других людей топить, да еще напраслину громоздить и на них, и на себя. Я все объяснял следователям, что коллекционирование, собирательство - это же бескорыстная страсть, батеньки мои, а не спекуляция, не торгашество, пытался им растолковать, какие бывают виды искусства, как относительны понятия приличия и неприличия, на Пушкина ссылался, на Алексея Толстого - на Константиновича, разумеется, - на Есенина, на Маяковского… Ничего слушать не хотели и все грозили привлечь жену как

соучастницу. Я этим угрозам поверить не мог, думал - ведь есть же все-таки законы. В 37-м году были перегибы, но этого, как его, Ежова, садиста, самого расстреляли, и в НКВД многих почистили, так что теперь уже только по закону. И вдруг приводят меня на допрос, а мой следователь, наглый такой, развязный, полуграмотный субъект, когда я ему про искусство говорил, он мне открыточки с репродукциями из Третьяковки показывал, вот, мол, наше патриотицкое, а у вас антипатриотицкая - так и говорил «патриотицкая», «антипатриотицкая» - идеология. И с ним еще один, вовсе незнакомый молодой человек, такой подтянутый, с прибором и маникюром. И они выкладывают на стол книжки - батеньки мои, я сразу их узнал, старопечатная Библия, и роскошное издание с иллюстрациями Доре, и карманные Евангелия - все книги из собрания моей Ольги Николаевны, ее ручками перелистанные, ее слезками политые. А они увидели мой ужас и ухмыляются - вот к чему ваше упорство приводит, вы скрываете сообщников, и мы вынуждены были обыскать и арестовать вашу законную супругу и нашли у нее сплошь религиозную пропаганду. Оказывается, у вас организация широкого антисоветского профиля. И похабными картинками с голыми дамочками торгуете, и церковной литературой. Интересный получается винегрет. Как раз для фельетона.

Тут я, батеньки мои, прямо скажу, забыл про себя; в глазах красный туман, сердце стучит у самого горла, будь помоложе, с кулаками бы кинулся. А тут кричать стал, все высказал, что за много лет накипело. Значит не кончилась ежовщина, говорю, не перестали мучить людей. Значит вся ваша власть - бесконечная ежовщина, сплошное беззаконие, сплошное хамство и невежество. Раньше братишки были с клешами, семечками, с маузерами, так они хоть не лицемерили, батеньки мои, не кричали про любовь к родине, про социалистическую законность, про «патриотицкое искусство»… Они кричали: «Грабь награбленное!», «Даешь!», «К стенке!». Так они же лучше вас были - честнее, не скрывали своего хамства, гордились неграмотностью. А вы бумажки пишете, юриспруденцию разводите, вы с проборами, маникюрами, а как издеваетесь, как палачествуете… Ну что ж, говорю, батеньки мои, убивайте, расстреливайте меня. Она смиренная христианка, кроткая, и сейчас, наверное, вас прощает, молится за вас, за врагов, за убийц своих, а я вас ненавижу и проклинаю, трижды и четырежды проклинаю! Пусть вам отольются невинные слезы, чтоб вам еще хуже страдать, чтоб и вас разлучали с женами, с детьми, чтоб и вам в тюрьмах томиться, голодать, холодать, локти себе грызть, подыхать в отчаянии…

…Говорю, говорю, а они слушают и только переглядываются,

а потом этот новенький незнакомый франт вежливо так и с улыбочкой:

- Ну что ж, пожалуй, хватит, Сергей Федорович, мы вас поняли. Нам теперь все ясно, и дело ваше мы переквалифицируем. Товарищ младший советник юстиции - это мой прежний следователь - будет теперь уже в качестве свидетеля. И мы пока составим первый протокол нового следствия по статье *58* пункт 10 - антисоветская агитация и пропаганда. Вы напрасно так волновались, ваша жена пока дома, на свободе, но зато вы наконец откровенно высказались, раскрыли свое контрреволюционное нутро. И теперь уж действительно только от вас зависит - будет ли ваша жена вам передачи носить или мы арестуем ее как вашу подельницу.

…Вот так я сам на себя и донес, батеньки мои. Теперь следствие закончено по новой статье. Жена две недели тому назад еще приносила передачу. Значит, ее не тронули, и то слава Богу, а мое дело за ОСО, значит уж милости не жди. Одно преимущество, батеньки мои, заочно осудят, не будут больше душу мотать. Я покаялся, конечно, мол, в сердцах, батеньки мои, нивесть что наговорил. Но кому говорил? Им же самим, гражданам следователям. Какая тут может быть агитация и пропаганда в тюрьме? Какой подследственный следователю агитатор?… Прокурор такой вальяжный, обходительный, - он присутствовал при окончании следствия, - сказал, что все это учтут, но он думает, что мне полагается лет пять лагерей, не меньше.

…Ну что ж, мне сейчас сорок восемь, так сказать, ровесник века. Если даже десять лет дадут, я думаю, мог бы выжить, а пять и подавно. Ведь в лагере, должно быть, нужны фотографы: а я мастер высшего класса, батеньки мои, гроссмейстер… Но как подумаю о моей бедной Оленьке, что она пережила и переживает из-за меня, из-за моих увлечений, так в пору бы руки на себя наложить, и, верьте, батеньки мои, я убил бы себя, не моргнув глазом, просто разбил бы голову о стенку, не промахнулся бы, если б о ней не думал. Ведь ей от моей смерти еще хуже станет. Ведь все же легче так, как сейчас горевать, но ожидая меня, грешного, чем вдовье горе, вовсе безысходное…

Ему приятно было, когда мы соглашались с ним и находили все новые утешающие доводы. Всем нашим родным худо, все горюют. Но его жене все же полегче, она верующая, может молиться и должна верить, что он, страдая, искупает грехи… Да и сам он ведь тоже не атеист. И если на свидании скажет жене, что начал молиться, вернулся к религии, то ей будет настоящая радость, а для этого и приврать не зазорно…

Наш третий сокамерник говорил быстро, то размахивая длинными руками, то взволнованно потирая угловатую стриженую голову.

- Хорошо тем, кто верит. Кто хоть что-то понимает в этом. А то как нас учили: «Бога нет и не предвидится», «Долой, долой монахов, раввинов и попов, мы на небо залезем, разгоним всех богов!», «Религия - опиум, даешь науку!». А на правде выходит не совсем так. Наука наукой, но сколько я видел малограмотных безбожников. И знаю нескольких даже очень образованных интеллигентов, которые верующие. И у нас, и за границей встречал таких. Мне один военинженер высшей квалификации объяснил, мы с ним еще до войны знакомые были, выпивали иногда. Так он по душам, как говорится, так прямо и высказывался - наука себе наукой, она тебе объясняет, отчего мотор работает, какая сталь лучше, какая хуже… Но вот отчего человек живет, думает, говорит, этого никакая наука не понимает. Ученый доктор может тебе в легкие заглянуть рентгеном или в кишках чего-нибудь там резать, чинить, лечить. Но в душу, как говорится, никто не залезет… Так ведь, правда же? Я не знаю там за библию, за молитвы, но знаю, что на свете есть такое, чего никакие науки не объяснят. Ну, как говорится, чудеса. Именно чудеса. И вот, например, моя жизнь - это просто кусок чуда. Я сам урожденный с Ворошиловграда, объездил весь Донбасс вдоль и впоперек и еще пол-Украины, где учился, где работал, где по комсомольским мобилизациям, где в командировке. Профессия у меня самый высший сорт - автомеханик; в армии срочную службу служил в танковой части, потом в эмтээсах работал старшим механиком, в 39-м году меня обратно мобилизовали - техник-лейтенант в танковой бригаде на новой границе… И в плен попал в самые первые часы войны. Мы ж ничего не знали, у меня даже оружия не было, не выдали. Мы как раз в лагеря пошли за двадцать километров от границы, в лесу оборудовали ремонтную базу. Порядок у нас был, палатки чистенькие, дорожки песком посыпанные, души теплые - воду солнцем грели. За день намажешься коло тех машин. У нас в бригаде БТ-7 была роскошная машина, быстрая, как огонь. Но только потом нам другие пленные рассказывали, они и горели, как спички, с одного попадания. В ту субботу мы поработали ударно, штурм - ремонтировали машину одного майора. Свойский парень. Он принес нам канистру бимбера, польская самогонка, жуткая крепость, они туда карбид или махорку добавляют, с двух-трех стопок одуреть можно, а мы ж танкисты - фасон давили. Так мы войну, верьте, проспали… Я еле проснулся. Меня товарищи водой поливают.

- Вставай, лейтенант, мы пленные.

Я не верю, ругаюсь, а потом смотрю: стоят в серых мундирах. Темные каски. Гимнастерки расстегнуты. Рукава закатаны Автоматы выставили.

- Шнель, шинель, марш, марш…

Так я войны и не видел. В первом же лагере, еще в Польше, стали записывать специальности. И меня сразу же забрали в ихний автобат, в рембригаду. Там обер-лейтенант был такой худенький, в очках, очень приличный парень. Он мне сказал: «Ты молчи, что ты юде, а то тебе сразу капут будет, говори, что рус. Ты ж блонд, и шванц у тебя необрезанный». За это я ему сам объяснил. Мой папа, между прочим, в партии был с двенадцатого года. Шорник был в Луганске, потом в Сибири на каторге. Он меня обрезать не давал - предрассудки. Ну вот видите, разве это не чудо? Если бы мы в субботу не напились того бимбера, мы бы, конечно, воевали. И тогда или бы я погиб сразу, или попал в плен позже, когда уж строго отбирали: кто юде - налево… рра-аз… и ваших нет. И что я на такого приличного оберлейтенанта нарвался, разве не чудо? И что необрезанный был…

Наш автобат с Польши перебросили аж во Францию, сперва коло Парижа стояли, а через год на юг пересунули, к Лиону… Я за это время по-немецки насобачился. А в том автобате отношение к нам было хорошее, нас четверо было пленных автомехаников, один с Ленинграда и мы трое с Украины. Все были дружные. И работали хорошо. Немцы хвалили: рус гут арбейтен. Тот обер-лейтенант, что мне, можно сказать, жизнь спас, уже во Франции заболел. Вместо него другого назначили, горластого такого, красномордого. Но так ничего, справедливый. Он пил сильно, баб водил. Но и всем солдатам, и нам давал увольнительные в «пуф» - в бордель значит. Это, говорил, гезунд - для здоровья надо. Прямо скажу, в том автобате нас не обижали. Конечно, были фашисты, которые носы перед нами задирали или дразнили - Русслянд капут, Москва капут, Сталин капут, дойче зольдатен нах Вольга, нах Кауказус. Но другие нам тогда подмигивали - не обращай внимания, русский камрад… Нет, в общем жилось нам, если взять материально, очень даже неплохо. Питания такого мы раньше никогда не имели. Всегда мясное и разные шпроты, сардины, и мармелад, и шоколад. А по воскресеньям - девочки. Один с наших ребят, молодой пацан харьковский, первый год в армии, сказал, что он оттуда теперь ни за что обратно не уедет. Останется жить во Франции; тут никакой агитации, но зато все сытые, все одеты, как у нас только начальство или крупная интеллигенция одевается… Но мы же все-таки были патриоты и комсомольцы. И хотя немцы нам и

говорили, и специальные газеты давали, которые по-русски и по-украински печатались, мы им все равно не верили. Мы знали, что Советский Союз должен победить. И я верил именно так. А это ведь обратно вроде чуда. Мы же сами все-таки знали наши недостатки и разные перегибы в коллективизации. В голодовку 33-го года мы ж такое видели, что другим и не снилось, когда люди на улицах помирали. А в 1937-м году что было, когда сажали и кого надо, и кого не надо.

Но перегибы перегибами, а родина - это ж родина. Я так понимаю: если у человека мать воровка или сифилис заимела, она же все-таки мать, и он все равно обязанный заботиться, помогать, ничего не жалеть. А родина - это не просто личная твоя мама, она же мать для всех. И если какие-то вредители или перегибщики, уклонисты чего-то испортили или поломали тебе личную жизнь, так не можешь ты через это отрекаться от родины. Это уже было бы подлостью… Ну, короче говоря, так мы думали, и я, и тот другой, с Донбасса, и ленинградец был с нами в общем и целом согласный… Мы там с французами познакомились. Один работал продавцом в пивной, безногий, по-немецки говорил. Так он был связан с партизанами. У них они назывались макизары. Мы тогда сперва передавали макизарам патроны, гранаты; у немцев никакой настоящей бдительности не было, особенно от своих. Только уже когда мы совсем нахально два пулемета унесли, начался скандал, следствие. Тогда мы трое удрали, ушли в горы. Там была целая рота из советских ребят. Я был сперва рядовой боец, мы ходили на аксион подальше от нашего леса, на железную дорогу и на шоссе, подрывали мосты, обстреливали автоколонны. Потом в штабе узнали, что я по-немецки умею. И перевели меня в разведку.

Уже наоборот на Север, в Бретань. Там жители на таком языке говорят, что их другие французы не понимают. И стал я опять механиком в гараже, но только в частном, у бретонца, который был тайным партизаном. Он работал на немцев, чинил им машины, пил с офицерами. А его сын - ему еще 16 лет не было - учился в гимназии в городке километров за десять, ездил на велосипеде и возил туда все наши данные, какие немецкие части куда шли, все, что мы на дорогах видели, что в разговорах услышали. А когда в июне высадка началась, тут уже пошла горячка. Мы получили приказ: «Озарм!», в ружье, значит. Из города подъехали ребята, там тоже русские были - целый отряд набрался. Мы сразу же эшелон с танками сожгли, на другой станции склад взорвали, зенитную батарею захватили. Потери у нас были, трое убитых и семь раненых, меня вот сюда в бедро садануло. Но обратно чудо - неделю пролежал у крестьян, и они

подлечили меня и еще одного нашего раненого.

Потом наш отряд пришел за нами. Немцев погнали, и мы все поехали на трофейных грузовиках. В городах всюду французские флаги, и американские, и английские. Мы тоже свой красный флаг сделали, как положено, со звездочкой, с серпом и молотом. И французы кричали нам: «Вив Люрс!», «Вив лярме руж!» А потом меня сам де Голль наградил. Да, да, именно лично де Голль награждал, хозяина гаража и меня, и еще нескольких наших ребят. Кому «Лежьон донер», это у них высший орден, кому крест Жанны Д'Арк, кому медаль. Мне «Жанна Д'Арк» досталась. Нас всех построили на площади. Пришел де Голль, высокий такой, выше меня на голову или даже на две, носатый. Подходил к каждому, кто в строю стоял, один адъютант за ним ящик со знаками нес, другой по списку вызывал, а он лично нацепит награду и тут же обнимет и вроде поцелует - так щекой прижимался. В общем, это красивый у них обычай. Ну, что скажете, разве не чудо? Меня - Яшку, комсомольца с Ворошиловграда - обнимал французский маршал, аристократ и такой, говорят, католик, что больше, чем папа римский.

Во Франции я оставался до самого конца войны. Лечиться надо было, рана сильно гноилась. Вон видите, какой шрам остался, и сейчас еще хромаю. Там какая-то жила задетая… Приехал к нашим сперва в фильтрационный лагерь, в Тюрингии; два месяца держали, спрашивали, допрашивали, но потом пустили, дали обратно звание даже с повышением - старший техник-лейтенант. В Германии в гарнизонах еще полгода служил на ремонтной базе. И носил французский орден. Командир подполковник все обещал к нашей медали представить. Хоть я начало войны и проспал, но в конце все-таки повоевал, с де Голлем обнимался. Маму я разыскал через свердловских родственников, она и жена брата с детьми эвакуировались аж в Сталинабад. Старший брат у меня - инженер, его под Москвой убили. А потом я и свою девушку нашел, мы перед войной вроде как поженились, только записаться не успели. Она тоже эвакуировалась, в Чкалов, переписку имела с мамой, про меня спрашивала. А как я нашелся - вроде воскрес, - прислала мне письмо, вот такое толстое, прямо целый роман, и пятна чернилом навела, где слезы капали. Я читал, так поверьте, тоже плакал. Ведь через четыре года, через войну, через тысячи километров нашлись! Скажите, не чудо? Хотел я, чтобы она ко мне в Германию приехала, писал заявление, но тут вдруг демобилизация, а я не знаю даже, куда бумаги выправлять: мама с невесткой хотели оставаться в Таджикистане, в Киеве сплошное разорение, ехать некуда, а моя Шурочка мечтает обратно на

Владимирскую горку, где мы с ней гуляли. Ну пока там письма туда-сюда, мне литер в зубы, езжай с победою домой, куда сам хочешь.

Поехал я через Берлин, а там на вокзале патруль: что за орденский знак - это на мою «Жанну д'Арк», значит. Проверка документов. Потом в КПЗ объявляют: задержанный. Я - психовать: «Я ж уже профильтрованный, проверенный, демобилизовался, еду к маме, к жене». А мне:

- Пожалуйте на допрос - какое задание получил от французской разведки? Тебя де Голль за что наградил, за измену родине? И уже ордер на арест, 58 пункт 1 б - измена, и еще пункт 3 - сотрудничество с международной буржуазией, и еще пункт 6 - шпионаж. Держали два месяца, ну там все, что полагается, и в карцер сажали, и даже били. Верите ли, один следователь, такой франт в роговых очках, вроде интеллигентный, а бил кулаками в лицо и ногами, как в футбол, по ногам. «Признавайся, сволочь! Почему тебя немцы не убили, ты ведь жид?» Верите, так и говорил, как самые старорежимные черносотенцы - «жид», «жидовская морда», «ты Россию продавал сперва немцам, потом французам». Я тогда стал кричать, что он фашист, хуже немца, меня в плену так не мучали. Прибежали другие следователи. Я так кричал, что на всю их тюрьму слышно было. Они меня водой с ведра, как пьяного. Но потом дали закурить. И того франта, что жидом ругал, я больше не видел, другой следователь сказал, что его наказали за политическую ошибку, но что он нервный от сильной контузии, и у него немцы всю семью убили… Я говорю: это, конечно, большое горе, это я понимаю, но только не понимаю, при чем же тут я и почему он от этого стал антисемитом?

Там меня подержали еще месяц и перевезли сюда, в Москву, тут уже не били, но в карцер сажали два раза и все жилы тянули - за что у де Голля орден получил, почему немцы не убили, с каким заданием забросили… Я им правду, вот как вам, одну правду и всю правду, а они не верят. Московский следователь - капитан, вежливый, никогда не ругался, но страшно серьезный. Так он говорил: «Я вам не имею права верить, это была бы с моей стороны грубая ошибка, если бы я вам поверил: раз вы с первых дней войны служили врагу и, значит, полностью изменник родины, а потом обратно награждены кем? Пусть он формально вроде союзник, но по сути - наш классовый враг и, значит, наградить вас мог только за измену. Кто же вам может верить? И он все так убедительно говорил, что я уже и сам почти согласился, что я вроде преступник. Ну не по злобе, не нарочно. Ну, как бывает, например, шофер нечаянно задавил человека или

попал в аварию. Не хотел, не думал, а так получилось. Но все равно он считается виноватый, ему никто не верит, раз видят факты - лежит на дороге мертвый человек, жертва от его машины, или обломки валяются, а он стоит живой, значит, виноватый. Тоже выходит вроде чуда, но только уже дурное… Я подписал протокол: признаю себя виновным, что попал в плен без сопротивления, и еще подписал, что работал в немецком военном автобате без саботажа, и тоже, значит, признаю вроде как измену родине. А насчет шпионажа стал на принцип. Это ж абсурд! Я наоборот искупал свою вину, воевал против фашизма… Вот уж месяц, как меня оставили в покое. На что мне теперь надеяться? Обратно только на чудо? Или, может быть, как жена Сергея Федоровича, на Бога? Но ведь недаром говорят: Бог правду видит, да не скоро скажет.

В передаче принесли пятнадцать луковиц и десять чесночин: значит, суд будет пятнадцатого октября. В день рождения Лены. В этот же день в прошлом году меня впервые повезли в трибунал. Что может означать совпадение? К добру или к беде?

Опять повели под руки, опять в коридоре трибунала Надя и мама - вымученные улыбки, страдальческие глаза. Знакомый зал, судейский стол на трибуне, скамья на помосте с загородкой.

Прокурор Мильцын - высокий, полный розовощекий, светлоглазый. В ликующе-блестящих лакированных сапогах. Председатель, подполковник Веревкин - болезненно желчное кувшинное рыло - скучает, сдерживает раздражение, раздражен то ли от скуки, то ли от хворей; ко мне словно бы и вовсе безучастен. Два безликих заседателя в погонах, секретарь - очень молоденький, узенький карандашик. Мой адвокат - поникший, унылый, едва поздоровался, отводил глаза, суетливо перебирал бумаги. Из свидетелей вызвали только Ивана Дмитриевича Рожанского. В большом зале сидел комендант суда - смуглый, поджарый, седеющий капитан, на гимнастерке - гвардейский значок, лесенка желтых и красных ленточек - за ранения, трехрядная колодка наград. Он привез меня в трибунал на «эмке», объяснил - конвоя не хватило. В речи внятен кавказский акцент.

Началось обычной процедурой: секретарь читал решение военной коллегии об отмене прежнего приговора. Я заявил ходатайство о вызове свидетелей. Адвокат вяло поддержал. Прокурор громогласно объявил, что считает излишним - материала по делу достаточно. - Суд согласился с прокурором. - Тогда я заявил ходатайство о приобщении к протоколу нового судебного следствия письменных заявлений моих товарищей по фронту, по довоенной работе, поданных после отмены оправдательного приговора. - Адвокат вяло поддержал. -

Прокурор говорил долго и невразумительно, любуясь переливами своего голоса, округлостью бессмысленных фраз.

- В известном смысле юридическая практика допускает совмещение, так сказать, устных прямых показаний, а с другой стороны также и письменных и, тем самым, в известном смысле, так сказать, не прямых, но могущих пролить свет, если в этом имеется необходимость или, так сказать, процессуальная потребность в смысле прояснения отдельных моментов и в известном смысле деталей, рассматриваемых деяний, о чем в данном случае могут быть, однако, определенные сомнения и даже в известном смысле уверенность противоположного характера.

Он говорил, закидывая голову, то понижая, то повышая голос, плавно поводя большими холеными руками, старательно интонируя, как актер-любитель, - подчеркивая мнимо значимые слова и словосочетания, переключаясь без запинки с иронии на укоризну, переходя от поучительной деловитости к скорбному пафосу…

Что именно он хотел сказать, я просто не понял. Но судья согласился с прокурором. Ходатайство отклонили.

Зато и мне никто не мешал говорить, что и сколько захочу.

Судья и прокурор задавали вопросы.

- Как вы могли себе позволить утверждать будто… осуждать героические… дискредитировать… клеветать…

Адвокат спрашивал:

- За что вас наградили?… Чем вы объясняете свои плохие отношения со свидетелем таким-то?

Я отвечал подробно, вежливо, убедительно, страстно… Но видел перед собой блаженно-безмятежные глаза прокурора; иногда он, спохватившись, вдруг хмурился, что-то чиркал на листе бумаги; видел тусклые, равнодушные, скучающие лица за судейским столом - иногда они все же, казалось, прислушивались, даже секретарь оборачивался, и тогда я говорил еще убедительнее, еще страстней; видел седой затылок, сутулый пиджак адвоката…

Но капитан-комендант и лейтенант смотрели и слушали внимательно, словно бы даже участливо. И я говорил для них, пусть хоть эти два - фронтовик и молоденький новичок - узнают, поймут мою правду.

Начали допрашивать Ивана. Он повторил все, что сказал на первом и втором суде. Супясь, глядел вниз, запинался, дольше обычного тянул - э-э, чаще чем обычно вставлял «ну так вот, значит…» Но уверенно подтвердил все, что говорил раньше о лживости Забаштанского и Беляева, о том, как целеустремленно

было состряпано обвинение.

Заседание прервали. Наступил вечер. Комендант повез меня в Бутырки все в той же «эмке».

- Так ты, майор, где воевал?… На Северо-Западе? А потом в Белоруссии? А я начинал на Днестре, рядовой был стрелок-первогодник: первый номер на станкаче… Потом в Сталинграде лейтенантом стал. Потом на Четвертом Украинском, в Румынию пришел старшим, когда Вену брали, батальоном командовал, там получил капитана. Если бы мне образование, я бы лучше успел. Но у меня же только восемь классов, и не где-нибудь в Ереване, а сельская школа в горах за Кироваканом. Чабаном я был, ударником; барашки пас. Хотел на ветеринара учиться. По комсомольской линии в колхозе работал, пионервожатым был; вообще интерес имел к науке, книжки читал, радио слушал. Правда, война - это, конечно, тоже университет. Вот я и есть гвардии капитан. Жена у меня - доктор, москвичка. Она меня в госпитале лечила, десять осколков вынула. А я за это ей сына сделал. Иван, по-нашему Ованес, глаза черешенки, нос большой, как у меня, а волосы белые и рот маленький, как у нее. Три года, а говорит лучше, чем твой прокурор… Давай, давай, поезжай еще немного. Человеку в тюрьму ехать, пусть еще воздухом подышит… А ты хорошо говорил, майор, и все правду… Я всегда понимаю, кто врет, кто правду говорит… В глаза смотрю, сразу вижу. Твой друг капитан тихо говорит, больше думает; пока одно слово скажет, десять барашков пройти могут. Но хорошо говорит, и сразу видно, правда. А прокурор - говорит красиво, быстро, как по радио, как газету читает. Но сразу вижу, говорит много, ничего не думает. Ты как считаешь, лейтенант?

- Это называется ораторское искусство.

- Искусство! А на хрена оно нужно, такое искусство, чтоб человека в тюрьму сажать. Ты, майор, в плену не был? Не был. С фронта не бегал? Не бегал. Самострел себе не делал? Нет. Ранения имеешь? Имеешь. Боевые награды имеешь? Тоже имеешь. На фронте сколько? Почти все четыре года. Так за что же они тебя судят? Что ты мародера мародером назвал, что не хотел, чтоб немок насильничали?… За это спасибо надо сказать, а не судить. Ну если ты начальника обругал, это, конечно, могут придраться. Твой начальник был сволочь. Но трибунал тоже начальство. Ну пусть они выговор дают; ну пусть разжалуют; ну даже демобилизуют. Но в тюрьму? Нет, не может такого быть…

Он не верил моим возражениям. И его говорливое, шумно-добродушное участие ободряло и даже подогрело остывшую надежду: а что, если все же осудят лишь так, чтобы не применять амнистию?

В Бутырках меня в камеру не повели - суд не кончился; оставили в боксе, благо, просторном; я улегся на полу и выспался до подъема и поверки, и потом дремал еще с полдня в одиночестве. Получил передачу; ел, курил, готовил последнее слово. Вспоминал все новые аргументы, нумеровал, чтобы не забыть, горелой спичкой записывал на папиросном коробке.

Вызвали уже после обеда. Тот же капитан с лейтенантом и та же «эмка». Он поздоровался, как *со* старым приятелем. Нади и мамы в коридоре не было. (Им сказали, что заседание не состоится.)

Начали с допроса Ивана. Секретарь читал выдержки из показаний Беляева и Забаштанского, из протоколов следствия. Мне позволяли возражать на них, но потом снова и снова вызывали Ивана.

Прокурор спрашивал велеречиво, играя голосом:

- Позвольте… как же это у вас получается? С одной стороны, вы, как офицер, член коммунистической партии, фронтовой политработник, занимаете в известном смысле боевые идеологические позиции… Но в то же время с другой стороны вы позволяете себе, так сказать, не обращать внимания, игнорировать, в известном смысле даже примиренчески недооценивать, защищать…

Председатель суда впервые по-настоящему оживился. Он нагнулся над столом, словно для прыжка, и уже не говорил, а злобно кричал на Ивана:

- Так что же это у вас получается? Вы отвечайте прямо на вопрос. Вы на закрытом собрании не возражали против его исключения из партии? Отвечайте, да или нет? Не выкручивайтесь.

- Нет. Не голосовал «за», но… Вот, значит, не голосовал против.

- Никаких «но». Отвечайте на вопрос! Не забывайте, что вы даете показания суду военного трибунала. Не забывайте, что вы несете партийную и судебную ответственность за каждое слово. Понятно? Так отвечайте прямо. Вы написали генеральному прокурору письмо в защиту человека, против исключения которого из партии вы сами не голосовали. Вы писали такое письмо?

- Да. Писал.

Несколько минут по-индючьи курлычет прокурор. Я вижу, как Иван внимательно, напряженно вслушивается, тщетно пытаясь уловить смысл… Потом снова рычаще-тявкаю-щий голос председателя:

- Так как же все-таки вас понимать, товарищ капитан

Рожанский, и как вы сами себя понимаете? Вы коммунист, грамотный офицер, научный работник… Итак, с одной стороны вы не возражаете против исключения из партии - и не за что-нибудь, не за пьянку, не за бытовые проступки, а за серьезнейшие, политически враждебные выступления в условиях фронта Великой Отечественной войны, равносильные преступлениям. А потом вы же сами пишете письмо в защиту исключенного и даете на следствии и на суде показания, которые только дезинформируют… Как это называется, я вас спрашиваю? Отвечайте конкретно и прямо.

Я холодею от злости, не могу удержаться и громко говорю адвокату:

- Почему вы не протестуете? Ведь это противозаконно. Это нажим на свидетеля. Это не судебное следствие, а выжимание обвинения.

Адвокат испуганно оглядывается:

- Сейчас же замолчите. Вы только вредите и себе и ему… Вы очень вредите.

Председатель суда даже не поворачивается ко мне. Он почти лег на стол, не отрываясь, смотрит на Ивана и лает все хриповатее, все злее.

- Так отвечайте же! Почему вы не отвечаете? Как назвать такое ваше поведение?

Иван стоит. Один. За ним пустой полутемный зал. Перед ним на освещенной трибуне над суконным столом яростно ощеренное рыло - председатель военного трибунала. Иван стоит потупясь, но не смиренно, а задумчиво. Стиснув рот, оттянув книзу губы, он потирает руки - спокойно, как на лекции у доски, отложив мелок…

Прокурор, слева от него, перекатным баритоном, выручая, подсказывая, заговорил почти осмысленно:

- Не кажется ли вам, свидетель, что такое ваше поведение можно квалифицировать в известном смысле как двурушничество, поскольку мы с вами ведь члены партии…

Председатель криком:

- Двурушничество в партийном смысле и ложные показания в защиту преступника в уголовном смысле. Отвечайте, что вас привело к этому? Как вы объясняете свои действия?

Иван поднимает голову. Он смотрит спокойно. В глазах - ни тени испуга.

- Я не согласен… э-э с такой формулировкой… Нет… Ну вот, значит, не согласен… Я действительно не голосовал на собрании… э-э. Но почему я не голосовал, э-э, это я уже объяснил в прошлый раз. Ну - вот, я тогда считал, что обязан… значит,

выполнять приказание… А потом… когда я узнал об аресте, ну вот, значит, я… тогда написал генеральному прокурору. Ну… вот… значит…написал правду…

- А тогда на собрании вы что же, правды не знали?

Председатель заговорил тише, видимо, и на него действует медлительное спокойствие Ивана.

- Знал…но…

- Так почему же вы не голосовали против? Как вы объясняете это здесь?

- Потому что я ошибся… ну вот, значит… - Тогда допустил ошибку… э-э, а потом исправил. Ну вот…

- А кто вас просил об этом? Кто вам советовал? Или, быть может, опять приказывали?

- Кто? Я сам, конечно… э-э, - ну вот, значит, моральный долг… совесть… партийная совесть…

- Итак, вы подтверждаете свои показания в защиту подсудимого? Подтверждаете, несмотря на решение военной коллегии Верховного Суда, которая дважды отменила мягкие приговоры?

Председатель уже не орал, но чеканил слова с теми скрежетными, угрожающими гортанными призвуками, которые должны пугать сильнее самого яростного крика.

Иван смотрел на него все так же спокойно, размышляюще.

- Конечно, подтверждаю… ну вот, я писал и потом говорил суду правду… Только правду…

- Вы можете быть свободны.

Иван сел в дальнем ряду пустого зала. Один.

Прокурор говорил больше часа, он читал из толстой папки показания, читал, надев большие роговые очки, сбиваясь, пропуская слова, с бессмысленным пафосом выделяя одни фразы и столь же бессмысленно быстро проговаривая другие. И часто безо всякой связи заканчивал длиннейший период громогласно, уверенно:

- Из чего совершенно очевидно следует, что подсудимый напрасно пытается уговорить нас в своей невиновности, полагая, видимо, что может в известном смысле повлиять на суд военного трибунала вопреки таким очевидным и конкретным обвинительным данным, полностью изобличающим и не только подтверждающим, но в известном смысле даже усиливающим квалификацию, данную в обвинительном заключении…

Он говорил, говорил, читал и вновь говорил… Однажды вдруг встал, должно быть, отсидел ногу, стал рядом со столиком, картинно выпрямившись, щелкнув каблуками ослепительных сапог, не умолкая ни на миг, продолжая какую-то бесконечную

фразу, задекламировал, жестикулируя почти гимнастически…

- Вот, например, я стою здесь, помощник прокурора МВО, полковник юстиции Мильцын, стою перед вами, товарищи судьи, с открытой душой, по долгу службы, а подсудимый хотел бы доказать, что я это вовсе не прокурор, не полковник, не товарищ Мильцын, а некто в известном смысле совершенно другой, кого он, то есть подсудимый, оказывается, видит и знает и понимает лучше, чем вы, товарищи судьи, лучше, чем партия, чем весь советский народ. Но можем ли мы согласиться с подсудимым в таких его претензиях, можем ли мы ради этих, пусть даже в известном смысле оригинальных претензий, отказаться от нашей партийной точки зрения, от наших марксистско-ленинских и патриотических принципов, от преданности нашему советскому героическому народу?… Я осмелюсь думать, что мы не можем отказываться ни от нашей точки зрения, ни от наших принципов, ибо это есть точка зрения и принципы великой партии Ленина-Сталина, которая есть разум и совесть нашего времени, нашего народа, и мы не можем позволить никому попирать наши святыни.

Он говорил, говорил, и было очевидно, что он уже совершенно не помнит, в чем именно меня обвиняют, какие преступления я совершил, а может быть, и не знал этого вовсе, не успел прочитать дело. Он забыл даже только что закончившийся допрос Ивана и сказал:

- Очевидная всем вина подсудимого полностью доказана показаниями многочисленных свидетелей, как например… - и вслед за именами Забаштанского, Беляева он назвал Хромушину, Белкина, Рожанского.

Я вскрикнул:

- Да ведь это свидетели защиты! Председатель только постучал сухими пальцами, а прокурор на секунду замолк и улыбнулся почти игриво:

- Вот именно, свидетели защиты… И это убеждает нас в известном смысле даже больше, чем показания свидетелей обвинения. В данном процессе мы видели, что свидетели защиты изобличают подсудимого в том, что он именно старается отрицать. В этом его, конечно, можно понять, так сказать, по-человечески, ведь в тюрьме никому сидеть не хочется. Тут я вижу даже в известном смысле последовательность. Наш суд - самый великодушный суд в мире, наша прокуратура - самая гуманная в мире… Однако мы не можем оставлять безнаказанными…

Он говорил, говорил, пока я не почувствовал, что слипаются веки, сводит челюсти зевотой… Я уже слышал только отдельные слова и словосочетания, бархатистые перекаты голоса,

однообразную мелодию безудержного самолюбования, этакого акустического нарциссизма.

Наконец, прозвучали заключительные аккорды. Негромко, словно бы утомленно, но внятно:

- …Итак, исходя из всего, что мы узнали из этого весьма обширного, сложного и несомненно острополитического дела, из всего, что мы слышали здесь, считаю необходимым просить у суда применить высшую санкцию по данной статье, то есть в условиях мирного времени десять лет заключения, пять лет поражения в гражданских правах, лишение звания и ходатайство перед Верховным Советом о лишении правительственных наград…

Адвокат начал сладчайшими похвалами блестящей речи товарища полковника Мильцына, глубоко партийной, принципиальной, отлично аргументированной… Но исходя из замечательной мысли прокурора о великодушии, о гуманности советского суда, он просил трибунал учесть большое количество авторитетных положительных характеристик на подсудимого, просил принять во внимание боевые заслуги, ранения, состояние здоровья, а также смягчающие обстоятельства: понесенная вина относится к периоду войны; в мирных условиях возможно смягчить санкции. Поэтому он, адвокат, коммунист с 1920 года, сознавая свою ответственность, все же решается просить великодушный суд уменьшить срок наказания, учитывая возможность исправления…

Когда мне предоставили слово, я прежде всего решительно отвел защиту, сказал, что не признаю ни одного из обвинений, выдвинутых прокурором, так как они вообще не относятся к этому делу, прокурор даже не помнит, что говорили свидетели. Я просил суд просто сопоставить тексты, которые лежат вот в этих папках, с тем, что говорил прокурор…

Он глядел на меня едва ли не с ласковой, снисходительной улыбкой, покачивая розовой головой, поднимая покатыми жирными плечами серебристые погоны, мол, не в себе, бедняга.

Я сказал, что требование прокурора чудовищно, абсолютно противоречит духу и букве закона, интересам партии и государства… Потом я повторил все то, что говорил на первом и на втором суде, только более сжато, коротко, не отвлекаясь.

Суд удалился на совещание.

Капитан подошел ко мне; он был уже менее оптимистичен.

- Ну и судья… Не думал я, что такие бывают. Как на твоего друга кричал! А он молодец - капитан. Настоящий молодец. Тот кричит, как укусить хочет, а он стоит, как скала. Очень хороший человек. А прокурор, как в игрушки играет, тары-бары, десять

лет. Не понимаю, он что, пьяный что ли? Или в голову контуженный? Адвокат - слабый старик, боится. А чего боится? Говорит «старый коммунист», значит не должен бояться. А ты опять хорошо говорил. Правильно им врезал - и прокурору, и защитнику… По-бойцовски сказал. Ну должны же они хоть теперь понять! Ведь мне же все ясно, понятно, а я простой человек, солдат. А он судья, юрист, подполковник… Нет, должны все-таки понять.

Совещание продолжалось недолго. Председатель прочитал короткое введение со зловещим началом «будучи в прошлом кадровым троцкистом…», дальше все шло по Забаштанскому, а в заключение - по прокурору: десять и пять, лишение звания и орденов.

- Подсудимый, вам понятно?

- Нет, непонятно.

Тем же скрипучим, ровным голосом он снова прочитал концовку:

- «Десять и пять». Теперь, надеюсь, понятно?

- Непонятно, где справедливость… Весной, когда присудили к трем годам, я едва удержался от слез, задыхался в отчаянии. Теперь испытывал только странную усталость - злую, но бодрую. Нет, такой приговор не может быть реальным.

Судьи и прокурор ушли сразу. Адвокат на прощание торопливо, шепотом сказал, не глядя в глаза:

- Я подам кассационную жалобу… Будем надеяться… Возможно сокращение срока. Будьте сдержанны…

Капитан подвел ко мне Ивана.

- Попрощайтесь, друзья. Может, надолго теперь. Нет, не думал, что такое возможно. Десять лет ни за что… Осудить человека, как два пальца обоссать…

Он повторил это еще несколько раз. Почему именно два пальца?

В прошлом году после оправдательного приговора конвой отгородил меня от родных и друзей, не позволял им поздравить. А теперь комендант суда открыто сочувствовал. Мы с Ваней поговорили несколько минут, обнялись. Никогда - ни до, ни после этого - я не видел у него такого печального взгляда.

Шоферу капитан приказал:

- Давай покатай по Москве как следует. Когда он теперь Москву увидит… Нет, действительно, им человека погубить, как два пальца обоссать…

Лейтенант, сидевший рядом со мной, участливо спрашивал:

- Но вы еще можете жалобу подавать, эту, как ее… кас-сацийную?… Можете? Ну тогда значит могут еще изменить… Вы не

опускайте руки. Не должно быть, чтоб так осталось…

- Конечно, нет. Фронтовика за какие-то слова тары-бары на десять лет!…

…Капитан останавливал машину у площади Маяковского, на Горького, на Манежной:

- Смотри на город. Ты же москвич? Любишь Москву?

Он зашел в магазин, принес бутылку пива, яблок и конфет.

- Пиво здесь пей, в машине, а это бери с собой в карманы.

Приехали в Бутырки. Надзиратели, принимавшие арестантов, глядели удивленно: капитан размашисто протянул мне руку.

- Будь здоров, майор, до свидания. Не вешай нос, на фронте не пропал, нигде не пропадешь.

- Спасибо, капитан, большое спасибо! Будь счастлив!

Пощелкивали ключи о пряжки. - Скрежетали ключи в замках. - Приливали и отливали разноголосые шумы тюремной ночи…

Вечность продолжалась.

Москва - Жуковка.

1961-1973 гг.



Иван Рожанский,1944.



Михаил Аршанский.



Копелев во время «Интермедии», 1947.



Николай Тельянц.



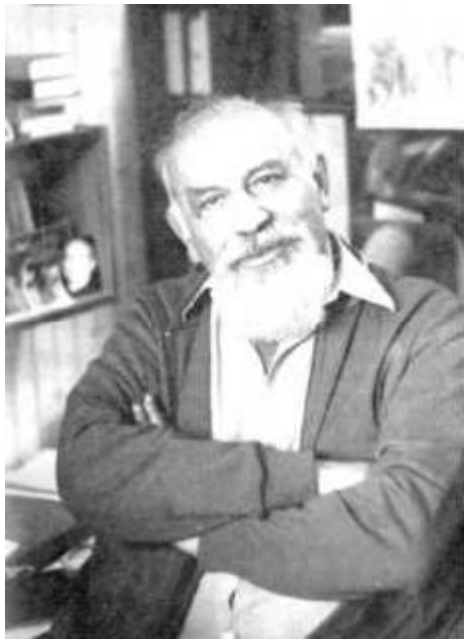
Копелев на «шарашке», 1948.



Лев Копелев, Москва, 1973.



Лев Копелев с первым русским изданием книги «Хранить вечно» (Ардис, 1975) и его жена Раиса Орлова. Книга переведена на 12 иностранных языков.



Лев Копелев, Москва, 1978. Фото Игоря Пальмина.



Берлин, 1981. Генрих Бёлль и Лев Копелев вспоминают, почему они стреляли друг в друга.



Форум имени Льва Копелева в Кёльне. На стенде книги, письма и награды.

notes

Примечания

1

То что называется *(франц.)*

2

Это очень простые люди, очень примитивные, почти варвары… *(франц.)*

3

Между Африкой и Азией, или между человеком и обезьяной… *(франц.)*

4

Вот вам Альпы в г…! *(франц.)*

5

Карцер.

6

Не друг, не друг, а просто знакомый *(нем.)*

КРД - т.е. контрреволюционная деятельность.

8

Коллективное гос. предприятие, колхоз *(укр.)*

9

Сельсовет *(укр.)*

10

ЧТЗ - самодельные резиновые лапти из старых автопокрышек (Челябинский тракторный завод).

11

БУР - бригада усиленного режима. Штрафная команда, которая размещалась в особой внутренней зоне в бараке, запиравшемся на ночь, и выводилась на работу с усиленным конвоем…

12

Возвращения тети Дуси я не дождался. В июле меня увезли на переследствие в Москву. Через полтора года мне удалось получить письмо от Эдит - она освободилась, нашла свою мать и дочь, которую оставила в 1937 году грудной, приехала к ним в Свердловск, работала медсестрой. Она писала, что тетя Дуся вернулась в больницу и дядя Сеня был «такой счастливый - как будто его освободили».

Сережа умер от обострения мастоидита. Дядю Борю освободили, новый врач оказался менее опытным и менее заботливым.

Николай Папеич с середины 50-х годов жил в Душанбе, работал в поликлинике, стал широко известен в городе и в республике как замечательный хирург.

13

Украли чемоданы *(угол, жаргон)*

Разброили *(польск.)* - разоружили.

15

Вы говорите по-немецки? *(нем.)*

16

Да… да… О, господин, меня расстреляют? *(франц.)*

17

Здесь только задают вопросы… Это тюрьма не для таких серьезных случаев, *(франц.)*

18

Какой это город? *(франц.)*

19

Тронул - ходи! *(франц.)*

Закуски *(нем.)*